

С.Л. Утченко

Цицерон и его время



Издательство
"Мысль"
Москва
1972

9(M)03
У-86

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1-6-3
136-72

Введение

В истории человечества встречаются такие личности, которые, некогда появившись, проходят затем через века, через тысячелетия, через всю доступную нашему умственному взору смену эпох и поколений. Такие люди поистине «вечные спутники» человечества. Причем, когда мы говорим о них или имеем их в виду, то речь может идти о любой исторической эпохе и о любой области человеческой деятельности. Речь может идти о политических и государственных деятелях, о представителях науки, культуры, искусства. В этом смысле нет никаких ограничений, никаких условий. Вернее, условие лишь одно: ощутимый вклад, внесенный в развитие человеческого общества, его материального и духовного бытия.

К числу таких «вечных спутников» человечества принадлежит, несомненно, и Марк Туллий Цицерон. Кто же он такой? Чем он велик? Почему он попадает в это далеко не столь обширное число избранных самой истории, в эту элиту из элит?

Цицерон — знаменитый оратор, писатель, философ, ученый, политический деятель Древнего Рима. Но если речь идет о Древнем Риме, то ведь это действительно весьма далекое прошлое, а если иметь в виду историческую личность Цицерона, то не слишком ли это отжившая и, так сказать, «антикварная» фигура?

Вовсе нет! Нам хорошо известно, что Цицерон как историческая личность отнюдь не «антикваризовался», отнюдь не отжил, но, скорее, наоборот, пережил — и совсем не малый — исторический срок:

более двух тысяч лет! А если это так, то невольно встает другой вопрос: что именно делает эту личность вечно живой и столь близкой людям самых различных эпох?

Ответом на данный вопрос должна служить вся эта книга. Сейчас же мы хотим воспользоваться своим правом ставить во введении всякие недоуменные вопросы, в том числе и такие, которые сами собой возникают, когда знакомишься с поистине необозримой литературой о Цицероне, с тем, что о нем писали когда-то и что пишут теперь и его апологеты и его хулители.

Кто же он на самом деле? Беспринципный политик, «легковеснейший перебежчик» (*levissimus transfuga*), как называли его еще в древности¹, или один из последних республиканцев, чье имя «тираноубийцы» выкрикивали на улицах Рима как синоним свободы², а в дальнейшем вспоминали с уважением даже могущественные противники?³ Кто же он? «Политический лицемер», сторонник «партии материальных интересов», «трус»⁴ или человек, смерть которого «означала одновременно гибель республики, и это совпадение — отнюдь не случайное — окружило для потомков его образ ореолом не только славы, но и святости»⁵. Человек с мировоззрением государственного деятеля или кругозором «тертого» адвоката, великий стилист или напыщенный болтун, серьезный мыслитель или жалкий подражатель, эклектик, компилятор?

Мы уже сказали, что ответ на все эти вопросы должна дать предлагаемая книга. Но это не будет исчерпывающий, вернее, однозначный ответ. Такого ответа и не может быть, во-первых, потому, что личность Цицерона необычайно сложна, противоречива и, действительно, каким-то чудом вмещает в себя чуть ли не все только что названные и как будто взаимно исключают качества; во-вторых, потому, что в дан-

¹ *Declam. in Cic.*, 4, 7.

² *Cass. Dio*, 44, 30.

³ *Plut.*, *Cic.*, 49.

⁴ См. *T. Mommsen*. История Рима, т. III. М., 1941, стр. 145, 146, 153.

⁵ *Th. Zielinski*. Cicero im Wandel der Jahrhunderte. Leipzig und Berlin, 1908, S. 10.

ном случае однозначные ответы невозможны в принципе. На наш взгляд, это именно тот случай, когда речь должна идти не об оценке, но о представлении, не о дефиниции, но о впечатлении. Потому-то для нас так важен не только — и даже не столько — рассказ о Цицероне, сколько показ Цицерона, причем показ на фоне окружавшей его среды, общества, эпохи.

Эпоха, в которую жил и действовал Цицерон, «его время» могут быть отнесены, говоря словами поэта, к «роковым минутам» истории или, если пользоваться менее поэтическими образами, к так называемым переломным эпохам. Суть и принципиальное значение исторического перелома, определяющего собой время жизни Цицерона, состоят в том, что к этому времени Рим фактически уже превратился в мировую державу. Это — факт бесспорно огромной важности, но, скорее, как бы внешнего ряда. Внутренний же и более глубоко скрытый перелом — кстати, тот, который еще только начинался во времена Цицерона и отнюдь не был завершен, — состоял в другом: в переходе от форм общинной, полисной демократии к тоталитарному и нивелирующему режиму империи. Само собой разумеется, все эти процессы протекали отнюдь не в мирной, идиллической обстановке, но в напряженной, порой даже смертельной борьбе. История жизни Цицерона, пожалуй, лучшая иллюстрация к данному утверждению.

Каков же был характер этого исторического перелома? Поскольку мы употребляем слово «перелом», то, очевидно, имеется в виду не какой-то длительный процесс эволюции, а именно акт перелома, т. е. качественный скачок, революционный взрыв. Иными словами, можно ли считать переход от римской республики к империи революцией, притом революцией социальной?

Как нам предстоит убедиться в дальнейшем, признание этого перехода революцией достаточно широко распространено в современной историографии (главным образом, в западной). Насколько данный вывод приемлем, какие здесь необходимы коррективы и чем отличаются наши собственные соображения от существующих взглядов, обо всем этом будет сказано в своем месте. Сейчас нам хотелось бы ответить лишь на один вопрос: насколько применимо понятие

«социальной революции» к тем общественным потрясениям и переворотам, которые происходили в античном обществе?

Вопрос этот не случаен. Дело в том, что некоторые историки — мы, конечно, имеем в виду в данном случае историков-марксистов — склонны исключать из понятия «социальная революция» (в особенности если речь идет о древности!) те крупные общественные перевороты, те вторжения в область собственности, которые, несомненно, двигали развитие того или иного общества вперед, но еще не приводили к смене формации и способа производства¹.

Можно ли с этим согласиться? Не обедним ли мы таким образом мировую историю, не обедним ли и само понятие социальной революции? Конечно, конфликт между новыми производительными силами и отживающими производственными отношениями не может быть преодолен полностью в пределах одной формации. Но разве он и бывает когда-нибудь преодолен в результате единичного взрыва, единичного революционного акта? Разве невозможны частичные решения этого конфликта или — что, собственно говоря, то же самое — разве невозможны социальные революции в пределах одной общественно-экономической формации?

Ключ к решению этого вопроса может быть найден в знаменитом определении Маркса. Он писал: «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции»².

Маркс не случайно говорит здесь не просто о социальной революции, но об эпохе социальной революции. Следовательно, речь идет не о единичном революционном акте, а о каком-то более или менее длительном периоде революционных потрясений. Это

¹ См., напр., *С. И. Ковалев*. История Рима. Л., 1948, стр. 337.

² *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 13, стр. 7.

означает, что смена формаций и утверждение нового способа производства никогда (или почти никогда) не происходят в результате однократной революции, но, как правило, в результате целой серии социальных взрывов и переворотов, которые или готовят революцию, наносящую решающий удар, или, наоборот, продолжают, дополняют эту революцию. Ибо даже революция, наносящая смертельный удар старой формации, не может уничтожить полностью все элементы прежнего строя, все пережитки предшествующего общества.

Сказанное целиком относится к буржуазным революциям, происходившим как в новое, так и в новейшее время, как еще в те годы, когда капиталистические отношения переживали свой расцвет, так и в эпоху империализма. Но ни революция 1830 г. во Франции, ни революции 1848 г. в ряде стран Европы, ни две русские буржуазно-демократические революции начала нашего столетия не привели, как известно, к победе нового способа производства.

Крестьянскую войну XVI в. в Германии Энгельс называл самой величественной революционной попыткой немецкого народа и сравнивал ее с революцией 1848 г.¹ Он говорил о крестьянской войне как о первой из трех крупных и решающих битв буржуазии, первой из трех великих буржуазных революций². С этой оценкой солидаризовался Ленин³. Таким образом, Крестьянская война в Германии, хотя она в свое время тоже не привела к смене формации, была тем не менее безусловно «полноценной» революцией.

Что же касается античного общества, то основоположники марксизма неоднократно говорили о революции применительно и к этой эпохе человеческой истории. Маркс сопоставлял «великую социальную революцию», вызванную падением стоимости благородных металлов в Европе, с революцией «в раннюю эпоху древнеримской республики», которая была следствием повышения стоимости меди⁴. Энгельс тоже, как известно, не раз применял термин «революция»

¹ См. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 7, стр. 432, 436—437.

² См. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 22, стр. 307—308.

³ См. *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 46.

⁴ См. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 13, стр. 130.

к событиям античной истории. Он говорил о «революции, произведенной Солоном»¹, о революции Клизфена в Афинах² и, наконец, о «революции, которая положила конец древнему родовому строю» в Риме и причина которой «коренилась в борьбе между плебсом и *patricii*»³. Иногда обращают внимание на то, что, говоря о Солоне, Энгельс отмечал: «Солон... открыл ряд так называемых политических революций...»⁴. Из этих слов делается вывод, что «политические революции» якобы не могут считаться социальными и что Энгельс в данном случае намеренно противопоставлял один тип революции другому.

Однако подобный вывод явно неправилен. Энгельс имел в виду совсем иное противопоставление. Из контекста его высказывания о революции Солона видно, что речь идет не только о политическом перевороте, но и о глубоком вторжении в отношения собственности. В этом плане революция, произведенная Солоном, сравнивалась Энгельсом даже с Великой Французской революцией. И наконец, говорилось, что все политические революции «были совершены ради защиты собственности *одного* вида и осуществлялись путем конфискации, называемой также кражей, собственности *другого* вида»⁵.

Все это достаточно определенно свидетельствует о том, что под «политическими революциями» Энгельс имел в виду общественные перевороты, не ограничивающиеся лишь сферой экономики, и уж если говорить о противопоставлении, то только таким понятиям, как «экономическая революция», «культурная революция», «революция нравов» и т. п. Следовательно, «политическая революция», конечно, не может быть противопоставлена революции социальной, но входит в это более широкое понятие как пример революционного переворота, при котором наряду с вторжением в отношения собственности решается также вопрос и о политической власти.

Все сказанное дает, на наш взгляд, достаточные основания для вывода о полной правомерности и допу-

¹ См. *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 21, стр. 115.

² См. там же, стр. 117.

³ См. там же, стр. 128.

⁴ Там же, стр. 114—115.

⁵ См. там же.

стимости применения понятия «социальная революция» к некоторым событиям античной, и в частности римской, истории. Но к каким именно? Ответ на этот вопрос, как уже сказано, следует ниже, в данный же момент, очевидно, более уместно снова вернуться к Цицерону.

Однако экскурс, посвященный выяснению понятия «социальная революция» применительно к античному обществу, нельзя считать каким-то социологическим отступлением, не имеющим по существу отношения к основной теме. Дело в том, что, по нашему глубокому убеждению, невозможно представить себе Цицерона как историческую личность и более или менее объективно оценить его значение без достаточно ясного представления о «времени Цицерона», об этой бурной, наполненной трагическими потрясениями эпохе. Требование бесспорное, даже элементарное, но все же предполагающее выполнение некоторых предварительных условий. К ним относится, например, решение таких, имеющих принципиальную важность, вопросов, как хотя бы вопрос о том, правомерно или неправомерно применение понятия и термина «социальная революция» к общественным движениям в Древнем Риме. К этим же предварительным условиям относится и необходимость ретроспективного взгляда на те более ранние периоды римской истории, которые не только предшествовали, но в какой-то степени подготовили самое «время Цицерона». К подобному обзору мы теперь и перейдем.

Становление Римской державы

1 Крушение Римской империи — событие, которое может быть названо одним из величайших феноменов и рубежей всемирной истории, всегда привлекало и, очевидно, всегда будет привлекать внимание историков. Проблеме падения Римской империи посвящены тысячи трудов, созданы сотни концепций — строго научных и злободневно публицистических, основательных и легковесных, традиционных и парадоксальных. Значительно меньший интерес и далеко не столь острую борьбу мнений вызывало до сих пор другое и, строго говоря, не менее удивительное историческое явление — становление Римской державы, *imperiū Romanū*.

От маленькой крестьянской общины на Тибре до крупнейшей средиземноморской (а по современным той эпохе представлениям — до мировой!) державы, от натурального хозяйства и патриархального быта к расцвету товарно-денежных отношений, т. е. таких отношений, которые были определены Марксом как рабовладельческая система, направленная на производство прибавочной стоимости¹, от архаических форм полисной демократии до тоталитарного, нивелирующего режима огромной империи — таков общий путь, пройденный Римом за двенадцать веков его существования. Было бы явной несправедливостью, более того, непростительной ошибкой для историка отказаться от осмысления этого пути, от изучения и оценки итогов этого развития во всем их

¹ См. *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 25, ч. 1, стр. 365.

принципиальном значении и конкретно-историческом своеобразии.

Среди тех вопросов, которые неизбежно задает себе каждый человек, стремящийся постичь то или иное явление (или комплекс явлений), есть два вопроса, близких друг другу, но отнюдь не одинаковых: как? и почему? Некоторые области знания, некоторые науки способны всегда (или почти всегда!) удовлетворить естественный интерес и стремление познающего, отвечая на оба вопроса, но сложность, трудность, а быть может, и тайная прелесть истории состоит в том, что она не всегда может дать ясный ответ на вопрос «как?», а порой и вовсе не может дать ответа на вопрос «почему?». И в данном конкретном случае, в данной попытке осмысления процесса становления Римской империи мы будем скорее говорить о том, как этот процесс протекал, и, только подойдя к его итогам, получим некоторую возможность вскрыть «подтекст» рассмотренных событий.

Итак, как же проходило становление Римской средиземноморской державы? Отвечая на этот вопрос, нельзя не бросить хотя бы самый общий ретроспективный взгляд на историю раннего Рима, на то время, когда он существовал как небольшая земледельческая, патриархальная община. Задача эта не легкая, она требует от историка соблюдения ряда условий и даже ряда предосторожностей.

Ранняя римская история в том виде, в каком она сохранена нам традицией, представляет собой сложное построение, на первый взгляд стройное, лишенное пробелов и противоречий, на самом же деле — почти насквозь искусственное, ибо в нем исторические факты тесно переплетены с мифами и легендами, с риторическими прикрасами, а иногда и с сознательными искажениями. Каноническим воплощением этой традиции издавна считается знаменитый труд Тита Ливия, называемый обычно «От основания города», — монументальное произведение в 142 книгах, — который пользовался в свое время огромной популярностью у современников и как бы лежал в основе всех представлений о родном городе, о государстве, получаемых еще в юности каждым образованным римлянином.

Тит Ливий — один из наиболее ярких и типичных представителей того направления в античной историографии — кстати говоря, его преобладающее значение бесспорно, — которое можно определить как направление художественно-дидактическое. Profession de foi Ливия как историка изложено им самим в предисловии к своему труду. С его точки зрения, цель и задача истории — научить людей тому, чего им следует желать, к чему стремиться и чего следует избегать. «В том-то и состоит нравственная польза и плодотворность познания дел людских, истории, — писал Ливий, — что разнообразные примеры созерцаешь словно на блестящем памятнике: отсюда можно взять для себя и для государства образцы, достойные подражания, тут же найдешь нечто позорное, гнусное, чего нужно избегать»¹.

Но если история учит на примерах, то, само собой разумеется, что примеры следует выбирать наиболее яркие, впечатляющие, действующие не только или даже не столько на разум, сколько на воображение. Поэтому Ливий не уделяет большого внимания проверке и критике своих источников, главное значение для него имеет моральный или художественный критерий. Так, например, есть основания считать, что историк не особенно верит легендам, связанным с возникновением Рима, но они привлекают его благодатным для художника материалом, и Ливий излагает их живо и подробно. Так он поступает в целом ряде случаев.

Мотивировка событий у Ливия, как правило, чисто внешняя, зато форма изложения, художественность — на первом плане. Особенно это ощущается в речах и характеристиках. Не столько объяснить, сколько показать, впечатлить — такова задача Ливия как историка. История, которая пишется подобным образом, прежде всего — искусство.

Но как бы то ни было, огромный труд Ливия — наиболее полный свод сведений по римской истории, и в первую очередь по ее раннему периоду, ее «героической» эпохе. Быть может, именно поэтому он оказался наиболее «признанным», каноничным не только у современников, но и в то время, когда впервые

¹ *Liv., praef., 10.*

возник живой и творческий интерес к уже далекой античности — в эпоху Возрождения.

В средние века — хотя мы и не разделяем когда-то столь распространенного и тривиального представления об этом периоде европейской истории как о времени господства духовного варварства, мертвящей схоластики и общего упадка культуры — античная традиция на какой-то срок была почти заглушенной, ушедшей в «подтекст», во всяком случае «античность» не была ни образцом, ни эталоном, ни «властительницей дум» мыслящих людей эпохи. Этот факт не требует, на наш взгляд, хвалы или порицания, оценки «хорошо» или «плохо», он вообще не требует примитивно-оценочного вывода. Дело в том, что каждая историческая эпоха, а быть может, и каждое поколение в силу целого ряда обстоятельств и «стимулов» имеют свои излюбленные прототипы, свои образцы и эталоны, свою собственную «систему ценностей». И что бывает близким, волнующим, захватывающим для людей одной эпохи, то может совсем не найти отзвука, не затронуть чувств и интересов живущих в другую эпоху. Вместе с тем не следует забывать, что античная традиция полностью никогда не прерывалась, более того, она дошла до нас — за исключением памятников эпиграфических и папирологических — именно в средневековых (как правило, монастырских) рукописях (кодексах).

Эпоха Возрождения создала культ античности. Этот культ возник первоначально в Италии, стране, где античные памятники находились, так сказать, под рукой. Здесь же рано сложилось ощущение идейного родства с мировоззрением античного человека. Гуманизм был лозунгом и идеологией молодой, полной жизненных сил буржуазии, выступавшей против феодальной иерархии, властей и церкви, против канонов и догматизма, за свободу критики, исследования, творчества, за свободную и полноценную личность.

Страстное увлечение античностью в мыслящих, интеллигентных кругах общества становится повсеместным. Латинский язык знают лучше, чем итальянский, на коллекционирование античных рукописей и произведений искусства тратятся огромные состояния. Данте, про которого Энгельс говорил, что он «последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового

времени»¹, выбирает своим проводником по подземному царству, как известно, Вергилия. Петрарка — страстный почитатель античности и коллекционер. Дело доходит порой до прямого обожествления античных деятелей и мыслителей. Так, например, существовали такие сообщества почитателей Платона, члены которых именовали себя — с определенным вызовом! — братьями «во Платоне».

Изучение античности в то время носит весьма специфический характер. Основной заслугой ученых Возрождения можно, пожалуй, считать развитие экзегезы, т. е. филологической критики и толкования текстов древних авторов. На этой основе производится исправление и издание рукописей, что же касается исторического исследования и исторической критики, и то и другое фактически отсутствует: все, что говорилось древними авторами, безоговорочно принимается на веру. Поэтому исторические работы того времени сводятся по существу к пересказу этих авторов без тени критического к ним отношения.

Впервые критическая мысль, примененная к изучению прошлого, пробивает себе дорогу в канун так называемого второго Возрождения. Здесь прежде всего следует упомянуть имя недостаточно оцененного как в свое, так и в более позднее время выдающегося итальянского историка и мыслителя Джанбаттиста Вико. В своем замечательном труде «Основания новой науки об общей природе наций» (1725 г.) он выступает сторонником сравнительно-исторического метода. С его точки зрения, все народы проходят одинаковые стадии развития. Человеческое общество подобно человеческому организму: оно знает свои периоды детства, юности, зрелости и в конечном счете старости. Что касается понимания исторического процесса в целом, то Вико, пожалуй, можно назвать предшественником современных теорий циклизма. Применяя свои общетеоретические воззрения к римской истории, Вико выносил первые четыре века существования Рима за пределы истории, как таковой, считая их легендарными («эпоха героев»).

Если у Вико сомнение в достоверности этих ранних периодов вытекало из его общей схемы исторического

¹ См. *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 22, стр. 382.

процесса, то у некоторых французских ученых XVIII в. оно оказалось следствием критического анализа текста древних авторов, анализа, уже выходящего за пределы чисто филологической критики. Таковы были, например, сомнения и скептические замечания, высказанные в свое время автором одного из ранних энциклопедических словарей, Пьером Бейлем, по поводу римских царей и древнейших римских учреждений. Но пожалуй, в годы, предшествовавшие новому Возрождению, критическое отношение к ранней римской истории проявилось с наибольшей яркостью и вместе с тем с наибольшей убедительностью в труде Луи де Вофора «Диссертация о недостоверности первых пяти веков римской истории» (1738 г.). В своем исследовании Бофор уже совершенно конкретно останавливается на анализе источников, в первую очередь на материале Тита Ливия, вскрывая в его повествовании ряд неточностей, натяжек, противоречий. На основе подобного анализа Бофор приходит к выводу об искаженности римской исторической традиции в интересах старинных, знатных римских родов под влиянием семейных хроник и преданий. Труд Вофора характерен своей скептической направленностью; его наиболее слабая сторона в том, что автор не дает никаких позитивных выводов.

Так называемое второе Возрождение относится к последней трети XVIII и к началу XIX в. Оно связано прежде всего с Великой Французской революцией, с ее подготовкой и ее итогами. Этими последними, пожалуй, и объясняется тот факт, что новое Возрождение античности нашло благодатную почву в Германии — стране, воспрянувшей после краха наполеоновской империи к новой жизни и к политической активности, в стране, где поклонение классической древности сочеталось с господством романтизма, иными словами, в стране Гёте и Шиллера, Гофмана и Тика, Фридриха Августа Вольфа и Нибура.

Переворот, произведенный Нибуром в развитии исторической науки, — а с нашей точки зрения, его научная деятельность заслуживает именно такой бескомпромиссной оценки — был в значительной мере подготовлен определенными успехами в изучении античности за годы нового Возрождения. Именно за эти годы слепое, безоговорочное восхищение «всем античным» сменилось научно-познавательным интересом,

научная критика вышла за пределы экзегезы и зародился историко-критический метод. Наиболее выдающимся представителем этого направления в историографии, причем в его конструктивном варианте, и был Бартольд Георг Нибура (1776—1831 гг.).

Нибура родился в Копенгагене, жил в Дании и Германии. Он рос в то самое время, когда Клопшток, Лессинг и Гердер находились в зените своей славы, а молодой Гёте становился уже властителем дум нового поколения. Однако жизнь Нибура сложилась так, что он не стал ни писателем, ни профессиональным историком. Долгие годы он работал в финансовом ведомстве, был прусским посланником в Риме и только последние шесть лет своей жизни смог полностью посвятить научной и преподавательской деятельности (профессор Боннского университета). Основные труды Нибура — «Римская история» и «Малые произведения».

Нибура как бы замыкает всей своей деятельностью эпоху второго Возрождения. Его по праву считают родоначальником нового исследовательского метода в историографии. Признание заслуг Нибура существует не только в буржуазной науке — широко известно весьма положительное отношение к нему Фридриха Энгельса, который, занимаясь проблемами римской истории, частично присоединялся к выводам Нибура, частично отвергал их и полемизировал с ними.

Выдающаяся научная заслуга Нибура на самом деле состоит не только и даже не столько в искусном применении критического метода, сколько в стремлении к творческой реконструкции истории. «Мы стремимся к позитивному знанию» (*Wir streben nach positiver Einsicht*), — неоднократно подчеркивал он. Подобное стремление в корне отличает его (и используемые им приемы исследования) от скептиков типа Бофора. Тонкая интуиция, блестящее знание материала и не менее блестящая филологическая подготовка привели Нибура на этом пути к ряду выдающихся успехов. Многие ключевые проблемы ранней римской истории — основание Рима, вопрос о родовом строе, происхождение плебеев — были освещены им по-новому. Мы не будем сейчас останавливаться на взглядах Нибура и разборе его гипотез — это будет сделано ниже, — в данный момент важно лишь подчеркнуть принципиальное значение его научной деятельности.

Можно без преувеличения сказать, что после Нибура и благодаря Нибуру изучение римской истории, в особенности ее раннего периода, становится «опытным полем», лабораторией исторической мысли. Возникает множество всяких теорий, гипотез, концепций, спекуляций. Однако ближайшие последователи Нибура очень скоро отошли от своего гениального учителя в самом главном. Сохранив его научно-критический метод и даже кое в чем его усовершенствовав, они вместе с тем отказались от Нибурова стремления к «позитивному знанию» и придали своей критике односторонне разрушительный, деструктивный характер. Таковой уже была деятельность Альберта Шwegлера (1819—1857 гг.), ближайшего, по общепринятому мнению, продолжателя Нибура.

На самом деле Шwegлер был чрезвычайно последовательным и упорным разрушителем традиции, «духовным отцом» гиперкритицизма конца XIX — начала XX в. Шwegлер — творец теории этиологических мифов. Что такое этиологический миф? Название происходит от греческого слова *aitia*, что значит «причина». Следовательно, это такой искусственно созданный миф, предание, которое должно объяснить какой-нибудь уже непонятный остаток старины: происхождение того или иного обычая, обряда и т. п.

Шwegлер придавал широкое, распространительное значение этиологическим мифам. С его точки зрения, именно таким образом следовало объяснять почти все стороны жизни древнейшего римского общества, происхождение всех политических и государственных институтов. Но последовательное применение подобного метода приводит к тому, что историческая традиция полностью разрушается, история, как таковая, исчезает и в руках исследователя остается лишь некий набор искусственно созданных мифов и легенд.

Логическим завершением развития деструктивного направления был успех в европейской историографии гиперкритицизма. Однако до этого, во второй половине XIX в., была сделана примечательная попытка создать как бы некое синтезирующее направление исследований, т. е. попытаться выполнить конструктивную задачу, поставленную некогда Нибуром, пользуясь приемами и методом, разработанными Шwegлером.

Мы имеем в виду крупнейшую фигуру буржуазной исторической науки — Теодора Моммзена (1817—1903 гг.). Его разносторонняя научная деятельность широко известна. Он — автор капитальных исследований по римскому государственному и уголовному праву, издатель «Дигест» (сборника извлечений из трудов римских юристов, составленного в VI в. н. э. при императоре Юстиниане), инициатор издания знаменитого «Корпуса латинских надписей». Но, пожалуй, наибольшую славу Моммзену принесла «Римская история», написанная блестящим литературным языком, причем весьма популярно, без научного аппарата и вместе с тем на высоком уровне (исследовательская, «лабораторная» работа Моммзена отражена в сборнике его небольших, частного характера трудов «Римские исследования»).

Мы еще не раз будем упоминать имя Моммзена и его «Римскую историю», поэтому пока достаточно лишь подчеркнуть отмеченную выше общую тенденцию его научной деятельности. По отношению к ранней истории Рима Моммзен стоял на позициях «теории ядра», считая, что почти из любой, даже мало достоверной легенды можно вылущить, умело пользуясь приемами критического анализа, правдоподобное историческое ядро. Такой подход не закрывал конструктивных возможностей исследования.

Однако, как уже сказано, к концу XIX — началу XX в. в буржуазной историографии становится весьма распространенным, а порой и преобладающим гиперкритическое направление. Наиболее ярким, типичным представителем этого направления считают обычно итальянского историка Этторе Паиса (1856—1939 гг.). В своем известном, нашумевшем труде «Критическая история Рима в течение первых пяти веков его существования» Э. Паис по существу возвращается — хотя и на новой, расширенной основе — к скептицизму (а, пожалуй, можно сказать — к нигилизму!) Вофора. Для этого он использует весь современный арсенал деструктивной критики: речь у него идет и об этиологических мифах, и о редупликации событий, и об аналогах из греческой истории, и, наконец, о приемах явной фальсификации. Паис не верит в существование летописей и хроник, полностью отрицает достоверность ранней традиции и приходит к выводу о возможности

считать события и факты римской истории более или менее достоверными лишь с III в. до н. э. (война с Пирром). Таковы выводы Паиса. Не в такой крайней форме, но тем не менее явное воздействие подобных гиперкритических взглядов и концепций ощущается в трудах многих историков начала текущего столетия.

Что касается современной историографии Древнего Рима, то новейшие данные, главным образом археологические находки и открытия, часто предостерегают против слишком скептического отношения к традиции. Крайности гиперкритического метода все больше выходят из моды. Путь современной науки, в особенности, когда речь идет о раннем периоде римской истории, — путь трезвости и осторожности, что означает: отказ от какой-либо идеализации античности и слепого доверия традиции, отказ от увлечений деструктивного метода и гиперкритики, опора на твердые, по возможности, данные, проверка и подкрепление исторической традиции всем тем материалом, который могут «поставить» вспомогательные дисциплины — археология, эпиграфика, нумизматика, папирология. Но этот «трезвый путь» исследования, однако, не исключает романтики гипотез и обобщений!

* * *

Итак, ретроспективный взгляд на процесс становления римской державы! Ранняя история Рима... Но ведь буквально каждый факт, каждое событие этой истории — нерешенная и сложная проблема!

Например, вопрос об основании Рима. Сами римляне с гордостью утверждали, что нет, пожалуй, на земле другого такого народа, который подобно им, римлянам, знал бы историю своего родного города не только со дня основания, но даже с момента зачатия самого основателя!

Каноническая легенда, повествующая об основании Рима, известна достаточно широко. Она связывает это событие с древнегреческой историей, с гибелью Трои, с бегством одного из участников Троянской войны, Энея, который после долгих странствий высадился в Италии и женился на дочери местного царя Латина.

В дальнейшем один из потомков Энея царствовал в городе Альба-Лонге (основанном якобы сыном Энея,

Асканием-Юлом), но был свергнут с престола своим честолюбивым братом. Дочь свергнутого царя, Рею Сильвию, сделали весталкой, т. е. жрицей богини Весты. Весталки были обязаны давать обет безбрачия. Тем не менее Рея Сильвия родила — по преданию, от самого бога Марса — двух близнецов. Разгневанный царь отдал приказ утопить младенцев. Один из рабов отнес их в корыте к реке, пустил по течению, но дети не утонули и были вынесены волной под смоковницу. Здесь их нашла волчица и накормила своим молоком. Затем детей подобрал пастух, принес домой, дал близнецам имена Ромул и Рем и вместе с женой воспитал их.

Когда близнецы выросли, тайна их рождения раскрылась. Они свергли в Альба-Лонге незаконно захватившего власть царя и восстановили на престоле своего деда. Сами же они попросили у него разрешения основать новый город. Однако при основании города братья жестоко поссорились и Ромул убил Рема. Так был, в согласии с легендой, основан город Рим, который Ромул назвал по своему имени (Roma — от Romulus). Он же и стал первым царем Рима. В дальнейшем римские антиквары и историки «вычислили» дату основания города с большой точностью: это событие произошло якобы 21 апреля 753 г. до н. э. Само собой разумеется, что дата эта искусственная и может быть принята лишь условно.

Что остается от легенды в свете современных воззрений на основание города и зарождение римского государства? Легенда, в том виде, в каком она дошла до нас (и как она нами изложена), представляет собой весьма сложный, формировавшийся на протяжении многих десятилетий сплав местных, древнеиталийских элементов с различными эллинистическими мотивами и сюжетами. Еще сравнительно недавно многие ученые совершенно игнорировали италийские элементы и считали поэтому, что легенда сложилась довольно поздно — тогда, когда у римлян возникло стремление производить себя от греков, от их государственности и культуры. Подобное же стремление возникло, очевидно, лишь после того, как Рим подчинил себе греческие города Южной Италии, т. е. не ранее III в. до н. э. Однако в самое последнее время эта точка зрения подверглась определенному пересмотру: некоторые архе-

ологические находки подтверждают значительно более раннее происхождение легенды¹.

Чрезвычайно интересно, что данные традиции в сочетании с новым археологическим материалом позволяют уточнить как хронологию возникновения Рима, так и общее представление об основных этапах развития города. Например, есть основания полагать, что традиция, подчеркивающая приоритет скотоводства над земледелием по отношению к «догородскому», «доримскому» населению долины Тибра, должна быть признана достоверной. В этой связи проясняется значение одной даты, а именно — 21 апреля. Дело в том, что в этот день торжественно отмечался древнейший пастушеский праздник — парилии, о чем нам сообщает ряд авторов².

Стратиграфические раскопки на Форуме и Священной дороге (Гьерстад), на Палатине (Романелли) дали примерное подтверждение традиционной даты основания Рима. Правда, превращение Форума в центр экономической и политической жизни археологи относят ныне к более позднему времени — к первой четверти VI в. до н. э. Археологический материал позволяет также решить вопрос: развивался ли Рим как город из некоего единого центра, например из Палатина, как считали сами римляне³, или город возник в результате слияния (синойкизма) отдельных поселений на холмах. Большинство археологов склоняется в наше время к точке зрения, признающей процесс, кстати сказать, длительный и сложный, слияния отдельных изолированных общин.

Что касается известного утверждения письменной традиции о том, что древнеримская община сложилась из трех этнических групп: латинян, сабинян и этрусков, то едва ли можно безоговорочно признать этот факт доказанным и подкрепленным археологией. И хотя в некрополях, обнаруженных на территории Рима, мы сталкиваемся с двумя различными обрядами погребения — трупосожжение и трупоположение, — это еще не дает нам достаточных оснований считать, как

¹ См., напр., *A. Alföldi. Die Troianische Urahnen der Römer. Bâle, 1957.*

² *Varro, 1, 1, 7, 45; Plut., Rom., 12; cp. Ovid., Fast, 4, 721.*

³ *Liv., 1, 7; Plut., Rom., 3.*

Гьерстад и некоторые другие археологи, эти различные типы погребений соответственными показателями, характеризующими наличие двух самостоятельных культур, а следовательно, и двух самостоятельных этнических группировок (латинян и сабинян).

Древнейший период собственно римской истории, т. е. после образования Рима в качестве городского центра, принято именовать «царским периодом». Гиперкритика начисто отрицала историчность семи римских царей и всю традицию, относящуюся к царскому периоду, признавала насквозь легендарной и этиологичной. Еще Швеглер утверждал, что по крайней мере первые римские цари — вымышленные лица; Паис, например, считал Тарквиния божеством Тарпейской скалы и весь традиционный рассказ о нем — этиологическим мифом.

Современная наука подходит к традиционным данным о царском периоде более осторожно. Причиной этому то обстоятельство, что ряд сведений, считавшихся явно легендарными, был подтвержден новым археологическим материалом. Конечно, древнейший период римской истории расцвечен многочисленными легендами и преданиями, неправдоподобен во многих своих деталях, но вместе с тем некоторые факты этой ранней истории можно считать твердо установленными. Так, в настоящее время не вызывает сомнений факт господства в Риме этрусской династии Тарквиниев, а следовательно, представители этой династии (Тарквиний Старший, Сервий Туллий и последний царь — Тарквиний Гордый) могут быть признаны реально существовавшими деятелями.

Менее ясен вопрос о путях утверждения самой этрусской династии. Было ли это связано с этрусским завоеванием Рима, как то признается рядом ученых? Или этрусские правители — в соответствии с исторической традицией — пришли к власти мирным путем, без насильственного ее захвата? Быть может, правление этрусской династии, как и наличие этрусского квартала в раннем Риме или как многочисленные «этрускизмы» в политической и религиозной жизни, в языке и быту римлян, — всего лишь свидетельство мирного и благотворного влияния соседнего общества, соседнего государства с более высокоразвитой политической системой и цивилизацией? Вероятно, по современному

состоянию источников однозначное решение вопроса — т. е. в пользу завоевания или в пользу «мирного проникновения» — едва ли возможно, да и, пожалуй, для нас оно не имеет решающего значения: важен сам факт достаточно глубокого и длительного влияния этрусков на Рим.

С гораздо большей степенью вероятности можно говорить о другом явлении — об изменении сущности и характера царской власти в Риме в результате этрусского влияния. Если в первоначальной, быть может, латинско-сабинской, общине власть и положение царя приближались к положению греческих базилиевсов, т. е. племенных вождей, часто даже выборных, то в период правления этрусской династии картина явно меняется. Исключительное положение царя, полнота власти, безусловное право приказа — все эти прерогативы верховного властителя, которыми, очевидно, обладали последние римские цари, идут, несомненно, от этрусков, как и внешние знаки царского достоинства, — пурпурное одеяние, трон слоновой кости, свита ликторов, фасцы, опять-таки свидетельствующие об особом и исключительном положении его носителей.

На это представление о древнеримской монархии, которое сложилось у ряда современных исследователей¹, снова оказала определенное воздействие археология. Данные раскопок свидетельствуют об изменении лица города: именно в это время происходит слияние разрозненных поселений в единую общину, возникновение Форума как средоточия экономической и общественной жизни, включение в городскую черту Капитолийского холма, украшение города общественными постройками, т. е., другими словами, наблюдается переход от примитивных «деревенских» форм жизни к этрусской городской культуре.

Безусловным рудиментом централизованной монархической власти в древнейшем Риме следует считать сохранение у римских магистратов и в историческое время империя — явления, которому нельзя найти аналога в античном мире. Что такое империй? Верховная и неограниченная власть, власть неделимая,

¹ См., напр., *H. Rudolph. Das Imperium der römischen Magistrate*, 1939, S. 146 и. а.; *U. Coli. Regnum. Studia et documenta historiae et juris*, vol. XVII. Roma, 1951.

всеобъемлющее право приказывать гражданам именем всей общины.

Республиканский строй, установившийся в Риме, согласно традиции, как результат изгнания этрусских властителей, полностью сберег представление о всеобъемлющей власти. В этом состоит один из самых любопытных исторических феноменов. Из весьма неясных и запутанных традицией событий, связанных с установлением республики, выдается один исторически бесспорный факт: вместе с уничтожением царской власти отнюдь не уничтожены ее основные прерогативы, наоборот, они унаследованы республикой. В основном высшие республиканские магистраты оказываются тем же самым, чем был царь.

И действительно, за исключением жреческих обязанностей, полнота царской власти перешла к высшим магистратам, причем с ее внешними признаками и выражением: свитой ликторов и фасцами. Соблюден также монархический принцип неделимости и единства власти. Понятие должностной компетенции, т. е. определенной сферы деятельности, в высших римских магистратурах отсутствует; власть не дробится и не имеет «розничных» функций. И в дальнейшем, если даже наблюдается некое общее и «превентивное» ограничение империя (коллегиальность, право интерцессии и т. п.), то нет, конечно, и речи о его дроблении, «расщеплении», как то было, например, с властью базилиса в Афинах. Таков стойкий рудимент неограниченной монархии, оставленный в наследство республике этрусскими властителями¹.

Поскольку мы не раз уже упоминали об этрусках, этрускизмах и были вынуждены считаться с фактом этрусского влияния на Рим, то, очевидно, следует дать какое-то представление о самом этруском народе и его цивилизации. Это следует сделать хотя бы потому, что вопрос об этрусках — еще далеко не решенная проблема.

Бесспорно, Этрурия была некогда великой державой древнего мира. Однако даже в пору своего наивысшего расцвета она не представляла собой единого и централизованного государственного образования. Каждый этрусский город — а этруски с самых ранних времен

¹ *H. Rudolph*. Das Imperium der römischen Magistrate, *passim*.

были представителями и носителями именно городской цивилизации — вел самостоятельное и независимое существование, претендуя на положение города-государства. Правда, в эпоху укрепления этрусского могущества возникла федерация из двенадцати этрусских городов, но и в составе этой федерации каждый входящий в нее город сохранял политическую и экономическую самостоятельность, связующей нитью была лишь религия — общий культ и общие святилища.

Этрусскими городами управляли, видимо, сначала цари, а затем коллегии выборных лиц (*zilath*). Фактически власть находилась в руках представителей знатных родов, их старейшин (*лукумоны*). Города Этрурии рано стали цветущими центрами ремесла и торговли. В те времена торговля была тесно связана с пиратством; грозная слава этрусских (или, как называли их греки, тиренских) пиратов гремела по всему Средиземноморью.

Этрусские мастера славились совершенством обработки металлов, выделкой зеркал и ваз, тонкими ювелирными изделиями из золота и слоновой кости. Встречаются этрусские художественные изделия из янтаря, который привозился с берегов Балтийского моря. Этрусски вели оживленную морскую торговлю с греками, египтянами, карфагенянами и другими народами.

Не менее важной отраслью этрусской экономики было сельское хозяйство. Так как значительную часть территории Этрурии занимали горы, трясины и болота, то почва требовала тщательной обработки. В связи с этим этрусски широко практиковали строительство различных дренажных сооружений, водопроводных каналов и т. п. Некоторые косвенные данные позволяют предположить, что в сельском хозяйстве использовался труд рабов, однако рабство едва ли было широко развито и рабы еще не могли стать преобладающей рабочей силой.

Расцвет этрусского могущества падает на VII—VI вв. Этрусские города ведут в это время активную экспансионистскую и колонизационную политику как на севере, так и на юге Италии. Они распространяют свое господство почти на весь Апеннинский полуостров, а в VI в. экспансия этрусков выходит даже за его пределы и они захватывают Корсику. Это приводит к столкновению с западными греками, которые также

претендовали на Корсику, и вместе с тем к союзу с другой крупной державой западного Средиземноморья — с Карфагеном. В 535 г. этруски совместно с карфагенянами приняли участие в крупном морском сражении у берегов Корсики, в итоге которого греки были вынуждены оставить остров.

К этому же времени относится и проникновение этрусков в Рим. Был ли Рим захвачен ими в результате вооруженной борьбы или господство династии этрусских царей установилось мирным путем, факт остается фактом — Рим как город-государство возник именно в это время, и только благодаря этрускам он превратился из разрозненных и мелких деревень в спланированный по определенным архитектурным канонам городской центр.

Этрусское могущество оказалось, однако, недолговечным. В конце VI в. разгорается междоусобная борьба между этрусскими городами, примерно к этому же времени приурочивается традиционная дата восстания римлян против этрусков. В 474 г. до н. э. в морском сражении у Кум этрусский флот терпит сокрушительное поражение от сиракузского тирана Гиерона. Это был весьма чувствительный удар, который подорвал репутацию Этрурии как первостепенной морской державы. Ослабление этрусков идет параллельно с усилением римлян, и этрусские города один за другим падают под власть Рима. Эти захваченные города постепенно романизируются, сюда переселяются римские колонисты, древние обычаи и традиции, даже самый язык, забываются¹.

Таковы в общих чертах наши сведения об этрусках и кратковременном расцвете их могущества.

В чем же состоит сложность так называемой этрусской проблемы, в чем загадочность этрусков как исторического явления? Основная и неразрешимая пока загадка — этрусский язык. До нас дошло большое количество — в общей сложности более девяти тысяч — этрусских надписей, обнаруженных на надгробиях, урнах, вазах, зеркалах, черепицах. Один из самых больших этрусских рукописных памятников называется «льняной книгой» (*liber linteus*), ибо написан на льня-

¹ Об истории этрусков см. более подробно работы: *Н. Н. Залесский*. Этруски в Северной Италии. Л., 1959; *его же*. К истории этрусской колонизации Италии в VII—IV вв. до н. э. Л., 1965.

ной ткани. Наиболее ранние из известных нам этрусских надписей относятся к VII в. до н. э., наиболее поздние — к I в. до н. э.

На первый взгляд чтение этрусских надписей не представляет особых трудностей. Этрусский алфавит основан на древнегреческом и в свою очередь послужил основой для алфавита латинского. Но легкость чтения оказывается обманчивой, поскольку сам язык настолько обособлен, что не может быть сопоставлен ни с одним из известных нам языков. Этрускологи пытались расшифровать его при помощи греческого, латинского, германских и славянских языков, некоторые, не довольствуясь индоевропейской группой, сопоставляли его с семитскими, кавказскими, малоазийскими языками, а кое-кто — видимо, с отчаяния — даже с японским. Но все попытки дешифровки оказались напрасными, и, хотя они ведутся в общей сложности более ста лет, мы твердо знаем всего лишь несколько этрусских слов и несколько несложных грамматических форм.

Сравнительно недавно, в 1964 г., археологи совершили сенсационное открытие — в районе древнего города Пирги (в 50 км от Рима) были найдены три золотые таблички, покрытые этрусскими и пуническими (карфагенскими) письменами. Две из них, по мнению археологов, были изготовлены и прикреплены одновременно, следовательно, могли содержать идентичный текст. Если бы это было так, мы имели бы двуязычную надпись (билингву) и пунический текст мог бы оказать существенную помощь для дешифровки текста этрусского. Но, к сожалению, эта надежда не оправдалась — тексты близки друг к другу по содержанию, но вовсе не идентичны и потому нельзя при помощи одного из них дешифровать (переводить) другой.

Второй неразрешимой (или по крайней мере нерешенной) загадкой следует считать вопрос о происхождении этрусков. Он, несомненно, связан с первой загадкой и даже как бы вытекает из нее, ибо раскрытие тайны языка почти бесспорно решило бы и вопрос о происхождении народа.

В древности существовало, строго говоря, две версии о происхождении этрусков. По свидетельству «отца истории», знаменитого Геродота, этруски переселились с территории Малой Азии и, следовательно, пришли

в Италию с востока. Разновидностью этой версии можно считать рассказ Ливия, согласно которому этруски появились в Италии, перейдя через Альпы, т. е. с севера.

Другую точку зрения на происхождение этрусков высказывает Дионисий Галикарнасский, историк, живший в Риме в конце I в. н. э., но родившийся в малоазийском городе Галикарнасе. Он по существу полемизирует с Геродотом, отрицая малоазийское происхождение этрусков, и считает, что они вовсе не пришельцы, а коренное, местное (автохтонное) италийское население.

В современной науке также представлены обе эти точки зрения. Сторонники теории восточного происхождения этрусков считают их приход в Италию одной из «волн» так называемого эгейского переселения, подчеркивая, что этруски прибыли в Италию не все одновременно, но отдельными более или менее значительными группами. Противники этой точки зрения выдвигают следующее соображение: если этруски пришли в Италию с востока морским путем, то чем объяснить тот странный факт, что все города, основанные ими, находятся не на морском побережье, а вдали от него? Как теория восточного, так и теория автохтонного происхождения этрусков имеют свои сильные и слабые стороны. Но так как ни той, ни другой нельзя отдать решительного предпочтения, то в последнее время пользуется наибольшим распространением новая точка зрения, идущая главным образом от крупнейшего итальянского этрусколога Массимо Паллотино, которая переносит центр тяжести с вопроса о происхождении этрусков на изучение проблем этрусской истории и культуры. При таком подходе исследователь, конечно, может опереться на более твердые, часто даже бесспорные факты¹.

И наконец, еще одна крупная и тоже далеко не

¹ В советской науке уделяется большое внимание изучению этрусской истории и этрусского языка. Помимо названных выше работ Н. Н. Залесского см. исследование А. И. Харсекина «Вопросы интерпретации памятников этрусской письменности» (Ставрополь, 1963). Недавно в русском переводе вышла интересно и популярно написанная работа чешских авторов: Я. Буриан и Б. Моухова. Загадочные этруски. М., 1970; см. также сборник «Порция», вып. 1. Воронеж, 1971.

решенная проблема ранней истории Рима. Это — вопрос о происхождении плебеев. На основании неоднократных упоминаний древних авторов мы знаем, что древнейшая римская община состояла из патрициев, клиентов и плебеев. Происхождение последней социальной группировки наиболее спорно и неясно.

Решение этого вопроса было предложено еще Нибуром. И хотя с тех пор был накоплен новый материал (правда, не очень значительный) и возникли новые гипотезы, точку зрения Нибура ни в коем случае нельзя считать отвергнутой, неправильной, она лишь до известной степени модифицирована.

Безусловной заслугой Нибура было то, что он первым из европейских исследователей подчеркнул значение родовой организации в древнейшем Риме. Ф. Энгельс в своей знаменитой работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», как известно, критиковал Нибура за то, что тот понимал род лишь как группу семей¹, но вместе с тем присоединился к его общему представлению о социальной структуре ранней римской общины².

Нибур считал, что население Рима в древнейшее время состояло из 300 родов. Каждые 10 родов объединялись в курию, каждые 10 курий — в трибу. Таким образом, всего существовало три трибы, из которых каждая была первоначально особым племенем. Исходя из названий древнейших триб, сохранных нам традицией, — Рамны, Тиции и Луцеры и их описания³, Нибур считал эти трибы объединением соответственно латинских, сабинских и этрусских родов. Упомянутые же 300 родов в целом составляли, следовательно, римский народ (*populus Romanus*), к которому мог принадлежать лишь тот, кто был членом рода, а через свой род — членом соответствующей курии и трибы.

Политическое устройство древнейшей римской общины выглядело следующим образом. Органом верховной власти считалось народное собрание по куриям, или, как называли его сами римляне, куриатные комиции, в которых принимал участие весь *populus Romanus*. Народное собрание утверждало или отвергало новые законы, решало вопрос о мире и войне и, как

¹ См. *К. Маркс и Ф. Энгельс*, Соч., т. 21, стр. 402.

² См. там же, стр. 126, 169.

³ См., напр., *Liv.*, 1, 13; *Plut.*, *Rom.*, 20.

высшая инстанция, имело право выносить смертный приговор римским гражданам. На народном собрании избирались все высшие должностные лица, в том числе и цари.

Наряду с народным собранием важнейшим органом власти и руководства был совет старейшин родов, или сенат. По общему числу родов он состоял из 300 сенаторов. Постепенно сложился обычай избирать старейшин, как правило, из одной и той же семьи каждого рода, что привело к возникновению привилегированных, т. е. знатных, семей, члены которых стали называться патрициями.

И наконец, определенная доля власти была сосредоточена в руках царя (rex). Первые римские цари, т. е. до утверждения этрусской династии, были, следовательно, выборными, и их власть в значительной мере ограничивалась комициями и советом старейшин.

Подобное общественно-политическое устройство раннего Рима дало Энгельсу основание определить его как «военную демократию»¹, ибо высшим органом общины все же было народное собрание, а оно в свою очередь представляло собой не что иное, как сходку вооруженного народа, поскольку принимать участие в собрании могли лишь мужчины-воины.

Из всего сказанного выше вытекает, что на ранней стадии исторического развития *populus Romanus* состоял из более привилегированных, т. е. патрицианских, и менее привилегированных семей. Очевидно, в этой связи получает распространение аналогичный этрусскому (и, возможно, от них и заимствованный) институт клиентелы. Представители менее знатных, и как правило, обедневших родов и семей, а также некоторые переселенцы, «чужаки», искали покровительства и защиты у знатных людей, которые становились таким образом их патронами. В обществе, в котором еще не существует достаточно четко оформившейся государственной власти, институт клиентелы в тех или иных формах распространен довольно часто.

Если патриции, а затем и клиенты могут считаться членами *populus Romanus* в том смысле, что они были включены в состав самой общины, в ее родовую организацию, то другой слой населения раннего Рима,

¹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 127.

слои, который быстро рос в количественном отношении, стоял — во всяком случае в древнейший период — особняком и не входил в состав родов, курий и триб. Это и были плебеи.

Сведения источников о происхождении плебеев чрезвычайно сбивчивы и противоречивы. Гипотеза Нибура — она в общих чертах и ныне принимается многими исследователями — считает плебеев переселенцами, иногда добровольными, а иногда и насильственно переселенными в Рим из покоренных племен. Это были лично свободные люди, имевшие право — хотя и на иных основаниях, чем патриции, — владеть землей и обязанные нести военную службу. По мнению Нибура, они не входили в состав римской родовой организации и потому не пользовались никакими политическими правами, но затем, на протяжении многих десятилетий, перемешавшись с незнатными родами самого *populus Romanus* и принимая на себя также клиентские обязанности, они постепенно и на урезанных правах были включены в древнеримскую общину.

Существуют, конечно, и другие гипотезы происхождения плебеев. Некоторые исследователи, например крупнейший немецкий историк конца XIX — начала XX в. Эдуард Мейер, объясняли происхождение плебеев развитием имущественной дифференциации самого римского общества. С точки зрения Мейера, плебеи всегда были римскими гражданами. Но это — те граждане, которые в силу ряда причин остались на уровне мелких и средних владельцев и не вошли в состав привилегированных, аристократических родов. Какая-то часть таких людей добровольно ставила себя в зависимость и искала покровительства у знатных и богатых — этим путем возникла клиентела. Точка зрения Эдуарда Мейера, как, впрочем, и гипотеза Нибура, имеет свои уязвимые места. Вообще говоря, состояние источников и по сей день таково, что все теории и гипотезы о происхождении плебеев остаются искусственными, чисто умозрительными построениями¹.

¹ О происхождении патрициев и плебеев см.: *С. П. Ковалев*. Проблема происхождения патрициев и плебеев. — «Труды юбилейной научной сессии Ленинградского государственного университета». Л., 1948; *А. Н. Пемировский*. История раннего Рима и Италии. Воронеж, 1962.

* * *

Мы рассмотрели ряд проблем ранней истории Рима. Знакомство с ними, и в особенности с последней из них, вводит нас в самую гущу событий этой ранней истории. Ибо борьба плебеев и патрициев, или, как сформулировал Маркс, борьба «мелкой земельной собственности с крупной»¹, составляет основное, главное содержание внутренней истории римской республики. Для понимания дальнейших тенденций и самого процесса общественного развития необходим хотя бы краткий обзор основных этапов этой борьбы.

Очевидно, прежде всего должно быть упомянуто событие, которое традиция относит еще к «царскому периоду». Это — так называемая реформа Сервия Туллия. В традиционном изложении она выглядит следующим образом. Сервий Туллий, шестой римский царь, представитель этрусской династии, ввел якобы новое устройство римской общины на основе ее территориально-имущественного членения. Городская римская территория была разделена на четыре трибы. Эти трибы представляли собой именно территориальные округа и не имели ничего общего со старыми родо-племенными трибами. К новым округам приписывалось все гражданское население, как патрицианское, так и плебейское, жившее в данном округе и владевшее землей. Вследствие этого плебеи фактически включались в состав единой с патрициями гражданской общины.

Вместе с тем все население Рима было разделено на пять имущественных групп, или классов. К первому классу принадлежали те, чье имущество оценивалось в 100 тыс. асов (ас — медная монета весом 327, 5 г), ко второму — 75 тыс. асов, к третьему — 50 тыс. асов, к четвертому — 25 тыс. асов и, наконец, к пятому — 12,5 тыс. асов. Более бедные слои населения не входили в состав этих классов и получили название пролетариев (от латинского слова *proles* — потомство, т. е. в этом названии содержался намек на то, что все их богатство состояло лишь в потомстве!).

Реформа имела и военное и политическое значение. Ее военное значение состояло в том, что каждый иму-

¹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 28, стр. 368.

щественный класс должен был выставлять определенное количество центурий (сотен). Так, первый класс составлял 80 центурий пехотинцев и 18 центурий всадников, следующие три класса — по 20 центурий пехотинцев и последний пятый класс — 30 центурий легковооруженных пехотинцев. К этим 188 центуриям следовало еще добавить 5 нестроевых (одна из них выставлялась пролетариями).

Однако центурия была не только военной, но и политической единицей. Голосование в народном собрании стало проводиться теперь по центуриям, и вскоре центуриатные комиции оказались наиболее распространенным и популярным видом народного собрания. Так как каждая центурия имела один голос, то первый класс, если только он выступал единодушно, располагал всегда обеспеченным большинством голосов (98 из 193!).

Таково содержание знаменитой реформы Сервия Туллия. Она, несомненно, имела огромное значение. Энгельс говорил об этой реформе как о «революции, которая положила конец древнему родовому строю»¹. Однако считать Сервия Туллия единоличным творцом реформы, как утверждает традиция, едва ли возможно. Очевидно, в традиционном изложении подводится итог процессам, протекавшим на протяжении нескольких столетий (VI—III вв. до н. э.). Так, например, установление ценза, выраженного в асах, могло произойти не ранее чем в III в. до н. э. В целом же реформа, наносившая сокрушительный удар пережиткам родового строя и господству родовой аристократии, — итог длительной борьбы римского плебса².

Эта борьба развивалась и дальше, т. е. после падения царской власти (традиционная дата — 509 г. до н. э.), в эпоху ранней республики. Она разворачивалась главным образом вокруг трех вопросов: аграрного, должного и вопроса о политических правах.

В Древнем Риме длительное время сохранялись пережитки общинного землевладения. Поэтому основная масса земли считалась принадлежащей как бы всему

¹ См. *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 21, стр. 128.

² См. «Всемирная история», т. II. М., 1956, стр. 114—116; *А. И. Немировский. К вопросу о времени и значении центуриатной реформы Сервия Туллия.* — «Вестник древней истории» (далее — ВДИ), 1959, № 2, стр. 153—165.

populus Romanus, т. е. самой патрицианской общине. Это было так называемое общественное поле (ager publicus). Патриции имели право занимать из этого фонда земельные участки для себя и даже для своих клиентов. Фонд ager publicus непрерывно увеличивался, ибо, по римскому обычаю, часть территории (обычно $\frac{1}{3}$) покоренных италийских племен тоже превращалась в «общественное поле». Таким образом, право оккупации (occupatio) земельных участков из этого фонда скоро превратилось в основной источник и причину возникновения крупных земельных владений.

Плебеи к оккупации ager publicus не допускались, следовательно, их земельные владения оставались сравнительно ограниченными. В условиях ранней римской общины путь доступа к общественному полю мог быть лишь один: включение в патрицианскую общину, уравнение в правах с патрициями. Вот почему борьба за политические права, в особенности для верхушки плебейства, была лишь оборотной стороной борьбы за землю.

В 494 г. до н. э., в соответствии с рассказом Тита Ливия¹, плебеи, притесняемые патрициями, отказались выступить в военный поход и в полном вооружении удалились из Рима на Священную гору, где разбили лагерь (сецессия). Уход плебеев резко ослаблял военную мощь Рима, и патриции были вынуждены пойти на уступки. Была создана специальная должность (магистратура) народного трибуна — защитника интересов и прав плебса. Народные трибуны избирались только из самих плебеев, пользовались неприкосновенностью и имели право запрета (право veto) распоряжений всех остальных должностных лиц.

К середине V в. до н. э. относится и одно из наиболее достоверных событий ранней римской истории — запись действующего права или так называемое законодательство XII таблиц (451—450 гг.). Текст этих законов до нас полностью не дошел, но мы имеем о них некоторое представление благодаря ссылкам и цитатам более поздних авторов. Законы XII таблиц отражают довольно архаические общественные отношения и касаются вопросов гражданского, главным образом семейного, и уголовного права.

¹ Liv., 2, 32—33.

Затем, на протяжении примерно двух столетий, появляется еще целая серия законов, в результате принятия которых происходит полное уравнение прав плебеев и патрициев. Это, например, закон народного трибуна Канулея (445 г.), разрешавший браки между патрициями и плебеями, законы трибунов Лициния и Секстия, за принятие которых они, если верить традиционной версии¹, боролись целых десять лет (377—367 гг.). Последнее законодательство пыталось решить все основные вопросы: аграрный, долговой и вопрос о политических правах. Лициний и Секстий предлагали ограничить владение общественной землей 500 югеров (125 га), засчитать должникам выплаченные уже проценты в счет долга и, наконец, при избрании высших должностных лиц, т. е. консулов, одного из них обязательно выбирать от плебеев. Некоторые современные исследователи даже полагают, что самая должность консулов впервые возникла именно в это время.

В 326 г. был принят закон Петелия, согласно которому запрещалась продажа в рабство за долги, а в 287 г. — закон диктатора Гортензия, гласящий, что решения плебейских собраний по трибам приобретают силу закона для всех граждан. Так возникает в Риме новый (третий) и наиболее демократический вид народного собрания — трибутные комиции. Кроме того, к этому времени плебеям уже стали доступны все должности, включая и высшие жреческие. Происходит полное уравнение в правах и одновременно слияние патрицианско-плебейской верхушки. Этот последний факт знаменует собой возникновение нового и привилегированного сословия — так называемого нобилитета.

Как же выглядела теперь римская гражданская община после завершения борьбы патрициев и плебеев, т. е. в III в. до н. э.? Очевидно, до подчинения Южной Италии и расположенных в этой части полуострова богатых и культурных греческих городов римская жизнь, римский быт еще сохраняли определенные черты патриархальности. Экономика была довольно примитивной, страна в целом имела ярко выраженный аграрный характер. Земледелие и скотоводство были основным занятием населения. Можно

¹ Liv., 6, 35—42.

говорить о развитии ремесла, которое отделилось от сельского хозяйства, видимо, еще в царскую эпоху, о наличии ремесленников-профессионалов¹. С развитием ремесла связано и развитие обмена — еженедельные базары на Форуме, ежегодные ярмарки, приуроченные обычно к религиозным праздникам.

Политическое устройство ранней римской республики, строго говоря, мало чем отличалось от царского Рима. Конечно, единоличная власть царя была заменена теперь властью двух ежегодно избираемых должностных лиц (магистратов), которые сначала назывались преторами, а затем консулами. Как уже упоминалось, к консулам перешла высшая власть (империй) царей и все их основные функции, за исключением жреческих обязанностей. Вскоре возникают и другие республиканские должности; выше было сказано о том, как и когда возникла весьма своеобразная должность народных трибунов.

В период республики не только сохраняется, но даже укрепляется руководящая роль сената. Он становится органом патрицианско-плебейской верхушки, т. е. нобилитета. Народное собрание тоже сохраняет свое суверенное положение, и, как мы уже могли убедиться, в Риме существует три вида народных собраний (комиций).

Раннереспубликанский Рим был типичным полисом или, как принято толковать этот греческий термин, типичным городом-государством. Что это значит? Обычно, говоря о городе-государстве, имеют в виду некую своеобразную политическую форму, политическую надстройку. Однако, на наш взгляд, подобное понимание природы и сущности полиса слишком ограничено.

Интересно отметить, что сами древние в своих определениях подчеркивали материальную основу полиса. «Полис есть совокупность семей, жилищ, территории, имущества, способная обеспечить собственное благополучие»². В других определениях еще более прямо говорится, что стремление людей найти защиту в городах объясняется надеждой на обеспеченность собственности³. Таким образом, встает вопрос о собст-

¹ *Plut.*, Num., 17.

² [*Arist.*] *Occ.*, 1, 1, 2.

³ *Cic.*, *off.*, 2, 73; 78.

венности или, точнее говоря, о характере той собственности, которая и составляла экономический базис полиса.

Это был весьма своеобразный вид собственности. Его специфика и даже противоречивость заключались в том, что собственность выступала как бы в двуединой форме: как собственность государственная и как собственность частная, но всегда так, что последняя была опосредована первой. Частной собственности в ее «чистом» виде, т. е. собственности ничем не ограниченной, не обусловленной, еще не существовало. Необходимой предпосылкой права частной собственности на землю — а земля в аграрной Италии была основным видом собственности — являлась принадлежность к гражданской общине, т. е. к полису. Именно таким путем частная собственность и была обусловлена, ограничена или, как говорил Маркс, опосредована собственностью государственной¹.

Итак, экономической основой полиса следует считать земельную собственность в ее специфической двуединой форме. Полисная организация, т. е. все полисные институты, была обязана обеспечить распоряжение (управление) этой собственностью, а также ее защиту. В разных полисах эта задача осуществлялась по-разному, но были и общие для всех (или — почти для всех) полисов «гарантии». Помимо бесспорного и непреложного условия, согласно которому правом собственности на землю мог обладать лишь полноправный гражданин, существовали, например, еще и такие гарантии: охрана замкнутости гражданства, запрещение эндогенного рабства (т. е. рабства соотечественников и граждан), наличие народного собрания и, наконец, наличие полисной военной организации, как правило, с этим народным собранием довольно тесно связанной².

Мы указали наиболее специфические черты как в области экономики, так и политического устройства, определяющие природу полиса. Эти особенности в свою очередь обуславливали по крайней мере три существенных момента, без понимания которых наше

¹ См. *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 46, ч. 1, стр. 466, 471, 473—474.

² Обо всем этом более подробно см.: *С. Л. Угченко. Кризис и падение Римской республики. М., 1965, стр. 5—14.*

представление о полисе было бы неполным. Во-первых, «завершенный», скорее даже самодовлеющий характер полиса, что и превращало его — во всяком случае, в политическом плане — в некую самостоятельную единицу, в город-государство. Во-вторых, элементы демократии (наличие народного собрания и т. п.), заложенные в основе любого полисного устройства (хотя степень проявления этих элементов могла быть весьма различной). И наконец, сравнительно небольшие размеры территории и численности населения, во всяком случае до тех пор, пока сохранялось еще само понятие «город-государство».

Таковы основные факты и проблемы внутренней истории раннего Рима. Но чтобы получить более полное представление о путях образования римской средиземноморской державы, необходимо хотя бы в самых общих чертах коснуться также и внешней истории.

Внешняя история Рима в V—III вв. — цепь почти непрерывных войн. Мы не будем, конечно, останавливаться на ходе военных действий, тем более что наши сведения о ранних войнах весьма малодостоверны. Обратим в таком случае внимание лишь на итоги и последствия этих войн.

Войны V в., т. е. начального периода республики, характеризуются прежде всего длительной и упорной борьбой с этрусками. Решительный перелом в ходе этой борьбы в пользу римлян произошел лишь в самом конце века, когда, согласно традиционной версии, был взят после десятилетней осады (406—396 гг.) крупный этрусский город Вейи. Кроме того, на протяжении многих лет шли войны с соседними племенами вольсков и эквов. Итоги римской агрессивной политики в V в. были еще довольно незначительными: римляне овладели правым берегом реки Тибр в нижнем ее течении и вступили в так называемую Латинскую федерацию.

В IV в. картина резко меняется. Разразившаяся в начале века военная катастрофа чуть было не погубила Рим. Город подвергся нашествию галлов (кельтов). В 390 г. на реке Алии (приток Тибра) галлы нанесли римлянам страшное поражение. Рим, оставшийся без защиты, был предан огню и опустошению. Однако галлы не смогли взять Капитолия, который они осаж-

дали в течение семи месяцев и который был спасен во время ночного штурма, согласно известной легенде, криком священных гусей, разбудивших спящую стражу. Осада города в конечном счете была снята, видимо, за крупный выкуп.

Хотя захват Рима галлами произвел сильное впечатление на современников и память о нем сохранялась многие века, римляне тем не менее сравнительно быстро оправались от этого нашествия. Во второй половине IV в. они ведут напряженную борьбу за овладение Средней Италией. Прежде всего это была борьба с бывшими союзниками — городами распавшейся латинской федерации, затем — три Самнитские войны. Во время последней, т. е. третьей, войны самнитам удалось создать против Рима сильную коалицию, в которую вошли этруски, североиталийское племя умбров и даже галлы. Борьба шла с переменным успехом, но в конечном счете путем большого напряжения сил римлянам удалось добиться победы и овладеть всей территорией Средней Италии — от долины реки Падус (По) до северных границ Лукании. Таков значительно более ощутимый итог войн Рима в IV в. до н. э.

В следующем веке начинается последний этап борьбы за овладение Италией. Теперь приходит очередь городов «Великой Греции», т. е. южноиталийских городов. Подчинение их облегчалось тем обстоятельством, что между этими городами существовало соперничество, иногда даже вражда. Некоторые из них вступают в союз с Римом, добровольно признают его главенство. Однако крупный южноиталийский город Тарент пытается оказать сопротивление римской агрессии. Не рассчитывая полностью на свои силы, тарентинцы обращаются за помощью к царю Эпира (северо-запад Греции) — Пирру. Это был дальний родственник и поклонник Александра Македонского, мечтавший о его славе.

Начало военных действий на территории Италии оказалось для Пирра весьма успешным. Он одержал две крупные победы над римлянами: при Гераклее (280 г.) и Аускуле (279 г.). Правда, последняя победа досталась Пирру ценой огромных потерь («пиррова победа»). Вскоре после этого Пирр со своим войском (оставив лишь гарнизоны в некоторых городах Южной

Италии) переправляется в Сицилию, где ведет военные действия против карфагенян. Не добившись и здесь окончательного успеха, он возвращается в Италию. В 275 г. у города Беневента (в центре Самния) происходит его последняя встреча с римлянами. Пирр наголову разбит и вынужден бежать из Италии. Через три года римлянам сдается Тарент, а затем и остальные города, еще сохранявшие свою самостоятельность. Таким образом, вся Италия от Мессанского пролива до реки Рубикон на границе с Цизальпийской Галлией оказалась под властью римлян. Рим превращается в одно из крупнейших государств Западного Средиземноморья, и римская агрессия устремляется теперь уже за пределы Апеннинского полуострова.

В ходе этих длительных войн сложилась военная организация Рима. Римская армия представляла собой народное ополчение; служба в армии для римского гражданина считалась не только обязанностью, но и честью — стаж военной службы был необходим для занятия государственных должностей. В ранние годы республики служба в армии не оплачивалась, наоборот, каждый воин должен был сам заботиться о своем вооружении и пропитании, только всадники получали от государства коня или соответствующую сумму на его приобретение. Если верить Ливию, такое положение сохранялось до рубежа V—IV вв. — с этого времени государство начало выплачивать воинам жалованье (*stipendium*)¹.

Римская армия подразделялась на легионы, численный состав которых доходил до 6 тыс. человек. Сначала военный строй легионов представлял собой малоподвижную фалангу, затем легион стал делиться на 30 тактических единиц — манипулов. Каждый манипул в свою очередь делился на две центурии. Это было более гибкое и маневренное построение.

Римской армией в целом командовали консулы. В случае особой опасности для республики верховная власть и командование вручались диктатору, который избирался на полгода. Он назначал себе помощника — начальника конницы (*magister equitum*).

Кроме легионов, которые вербовались только из римских граждан, существовали еще вспомогатель-

¹ *Liv.*, 4, 59, 11.

ные войска, состоявшие из союзников, т. е. из покоренных племен Италии. Важной особенностью тактики римлян было строительство укрепленных лагерей. Место, где римское войско останавливалось хотя бы на одну ночь, укреплялось, окружалось рвом и валом. Устройство лагерей давало возможность римлянам сочетать преимущества наступательных действий с оборонительными.

Интересно отметить, что свой первоначальный характер, т. е. характер народного ополчения, римская армия сохраняет, видимо, только в самый ранний период республики. Уже выплата воинам жалованья была одним из первых шагов на пути превращения временного ополчения в постоянную и регулярную армию. Очень рано возникает и практика приема в армию добровольцев, которые в основном вербовались из отслуживших свой срок ветеранов¹. Некоторые современные исследователи считают, что в Риме какой-то минимум вооруженных сил существовал постоянно и с достаточно давних времен; большие войны требовали лишь пополнения этого минимума².

В заключение — самый краткий обзор тех военных событий, в результате которых Рим превратился в крупнейшую средиземноморскую державу. Здесь снова не может быть и речи о каком-то подробном изложении, но лишь о некоторых оценках и итогах.

Подчинив себе всю Италию, римляне направили свои агрессивные устремления за ее пределы, в первую очередь в сторону Сицилии, богатого и плодородного острова, который, по словам одного древнего историка, представлял собой завидную добычу, находившуюся под рукой и как бы нечаянно оторванную от самой Италии³. Но здесь римлянам пришлось столкнуться с могущественным соперником, с крупнейшим государством Западного Средиземноморья — Карфагеном.

Город Карфаген, расположенный на северном побережье Африки (на берегу Тунисского залива), был основан, по преданию, еще в IX в. до н. э. В крупное средиземноморское государство он превратился значи-

¹ *Liv.*, 31, 8, 6; ср. 32, 3, 4.

² *R. E. Smith. Service in Post-Marian Roman Army.* Manchester, 1958, p. 2—3.

³ *Flor.*, 2, 2.

тельно раньше Рима, а к III в. сложилась колониальная держава Карфагена. Его власть простиралась в это время на западную часть побережья северной Африки, на южную Испанию, значительную часть Сицилии, на Корсику, Сардинию, Балеарские острова.

Основой экономической мощи Карфагена была посредническая торговля. Благодаря удачному географическому положению Карфаген стал центром распределения сырья и товаров в средиземноморском бассейне. Кроме того, в пору своего расцвета Карфаген считался классической страной плантационного земледелия, основанного в значительной мере на рабском труде. Основы рационального ведения подобного хозяйства были изложены в специальном труде карфагенянина Магона, причем этот труд пользовался такой популярностью, что римский сенат даже вынес специальное постановление о переводе его на латинский язык.

Политическая власть в Карфагене принадлежала крупным землевладельцам и купцам. По своему государственному устройству Карфаген был республикой, и знаменитый историк Полибий сравнивал его с Римом¹. Однако народное собрание в Карфагене, пожалуй, играло менее заметную роль. Во главе исполнительной власти стояли два суфета, близкие по своим функциям к римским консулам. Существовал Совет 300, наподобие римского сената; из состава этого Совета выделялась коллегия в 30 человек, которая и вела всю текущую работу.

Карфагенская армия состояла главным образом из наемников и отрядов, поставляемых зависимыми от Карфагена племенами. Но высшие командные должности занимались самими карфагенянами, и эти военачальники часто пользовались большим политическим влиянием. Техническое оснащение армии было по тем временам чрезвычайно высоким: осадные машины, боевые слоны. Но главным козырем Карфагена был мощный морской флот (пятидесятивесельные суда).

Первая Пуническая война — римляне называли карфагенян пунами — продолжалась двадцать три года (264—241 гг.). В этой войне решающая роль принадлежала морским операциям. И хотя в военных

¹ *Polyb.*, 6, 51—52; 56.

действиях, которые развертывались на территории Сицилии, римляне одержали ряд побед и овладели почти всей Сицилией, все эти успехи сводились на нет тем обстоятельством, что карфагенский флот господствовал на море. Только после того как римлянам удалось создать свой флот и выиграть первое морское сражение, военные действия были перенесены на территорию Африки. Но экспедиция римлян в Африку была плохо подготовлена и окончилась полной для них неудачей.

Война затягивалась, военные действия опять сосредоточились на территории Сицилии. Борьба шла с переменным успехом. Решающим оказалось новое морское сражение (241 г.) у Эгатских островов (к западу от Сицилии), где карфагенский флот был наголову разбит. Вскоре после этого карфагеняне вынуждены были пойти на заключение мира, по которому они теряли Сицилию и выплачивали римлянам большую контрибуцию. А еще через некоторое время римляне, воспользовавшись тем, что в Карфагене началось восстание наемников, самовольно захватили Корсику и Сардинию. Это были первые римские провинции.

Восстание наемников подавил карфагенский полководец Гамилькар Барка, который выдвинулся в конце войны. После подавления восстания он приобрел в Карфагене большой авторитет и возглавил военную партию, стремившуюся к реваншу, к новой войне с Римом. В качестве плацдарма для этой новой войны он избрал Испанию, и ему удалось подчинить значительную часть Пиренейского полуострова.

В ходе завоевания Испании Гамилькар погиб. Командование карфагенскими войсками перешло в руки его зятя, а затем его сына — знаменитого Ганнибала. С этого момента вопрос о новой войне с Римом фактически был решен. Вторая Пуническая война началась в 218 г. и продолжалась семнадцать лет (до 201 г.).

Ганнибал решил осуществить стратегический план, намеченный еще его отцом. Речь шла о войне на территории самой Италии. Для выполнения этого плана Ганнибалу пришлось совершить труднейший переход через Альпы. Римляне не ожидали, что будет избран такой рискованный путь нападения, и Ганнибал еще в Северной Италии нанес им несколько сокру-

шительных поражений. В столкновениях с римлянами во всем блеске проявился военный гений Ганнибала. Особенно знаменита битва при Каннах (216 г.), в которой карфагенская армия, уступавшая в численности римской, сумела окружить и разгромить противника.

Однако длительная борьба Ганнибала против Рима оказалась фактически борьбой одиночки против могущественного государства, обладавшего почти неисчерпаемыми резервами. Карфаген же не оказывал должной помощи своему полководцу. Поэтому Ганнибал, не потерпев ни одного поражения, в конечном счете очутился в безвыходном положении — его войско было заперто и изолировано в Южной Италии. Города, перешедшие на его сторону, постепенно отвоевывались римлянами, а молодой римский полководец Публий Корнелий Сципион удачно вел военные действия в Испании. Очистив эту страну от карфагенских войск, он выдвинул идею похода в Африку. Ему удалось организовать новую африканскую экспедицию, и римляне высадились недалеко от Карфагена. Карфагенское правительство срочно отозвало Ганнибала с его войском из Италии. В 202 г. у местечка Замы произошла решающая битва, в которой Ганнибал потерпел свое первое и последнее поражение. На сей раз условия мира, продиктованные римлянами, были весьма тяжелыми: Карфаген терял свои колонии, выдавал римлянам весь флот и всех боевых слонов и, наконец, выплачивал огромную контрибуцию. Его военное и политическое могущество этими условиями мира было подорвано навсегда.

И тем не менее Риму пришлось еще раз столкнуться с Карфагеном. Однако это произошло ровно через пятьдесят лет после окончания Второй Пунической войны. В течение этих пятидесяти лет римляне упорно и настойчиво проникали в восточную часть Средиземноморья. Они вели три войны против одного из самых опасных противников на Востоке — эллинистической Македонии. В ходе этой борьбы они демагогически объявили себя освободителями Греции, и в 196 г. римский полководец Фламиний в торжественной обстановке провозгласил ее независимость. На самом же деле для Греции лишь сменился хозяин.

Сирийский царь Антиох III пытался возглавить антиримское движение на Востоке, в результате чего

началась так называемая Сирийская война, утвердившая римское влияние в Малой Азии. Новую попытку создать коалицию против Рима предпринял македонский царь Персей. Он также был разбит, и Македония вскоре после этого была превращена в римскую провинцию. А когда на территории Греции вспыхнуло освободительное движение, римляне подавили его железной рукой и демонстративно разрушили Коринф — один из самых древнейших городов Греции.

Пока экспансионистские устремления римлян были обращены на Восток, Карфагену удалось, в частности благодаря его выгодному географическому положению, восстановить свои экономические ресурсы. Он снова превращается в крупный центр посреднической торговли. Римляне не могли с этим примириться. Их позиция в отношении старого соперника была сформулирована и настойчиво пропагандировалась знаменитым политическим деятелем Катонем, который, по преданию, каждую свою речь заканчивал возгласом: «Я полагаю, что Карфаген должен быть уничтожен»¹. Обвинив карфагенян в нарушении одного из пунктов мирного договора 201 г., римляне в 149 г. осадили Карфаген. Осада продолжалась около трех лет. Город наконец был взят штурмом, которым руководил приемный внук Сципиона Старшего, победителя Ганнибала, — Сципион Эмилиан. В Карфаген прибыла специальная комиссия римского сената. Она вынесла решение об уничтожении города. Карфаген был подожжен, горел 16 дней, а затем через всю его территорию, где еще дымились обуглившиеся развалины, была проведена плугом борозда в знак того, что это место посвящается богам подземного царства и предается вечному проклятию (146 г. до н. э.). Карфагенские владения были включены в состав новой римской провинции «Африка».

Так в результате окончательного сокрушения своего старого, непримиримого соперника на западе и в результате побед над восточноэллинистическими странами (Балканский полуостров, Малая Азия) Рим превратился в мировую державу, в гегемона всего Средиземноморья.

¹ *Plut., Cato major, 27.*

Римское общество во II—I вв.

2

Превращение Рима в мировую державу, несомненно, вызвало — и не могло не вызвать — крупнейшие социально-экономические и политические сдвиги во всех звеньях и во всей структуре римского общества. В чем же они заключались?

Прежде всего принципиально важным и новым явлением в области экономики следует считать образование денежно-ростовщического капитала. Выход Рима на широкую средиземноморскую арену, вытеснение такого мощного соперника и конкурента, как Карфаген, привели к расцвету римской внешней торговли. О развитии товарно-денежных отношений свидетельствует прежде всего чеканка монеты: если после победы над Пирром римляне начинают чеканить серебряную монету (драхма, денарий) взамен прежней медной (ас), то с конца III — начала II в. появляется уже и золотая римская монета. До II в. до н. э. Рим испытывал известную нужду в драгоценном металле, в частности серебре, но после крупных завоеваний, особенно после захвата испанских серебряных рудников, римское государство получило полную возможность обеспечить регулярный выпуск серебряных денег¹.

Нужда римского населения в предметах ремесленного производства в основном удовлетворялась местными промыслами, но сельскохозяйственные продукты, несмотря на то что Италия была аграрной страной, ввозились из провинций или зависимых от Рима стран, а предметы роскоши — из Греции и стран эллинистического Востока. Ввоз товаров в Италию

¹ Polyb., 34, 8.

всегда преобладал над вывозом. Из самой Италии вывозилось вино, оливковое масло, металлические изделия.

Римляне торговали не только с подвластными им странами, но и с рядом крупных эллинистических государств, сохраняющих еще свою независимость, например с Египтом. Когда-то выдающуюся роль в средиземноморской торговле играл остров Родос, затем Коринф. После разрушения Карфагена и Коринфа в качестве крупнейшего торгового центра начинает выдвигаться остров Делос. Здесь встречались друг с другом и совершали торговые сделки купцы самых различных стран и здесь же возникают ассоциации италийских купцов (главным образом кампанцы или южноиталийские греки), которые имели характер торгово-религиозных объединений, находившихся под покровительством какого-либо божества¹.

Образованию торгово-денежного и ростовщического капитала содействовало получение римской казной контрибуций, военная добыча и прямое ограбление завоеванных стран и городов. Контрибуция, наложенная на карфагенян после Первой Пунической войны, равнялась 3200 талантам², после Второй Пунической — уже 10 тыс. талантов, а на Антиоха III (после победы римлян в Сирийской войне) — 15 тыс. талантов. Военная добыча победоносных римских полководцев была огромной. Тит Ливий описывает триумфы многих римских полководцев. Приведем в качестве образца одно из таких описаний, дающее представление о размерах и характере военной добычи. Речь идет даже не об особенно крупной войне — о победе римского полководца Гая Манлия над малоазийскими галатами в 197 г. до н. э. «В триумфе Гая Манлия несли золотые короны, весившие 212 фунтов³, 220 000 фунтов серебра, 2103 фунта золота, 127 000 аттических тетрадрахм, 250 кистофор⁴, 16 320 золотых филиппиков⁵; везли на повозках большое количество оружия и доспехов, снятых с галатов; перед триумфальной колесницей вели 52 неприятельских вождя. Триумфатор роздал воинам

¹ Ср. С. Л. Утченко. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969, стр. 7—8.

² Талант — 26,2 кг серебра.

³ Римский фунт — 327 г.

⁴ Кистофор — монета достоинством около трех драхм.

⁵ Филиппик — македонская монета.

по 42 денария каждому, центурионам — вдвое больше, всадникам — втрое, пехотинцам же уплатил двойное жалованье»¹. Плутарх, описывая триумф Эмилия Павла, победителя при Пидне (168 г.), т. е. в битве, решившей исход последней македонской войны, говорил о том, что триумф продолжался три дня, во время которых непрерывно проносили и везли на колесницах драгоценное вооружение, произведения искусства, огромные сосуды, наполненные золотой и серебряной монетой. В триумфальной процессии был проведен и сам побежденный македонский царь Персей и его малолетние дети².

Что касается прямого грабежа побежденных, то Полибий рассказывает об этом с эпическим спокойствием и простотой. «По взятии города римляне поступают примерно так: для совершения грабежа выделяется из каждого манипула известное число воинов... или воины идут на грабеж манипулами. Но для этой цели никогда не назначают более половины войска, остальные остаются на месте... Все воины, выделенные для грабежа, сносят добычу в лагерь. После этого трибуны делят добычу поровну между всеми, причем не только между теми, которые оставались в строю для прикрытия, но и теми, кто стерег палатки, а также больными и выполняющими какие-либо дела и поручения». В заключение Полибий весьма похвально отзывается об этой столь четко и беспощадно разработанной системе грабежа, ибо здесь никто не опасается потерять добычу, все получают поровну, «по справедливости»; у других же народов, подчеркивает наш историк, «нарушение этих правил бывает источником величайших бедствий»³.

Завоеванные римлянами страны превращались в провинции и облагались налогами. В Риме возникают крупные объединения, компании откупщиков (*societas publicanorum*), которые берут на откуп сбор налогов в провинциях, а также подряды на различные виды общественных работ в самой Италии. Публиканы отнюдь не пренебрегали и кредитно-ростовщическими операциями, причем опять-таки в первую очередь в провинциях, где еще практиковалась продажа в рабство

¹ *Liv.*, 39, 7.

² *Plut.*, *Paul.* 32—34.

³ *Polyb.*, 10, 16.

за долги и где ссудный процент был фактически ничем не ограничен, доходя до 48—50 %.

Наряду с компаниями публиканов существовали и были довольно широко распространены в Риме меняльные конторы. Они занимались не только своей непосредственной обязанностью, т. е. обменом денег, но и некоторыми, как бы «банковскими», операциями. Они принимали денежные суммы на хранение, давали ссуды под проценты и даже занимались переводом денег одного вкладчика на счет другого. Владельцы этих контор, т. е. фактически римские ростовщики, назывались аргентариями. Однако этот род деятельности не считался в Риме почетным — полноправные римские граждане избегали заниматься подобными операциями, поэтому аргентариями, как правило, были вольноотпущенники или иностранцы (довольно часто — греки).

Поскольку Италия даже в эпоху превращения Рима в мировую державу оставалась аграрной страной, чрезвычайно важно проследить основные сдвиги в области сельского хозяйства.

До II в. до н. э. в Италии преобладали мелкие и средние крестьянские хозяйства, отличавшиеся своим натуральным характером. В таких хозяйствах использовался труд самого землевладельца — главы семьи (*pater familias*), членов этой семьи и спорадически, т. е., как правило, в страдную пору, труд наемных сельскохозяйственных рабочих. Вся или почти вся производимая в этих хозяйствах продукция шла на удовлетворение нужд самой семьи. Но по мере развития товарно-денежных отношений и роста рабовладения подобные хозяйства начинают постепенно вытесняться и возникают совсем иные формы сельскохозяйственного производства, формы, рассчитанные уже не только на эксплуатацию труда членов самой семьи, но и труда рабов, не только на производство для удовлетворения собственных нужд, но и на сбыт, продажу, т. е. на рынок.

Вот как описывал этот процесс Аппиан, один из древних историков: «Дело в том, что богатые, захватив себе большую часть не разделенной на участки земли¹, с течением времени пришли к уверенности, что

¹ То есть *ager publicus*.

никто ее никогда у них не отнимет. Расположенные поблизости от принадлежащих им земель небольшие участки бедняков богатые отчасти скупали за деньги, отчасти отнимали силой. Таким образом, богатые стали возделывать огромные пространства земли на равнинах вместо участков, входивших в состав их поместий. При этом богатые пользовались покупными рабами как рабочей силой в качестве земледельцев и пастухов... Все это приводило к чрезмерному обогащению богатых, к увеличению в стране числа рабов, тогда как число италиков уменьшалось и они теряли энергию, настолько их угнетали бедность, налоги, военная служба»¹.

Примерно такую же картину рисует нам и другой историк, Плутарх: «Богатые стали переводить на себя аренду с помощью подставных лиц и в конце концов открыто закрепили за собой большую часть земель. Вытесненные с участков бедняки не хотели нести военную службу, не могли растить своих детей, так что скоро в Италии стало заметно, как уменьшается число свободных граждан и, напротив, растет число рабов-варваров, которые обрабатывали для богатых отнятую у граждан землю»².

И хотя оба историка, и Плутарх и Аппиан, жили значительно позже описываемых здесь событий, общий характер изображенной ими картины безусловно достоверен. Мелкие и средние крестьянские хозяйства гибли не столько в результате экономической конкуренции, сколько в результате прямых захватов земли владельцами крупных поместий. Кроме того, крестьянские хозяйства Италии весьма заметно пострадали за время почти непрерывных войн на территории самого Апеннинского полуострова, особенно за время нашествия Ганнибала, когда погибло около 50% всех крестьянских хозяйств в Средней и Южной Италии. Наконец, дальние походы в Испанию, Македонию, Африку, Малую Азию, надолго отрывая крестьян от земли, также содействовали упадку мелкого и среднего землевладения.

Что касается новых форм и методов ведения сельского хозяйства, то следует сказать, что огромные

¹ App., b. c., 1, 7.

² Plut., Tib., 8.

латифундии (поместья), насчитывающие много сотен и тысяч югеров¹ земли, возникали или на юге Италии, или в Сицилии и даже в Африке. Латифундии, как правило, были слабо связаны с рынком, ибо все необходимое, включая и ремесленные изделия, производилось в них руками рабов, клиентов, должников. В таких имениях часть земель подвергалась обработке, часть использовалась под обширные пастбища для скота и, наконец, какая-то часть раздавалась небольшими участками клиентам.

Для самой Италии характерны поместья более скромных размеров, рассчитанные, однако, на развитие в них товарного производства и использование труда рабов. Такое образцовое поместье, или виллу, описывает уже известный нам римский политический деятель Катон Старший в своем сохранившемся до нашего времени труде «О земледелии» («*De agri cultura*»).

Образцовая вилла Катона представляла собой поместье, имевшее комплексное хозяйство: оливковую рощу в 240 югеров, виноградник в 100 югеров, а также зерновое хозяйство и пастбище для скота. В таком поместье применялся преимущественно труд рабов. Катон указывает, что для ухода за масляной рощей требовалось 13 работников, за виноградником — не менее 16 человек².

Он дает детально разработанные советы относительно рациональной эксплуатации рабов, рекомендуя занимать их делом и в дождливые дни, когда нельзя работать на поле, и даже в дни религиозных праздников. Раба, по мнению Катона, следует держать до тех пор, пока он способен работать, когда же он состарится или заболит, от него желательно избавиться наряду с другими ненужными в хозяйстве вещами: порченой скотиной, железным ломом и старыми телегами. Во главе имения ставится управляющий, или вилик, назначенный, как правило, из наиболее преданных и сведущих в сельском хозяйстве рабов; жена вилика выполняет обязанности ключницы и кухарки³.

Катона весьма интересует проблема рентабельности сельского хозяйства. Не случайно, разбирая вопрос

¹ 1 югер = 0,25 га.

² *Cato*, 10, 1; 11, 1.

³ *Cato*, 2, 1—4; 5, 1—3.

о покупке имения, он прежде всего советует обращать внимание не только на плодородие почвы, но и на то, чтобы «вблизи был значительный город, море, судоходная река или хорошая дорога», имея в виду перевозку и продажу продукции. «Хозяин должен стремиться к тому, — говорит Катон, — чтобы поменьше покупать и побольше продавать»¹.

В трактате Катона есть одно чрезвычайно интересное место, которое вызвало многочисленные комментарии еще у самых древних авторов. «Если ты меня спросишь, — пишет Катон, — какое имение самое лучшее, то я отвечу тебе так: сто югеров с самой разнообразной почвой, в самом лучшем месте; во-первых, с виноградником, если вино хорошее и его много; во-вторых, с поливным огородом; в третьих, с ивняком; в-четвертых, с масличным садом; в-пятых, с лугом; в-шестых, с хлебной нивой; в-седьмых, с лесом, где можно резать листья на корм скоту; в-восьмых, с виноградником, где лозы выются по деревьям; в-девятых, лес с деревьями, которые дают желуди»².

Римские писатели Варрон и Плиний считали, что перечисленные здесь Катонем различные имения и отрасли сельского хозяйства расположены не случайно, но в определенном порядке, представляя собой некую «шкалу доходности». Такого же мнения придерживается и подавляющее большинство современных исследователей. Однако в последние годы — и, кстати говоря, в историографии советской — были выдвинуты убедительные возражения против этой общепринятой точки зрения³. Советский исследователь М. Е. Сергеев считает, что различные отрасли сельского хозяйства перечислены Катонем произвольно и порядок перечисления никак не связан с вопросом о рентабельности этих отраслей.

Оборотной стороной процесса развития новых форм сельскохозяйственного производства было обезземеливание и пауперизация крестьянства. В свою очередь это явление имело весьма сложные последствия. Обезземеленные, разорившиеся крестьяне частично превра-

¹ *Cato*, 1, 3; 2, 7.

² *Cato*, 1, 7.

³ См. *М. Е. Сергеев*. Катонская «шкала доходности» разных земельных угодий. — ВДН, 1949, № 1, стр. 86—91.

щались в арендаторов или поденщиков и батраков. Но последние не могли рассчитывать на постоянный заработок, поскольку их труд использовался эпизодически, лишь в страдную пору. Поэтому огромные массы крестьян хлынули в город. Какая-то часть из них смогла заняться производительным трудом и превратилась в ремесленников, строительных рабочих и т. п. Они объединялись в специальные коллегии, причем из надписей как римских, так и найденных на юге Италии нам известно о существовании самых различных коллегий, например, сукновалов, красильщиц, строителей, медников, ювелиров, парфюмеров. Наблюдается определенная специализация ремесла по городам. Наиболее крупными ремесленными центрами на юге Италии считались кампанские города (Капуя, Нола и т. п.), на севере — ряд этрусских городов (например, Популония, Тарквинии). Развитие ремесла было тесно связано с развитием торговли, ибо в те времена большая часть ремесленников сама сбывала свою продукцию, обходясь без каких-либо посредников.

Но огромное количество разоренных людей так и не могло найти себе постоянной работы. В итальянских городах, и прежде всего в Риме, они заполняли кварталы бедняков, ведя полуголодное существование. Они ничем не брезгали в поисках случайного заработка: лжесвидетельскими показаниями в судах, продажей своих голосов на выборах, доносами, воровством. Они жили на счет общества, на те жалкие крохи, которые перепадали им во время государственных раздач, триумфов победоносных полководцев или от щедрот римских политических деятелей, завоевывавших себе таким путем и популярность и голоса. Так возник в римском обществе особый деклассированный слой населения — античный люмпен-пролетариат.

Имеются достаточно серьезные основания говорить о процессе интенсивной урбанизации Италии во II в. до н. э. Итоги победоносных войн, влияние городского строя жизни ряда эллинистических стран, обезземеливание итальянского крестьянства, приток населения в Рим и другие города — все это, вместе взятое, содействовало общей урбанизации страны. Многие старые города в Италии, частично греческого или

этрусского происхождения, испытывают новый подъем. Многие деревни, поселки, места ярмарок получают теперь статус городов и не только формально, но и фактически, в экономическом и социальном смысле превращаются в настоящие города¹.

В связи с этими явлениями чрезвычайно интересно проследить эволюцию понятия «плебс», «плебеи», т. е. изменение социального содержания данного понятия. Факт эволюции бесспорен — даже априорно можно утверждать, что плебс эпохи так называемой борьбы сословий или плебс накануне движения Гракхов — совершенно разные социальные явления, а следовательно, и понятия.

Если иметь в виду ранние периоды римской истории, то плебеи вполне могут быть отождествлены с крестьянством. Подобное утверждение не следует, конечно, понимать в том смысле, что в те времена вовсе отсутствовало городское население; подчеркивается лишь специфический характер этого населения — оно состояло из крестьян, живших в городе. Более четко разделительная черта между населением сел или деревень и населением городским проводится, видимо, с той поры, когда в результате завершения борьбы сословий и возникновения смешанной патрицианско-плебейской верхушки общества рождается совершенно новое значение понятия «плебс». Ныне это уже не какое-то особое и сравнительно замкнутое сословие, но основная и малоимущая масса населения Италии.

Развернувшийся во II в. до н. э. процесс обезземеливания крестьян был, как мы только что могли убедиться, довольно тесно связан с урбанизацией страны и с ростом городского населения. Именно в этот период завершается оформление двух особых социальных групп, имевших каждая свои, несовпадающие интересы, а в дальнейшем и противоречия — *plebs rustica* (сельский плебс) и *plebs urbana* (городской плебс). В состав последней категории, т. е. городского плебса, как уже было отмечено, вошли самые разнообразные элементы: разорившиеся крестьяне, торговцы, ремесленники, вольноотпущенники, люмпен-пролетарии.

¹ *M. Rostovtzeff. Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich, Bd I. Leipzig, 1929, S. 19.*

Важное значение имеет для нас тот факт, что городской плебс становится в скором времени крупной социальной и политической силой. Об этом можно судить хотя бы по весьма характерным (но вместе с тем весьма мало эффективным) попыткам римских правящих кругов регулировать рост городского населения и ограничивать его возможную активность. Так, например, вольноотпущенникам (получавшим в результате их отпуска на волю гражданские права) разрешалось приписываться лишь к четырем городским трибам, производились насильственные выселки из Рима латинян (также не имевших гражданских прав) и, наконец, на опустошенные войнами территории выводилось большое число поселений (колоний)¹. Однако эти мероприятия, которые должны были, с одной стороны, ограничить численный рост и политическую активность *plebs urbana*, а с другой — возродить *plebs rustica*, т. е. италийское крестьянство, не могли, конечно, достичь цели, но могли только обострить — что и случилось на самом деле — весь сложный комплекс противоречий между сельским и городским плебсом, а в дальнейшем между италийским населением и римскими гражданами.

И наконец, остановимся на характеристике ведущего социально-экономического явления эпохи — на развитии рабства и рабовладельческих отношений. Конечно, рабство в его наиболее примитивных, патриархальных формах существовало в Риме с ранних пор, но особенно интенсивно рабовладельческие отношения начинают развиваться, видимо, на рубеже III—II вв.

Каковы были основные источники рабства? Это — завоевательные войны, пиратство и работорговля, долговое рабство (в провинциях) и естественный прирост рабов. И хотя в данном перечислении мы ставим на первое место войны, это отнюдь не значит, что захват пленных и обращение их в рабство следует считать, как это было недавно принято не только в нашей, но и в зарубежной литературе, главным и чуть ли не единственным массовым источником пополнения числа рабов².

¹ См., напр., *Liv.*, 39, 3, 4; *per.* 20; 39, 23, 3; *ср.* 31, 4, 1—3.

² См. *Е. М. Штаерман*. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. М., 1964, стр. 36—66.

Конечно, в период почти непрерывных войн в Средиземноморье в Рим хлынуло огромное количество рабов. Нам известны лишь разрозненные и, видимо, далеко не точные цифровые данные, но и они достаточно красноречивы. Вот несколько примеров. Взятие города Агригента в Сицилии в ходе Первой Пунической войны (262 г.) дало римлянам 25 тыс. пленных, которые и были проданы в рабство. Фабий Максим при взятии Тарента в 209 г. продал в рабство 30 тыс. жителей. В 167 г. при разгроме городов Эпира консулом Эмилием Павлом было продано в рабство 150 тыс. человек. Разрушение Карфагена в итоге Третьей Пунической войны (146 г.) ознаменовалось продажей в рабство всех оставшихся в живых жителей этого города.

Огромное развитие получила работорговля. Она была тесно связана с пиратством, причем эта связь имела как бы двусторонний характер. С одной стороны, пираты всегда были крупными поставщиками живого товара, с другой — ряды самих пиратов постоянно пополнялись за счет беглых рабов. Одним из наиболее крупных центров работорговли был остров Делос, где, по словам географа и историка Страбона, иногда продавалось до 10 тыс. рабов в день¹. Рабский рынок существовал и в самом Риме (у храма Кастора). Подобные же рынки имелись и в других городах римского государства.

Цены на рабов подвергались большому колебаниям. В годы крупных завоеваний они резко падали. «Дешев, как сард», — существовала поговорка в Риме после захвата Сардинии. Однако цены на образованных рабов или рабов, обладающих какой-либо квалификацией (повара, актера, танцовщицы), были всегда очень высоки.

Что касается других источников рабства, упомянутых выше, то не следует их недооценивать, ибо разорительная деятельность публиканов в провинциях приводила иногда к массовой продаже в рабство, а такой фактор, как естественный прирост рабов, благодаря регулярности и непрерывности действия тоже имел, конечно, немалое значение².

¹ *Strabo*, 14, 5, 2.

² См. С. Л. Утченко. Древний Рим, стр. 12—13.

Характер эксплуатации рабского труда в Риме был чрезвычайно разнообразным. Существовали, например, так называемые государственные рабы. Это были, как правило, служители при магистратах, жрецах, выполнявшие такие обязанности, которые считались предосудительными для свободного человека и гражданина, — обязанности тюремщиков, палачей и т. п. Число государственных рабов было в Риме сравнительно невелико, подавляющая масса рабов находилась в частном владении.

Рабы, принадлежавшие отдельным лицам, делились обычно на две неравноценных группы: сельская фамилия (*familia rustica*) и городская фамилия (*familia urbana*). К сельской фамилии, как нетрудно догадаться, принадлежали рабы, занятые в сельскохозяйственном производстве, и они подвергались наиболее суровой эксплуатации. Рабы, входившие в состав городской фамилии, поскольку это были образованные, квалифицированные люди или домашняя прислуга, находились в сравнительно привилегированном положении. В особых и, как правило, очень тяжелых условиях жили рабы, работавшие в рудниках, каменоломнях или попавшие в гладиаторские школы и казармы.

По римским понятиям, раб не считался субъектом права, не считался личностью, но лишь вещью, принадлежащей своему хозяину, «одушевленным орудием». Раб не имел поэтому никаких публичных прав — ни гражданских, ни политических. Он не имел также и прав частных: ни права на собственность, ни права на семью. Вот это абсолютное бесправие делало общественное положение всех рабов — даже тех, кто находился в относительно терпимом положении, — крайне тяжелым и вело по мере развития рабовладельческих отношений к обострению внутренних противоречий римского общества.

* * *

Римское общество II в. до н. э. являло собой пеструю картину враждующих классов и сословий. Картина эта сложна, и, для того чтобы восстановить ее в более или менее адекватном выражении, следует, очевидно, иметь достаточно четкое представление о классовой структуре античного общества в целом.

Казалось бы, этот вопрос — во всяком случае, в советской историографии — внимательно изучен, выяснен, а потому и не требует, чтобы к нему снова и снова возвращались.

Дело обстоит, однако, не совсем так. Обычная, пожалуй, можно сказать, общепринятая и выработанная еще в начале тридцатых годов картина классовой структуры античного (и вообще древнего!) общества сводится к тому, что утверждается наличие двух основных классов — рабов и рабовладельцев. Это — наиболее распространенный и наиболее «канонический» вариант. Далеко не всегда — вплоть до самого последнего времени! — говорится о том, что следует считаться с наличием еще одного и немаловажного по своему значению класса — класса так называемых мелких производителей, в состав которого следует включать крестьян и ремесленников¹.

С учетом этого последнего соображения данную схему, видимо, можно считать приемлемой. Ее никто и не собирается опровергать, но истины ради полезно подчеркнуть, что она все же носит весьма общий характер, что она именно «схематична», а потому и не может дать во всех частных случаях достаточно полного, всестороннего представления о классовой структуре античного общества. Но если так, то вопрос требует более детального рассмотрения.

Внимательное и непредубежденное знакомство с высказываниями основоположников марксизма свидетельствует о том, что они подходили к интересующему нас вопросу не столь ригористично. Хорошо известно, например, что Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» считали патрициев и плебеев классами древнеримского общества². Энгельс в своей знаменитой работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» применительно к Афинам неоднократно говорит о «новом классе» промышленников и купцов, о купцах как о парази-

¹ См., напр., *С. Л. Утченко*. О классах и классовой структуре античного рабовладельческого общества. — ВДИ, 1951, № 4, стр. 15—21.

² См. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 4, стр. 424—425. Справедливость требует отметить, что на этих же страницах авторы пользуются понятиями «класс» и «сословие» как взаимозаменяемыми.

ческом классе и, наконец, о них же как о посредническом классе «между производителями»¹. Ленину принадлежит замечательная мысль о чрезвычайно тесном переплетении классового и сословного деления в античном (и феодальном) обществе, а также формулировка «класс-сословие». Впервые эту мысль Ленин высказал в своей ранней статье «Перлы народнического прожектерства»: «Сословия предполагают деление общества на классы, будучи одной из форм классовых различий. Говоря о классах просто, мы разумеем всегда бессословные классы капиталистического общества»². Эти положения получили дальнейшее развитие в другой работе Ленина, где он прямо говорит, что как в рабском, так и в феодальном обществе различие классов одновременно фиксировалось «и в сословном делении населения, сопровождалось установлением особого *юридического* места в государстве для каждого класса». Это рассуждение заканчивается следующими знаменательными словами: «Деление общества на классы обще и рабскому, и феодальному, и буржуазному обществам, но в первых двух существовали классы-сословия, а в последнем классы бессословные»³.

И действительно, если мы попытаемся восстановить классовую структуру, скажем эллинистического Египта или римского общества эпохи Империи, то мы столкнемся с чрезвычайно сложной картиной, с переплетением различных классов и сословий, т. е. с таким состоянием общества, которое не может быть адекватно отражено и описано с помощью двух- или трехчленной схемы.

Но к этому и не следует стремиться. Если речь идет конкретно о том или ином античном обществе, то нет никаких оснований упрощать, схематизировать или тем более «моделировать» это общество — а такие тенденции все же довольно характерны для нашей историографии тридцатых годов — по образу и подобию общества капиталистического (да еще в его «классическом» варианте). Такой четкой и ясной («упростив-

¹ См. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 21, стр. 117, 165—166, 476.

² *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 476 (примеч.).

³ *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 311 (примеч.).

шейся») картины классовых отношений, как в капиталистическом обществе, в древности не существовало, не было столь четко определившейся поляризации классов, не было и столь четкого оформления классов, как таковых. Отрицать или игнорировать все эти особенности — по существу отрицать развитие классов (и классовой борьбы) как общественной и исторической категории.

Из всего вышеизложенного вытекает вывод об определенной специфике классовой структуры античного общества. В чем же она состоит? Остановимся лишь на наиболее существенных чертах, на главных «составляющих».

Итак, прежде всего следует иметь в виду тесное переплетение классового и сословного членения: структура античного общества не «чисто» классовая, но классово-сословная структура. Действительно, четкое разграничение в ряде случаев невозможно; так, например, в ранний период римской истории патриции и плебеи суть сословия, но в то же время, как мы уже знаем, они вполне могут быть названы классами. В более поздний период патрицианско-плебейская верхушка, т. е. нобилитет, также может быть отнесена к господствующему классу римской республики, но, по римским же понятиям, нобилитет полностью (или почти полностью!) совпадает с так называемым сенаторским сословием (*ordo senatorius*). Рабы — класс, но по своим юридическим показателям они скорее подходят под понятие сословия, хотя именно их сами римляне сословием, конечно, не считали.

Когда мы говорим о классово-сословной структуре античного общества, то необходимо иметь в виду еще одну характерную особенность — неоднозначность связей между производственным показателем и правовым (юридическим) статусом. Что это значит и как это следует понимать?

В ряде античных государств существует определенная и довольно большая категория людей, обладающих формально единым правовым статусом, но в то же время занимающих совершенно разное положение в смысле их отношения к средствам производства. Не говоря уже о рабах в Риме, о чем речь будет ниже, приведем сейчас в качестве примера так называемых

царских земледельцев эллинистического Египта. Их можно считать своеобразным сословием, в юридическом смысле довольно точно определенным, однако в состав этого сословия входят не только те, кто своим трудом обрабатывает землю, но и те, кто в той или иной форме эксплуатирует труд других людей¹. Вместе с тем в античных государствах существует и такая категория населения, которая может быть объединена одинаковым отношением к средствам производства, но которая будет входить в разные сословия, обладать различными правовыми статусами. Так, например, далеко не совпадающим оказывается общественное положение в Афинах владельца той или иной мастерской и одновременно полноправного афинского гражданина и положение владельца аналогичной мастерской, но чужестранца, метека, не входящего, следовательно, в состав гражданской общины. Один — в привилегированном положении, другой — ущемлен и ограничен в своих возможностях, но в обоих случаях общественное (социальное) положение определяется именно, и в первую очередь, сословно-правовой принадлежностью (т. е. не тем, что человек владеет средствами производства, в данном случае мастерской, а тем, что он принадлежит либо к гражданам, либо к неполноправным метекам). В этом и состоит своеобразный и «неоднозначный» характер связей между производственным показателем и правовым статусом.

Другой специфической чертой классовой структуры античного общества следует считать особое положение или, точнее говоря, оформление основных его классов — рабов и рабовладельцев. Дело в том, что самые термины, самые понятия требуют, на наш взгляд, некоторого уточнения.

Рабовладельцы. Это понятие имеет широкое распространение; оно вполне приемлемо, однако следует иметь в виду его общий, собирательный и в то же время нивелирующий характер. На самом же деле господствующий класс, например эллинистического Египта, по своей социальной характеристике (составу) достаточно резко отличается от господствующего класса афин-

¹ См. К. К. Зельин. Исследования по истории земельных отношений в эллинистическом Египте II—I вв. до н. э. М., 1960, стр. 193—194, 364.

ского общества или такой класс-сословие раннего Рима, как патриции, столь же определенно отличен от господствующей верхушки римского общества II—I вв. до н. э. (нобилитет, всадничество), как эта последняя от господствующих слоев поздней Римской империи. Фактически такое уточнение почти всегда проводится; не всегда лишь подчеркивается его принципиальное значение.

Рабы. В это понятие до сравнительно недавнего времени никаких уточнений не вносилось, и в советской историографии господствовало представление о рабах как о едином и монолитном классе. Однако история рабства и развитие рабовладельческих отношений эту точку зрения отнюдь не подтверждают.

Возьмем в качестве примера Рим — общество, в котором рабовладельческие отношения получили наиболее широкое распространение. В процессе их развития можно выделить такой период, для которого наши современные понятия «класс рабов» и «сословие рабов» совпадают. Но то был ранний период римской истории, характеризуемый как раз относительной слабостью и примитивностью отношений рабства. По мере же укрепления этих отношений структура класса рабов становится более сложной, класс как таковой дифференцируется, растет все более осязаемое расхождение между сословными и классовыми признаками.

В эпоху поздней республики, т. е. во II—I вв. до н. э., положение различных категорий рабов уже далеко не одинаково. Это обстоятельство нашло свое отражение в советской историографии¹. Теперь нам ясно, что рабы, занятые в сельскохозяйственном производстве, рабы, занятые в ремесле, рабы редких или «интеллигентных» профессий, рабы — «служащие» государственного аппарата, наконец, рабы — домашняя прислуга — все это совершенно различные социальные группы, различные «уровни» общественного положения.

Отмеченная дифференциация в наименьшей степени затрагивает сельских рабов (*familia rustica*). Они в основном остаются тем классом, место которого в процессе производства и отношение к средствам производства вполне совпадают с его юридическим поло-

¹ См. *Е. М. Штаерман*. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике, стр. 155—158.

жением в обществе¹. Но зато совершенно иначе обстоит дело с familia urbana. Рабы, входящие в эту категорию, пользуются различными привилегиями. Одна из таких привилегий — вывод на пекулий. Под пекулием подразумевается тот или иной вид имущества, которое выделяется рабу для самостоятельного ведения хозяйства (хотя это имущество юридически продолжает считаться собственностью владельца раба).

В виде пекулия раб мог получить мастерскую, лавку, земельный участок, орудия труда и даже так называемых рабов-викариев. Именно таким путем возникает теперь новый слой населения — дельцы, предприниматели, торговцы, вышедшие из рабов и по мере своего обогащения часто выкупающиеся на волю. К ним примыкает рабская «интеллигенция» (педагоги, актеры, поэты) и рабы, обладающие редкими и высокоценными профессиями (например, искусные повара, ювелиры и т. п.). Само собой разумеется, что рабы, входящие в эти категории, хоть и остаются по своей сословной принадлежности рабами (или отпущенниками, либертинами), но по своему месту в процессе общественного производства относятся уже — в особенности рабы, располагающие значительным пекулием, — к классу эксплуататоров. С другой стороны, известны и такие случаи, когда рабы, становясь вольноотпущенниками, меняют лишь свою сословную, но вовсе не классовую принадлежность².

Все это свидетельствует о том, что в эпоху поздней республики в Риме уже не существует, как это обычно утверждалось многими советскими историками, единого, монолитного и недифференцированного класса рабов. Подобное обстоятельство необходимо учесть, в частности, для более правильного понимания основных тенденций и характера классовой борьбы той эпохи.

Каков же общий итог нашего анализа классовой структуры античного общества? Существование в нем различных общественных классов — факт бесспорный. Но не менее бесспорно и следующее заключение: наряду с классами и в тесном переплетении с ними существовали сословия, статусы, иерархически соподчи-

¹ См. *Е. М. Штаерман*. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике, стр. 157.

² См. там же, стр. 158.

ненные группировки, и это всегда следует иметь в виду, ибо именно в этом и состоит основная специфика всей социальной структуры античного общества. Было бы абсолютно неправильным, если бы это сословно-правовое членение общества закрывало для нас проблему классов и классовой дифференциации, но не менее неверным было бы недооценивать или попросту игнорировать все эти специфические моменты.

Указанная основная особенность влияет и не может не влиять на наше представление об отдельных классах, которые отнюдь не были «монолитными» или «чистыми» (т. е. бессословными) классами. Недоценка всей этой специфики неизбежно ведет к игнорированию развития, к антиисторизму, к ненужной и даже вредной модернизации.

Теперь, после того что сказано о классах и классовой борьбе в древности, мы можем в заключение остановиться более конкретно на классово-сословной структуре римского общества II—I вв. Будем в данном случае предельно краткими.

Прежде всего следует отметить, что господствующий класс тоже не был единым — он распадался на два привилегированных сословия. О первом из них, т. е. о сенаторском сословии (*ordo senatorius*), уже говорилось выше. К нему, как мы могли убедиться, принадлежали представители старой рабовладельческой знати, образовавшейся в результате слияния патрицианской и плебейской верхушки (*нобилитет*). Привилегией — почти символической — римских нобилей было право иметь у себя дома портретные восковые маски предков (так называемое *jus imaginum*); отличительной чертой принадлежности к сенаторскому сословию считалась так называемая *tunica laticlavia*, т. е. белая туника с широкой красной полосой.

О другом привилегированном сословии еще фактически не говорилось. Это — всадническое сословие (*ordo equester*). Если представители сенаторского сословия могли гордиться древностью и знатностью происхождения, т. е. были, так сказать, родовитой и сановой аристократией, то под «всадниками» во II—I вв. подразумевалась римская денежная аристократия. Это были люди, занимавшиеся крупными финансовыми операциями (торговля, откупа, ростовщичество и т. п.) и благодаря своему экономическому, а затем и поли-

тическому весу составившие второе привилегированное сословие. Внешним знаком отличия всадников была *tunica angusticlavia*, т. е. белая туника с узкой красной полосой.

Римский плебс — как *plebs rustica*, так и *plebs urbana* — официально единым сословием (*ordo*) самими римлянами не считался. По нашим же современным понятиям, плебеи, если говорить о производственном признаке, входили в основном в класс свободных производителей, а если иметь в виду их правовое положение, они могут быть отнесены к особой сословной группировке, достаточно многочисленной, хотя и не всегда четко выраженной. Между общественным положением городского и сельского плебса существовали, как тоже отмечалось выше, некоторые различия, а следовательно, имело место и различие интересов.

И наконец, вольноотпущенники (либертины) и рабы. Что касается рабов, то для определения их положения в обществе, пожалуй, наиболее применим термин «класс-сословие». Как уже было показано, по мере развития в Риме рабовладельческих отношений понятия «класс» и «сословие» начинают далеко не всегда совпадать. Но как бы ни менялось отношение раба к средствам производства, он все же оставался всегда рабом в смысле своего правового (точнее, бесправного!) положения, пока не был формально освобожден по воле своего господина.

Вольноотпущенник (либертин) хоть и становился римским гражданином, но в отличие от свободнорожденного пользовался урезанными правами. Так, если иметь в виду отношение либертина к его бывшему хозяину, а ныне — патрону, то здесь сохранялись определенные обязательства как нравственного, так и материального порядка. За их невыполнение отпущенник мог быть снова лишен свободы. По своему общему, довольно четко определенному юридическому положению либертины, несомненно, могли считаться одним из сословий римского общества.

Выше была вкратце упомянута рабская интеллигенция. Вопрос может быть поставлен шире. Нам кажется, что существуют достаточные основания, позволяющие говорить о формировании в Риме — несомненно, в связи с распространением эллинистической

культуры и образованности — определенной социальной прослойки, которую можно назвать своеобразной античной интеллигенцией. В эту категорию входили люди, занимавшиеся культурной или научной и педагогической деятельностью, для которых данная деятельность была основной, постоянной профессией. Это актеры, педагоги, риторы, грамматики, литераторы, врачи.

Римская «интеллигенция» отличалась двумя характерными чертами. Во-первых, она состояла, как правило, вовсе не из римлян. Перечисленные выше профессии были почти полностью монополизированы греками. Если в Греции актеры были всегда свободными и уважаемыми людьми, то в Риме считалось бесчестьем и служило цензорам достаточным основанием для порицания, когда свободнорожденный выступал на сцене. Даже такая область, как медицина, была предоставлена иностранцам, а Катон Старший вообще зачислял врачей в одну группу с отравителями. В этой связи становится понятнее и вторая характерная черта, отличавшая римскую «интеллигенцию». То была в значительной мере интеллигенция рабская. Среди представителей перечисленных выше профессий нередко попадались рабы или отпущенники. В I в. образованные рабы были необходимой принадлежностью каждой знатной римской фамилии. Известно рабское происхождение знаменитых комедиографов Теренция и Цецилия Статия или mimoграфа Публия Сира. Упоминаются помимо уже названных профессий такие должности, как писцы, чтецы, библиотекари, стенографы, ораторы, — должности, занимаемые, как правило, тоже почти всегда рабами. Слои рабской интеллигенции в Риме, особенно в последние годы существования республики, был многочислен, а вклад, внесенный ее представителями в создание римской культуры, весьма ощутим¹.

В качестве примера, подтверждающего существование в Риме интеллигенции как особой социальной прослойки, может быть упомянут знаменитый и влиятельный кружок Сципиона, в состав которого входили не только представители римской знати, но и интеллиген-

¹ См. *Е. М. Штаерман*. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике, стр. 131 слл.

ции: философ Панетий, историк Полибий (оба, как известно, греки), консул 140 г., философ и писатель Гай Лелий, вольноотпущенник, уже упоминавшийся драматург Теренций, а также родственники Сципиона братья Гракхи. За исключением этих последних, все или почти все остальные члены кружка по своим политическим позициям были весьма умеренными реформаторами. Таковы же были позиции самого Сципиона Эмилиана, который, как знаток армии и как политический деятель, не мог не понимать необходимости восстановления основной опоры и резерва этой армии — римского крестьянства. Но, будучи безусловным сторонником римского сената, принадлежа сам к высшим кругам нобилитета, он не мог отважиться на сколь-нибудь решительные действия, на революционный разрыв с традицией.

Не случайно, когда член его кружка Гай Лелий, выступив с проектом аграрного закона, встретил сопротивление нобилитета, он сам же взял законопроект обратно, за что и получил, по словам Плутарха, прозвище Мудрого¹. Отсюда же характерная для членов кружка пропаганда идеала древнего римлянина, сурового, но справедливого, врага роскоши и изнеженности. Отсюда же, наконец, и резко отрицательное отношение Сципиона к дальнейшей деятельности Гракхов.

Недаром иногда, характеризуя политическую деятельность Сципиона и его единомышленников, историки говорят о них как о «просвещенных консерваторах». И действительно, участники кружка были горячими поклонниками греческой образованности, знатоками классической литературы и философии, т. е. были «филэллинами», но только не в области политики. Здесь они выступали как истые представители римского нобилитета, сторонники существующего государственного строя, власти и авторитета сената и по существу ни о каких переустройствах, кроме нравственной реформы, не помышляли. Стоит вспомнить, что именно в Сципионовом кружке возникла попытка, осуществленная Полибием, истолковать римский государственный строй в качестве идеала и образца так называемой смешанной формы правления.

¹ *Plut., Tib.*, 8.

* * *

Для более полного представления о римском обществе II—I вв. необходимо остановиться на вопросе о государственном устройстве поздней республики. Неписанная римская конституция предусматривала, как и в любом античном полисе, наличие трех основных элементов этого устройства: народного собрания, совета старейшин (сенат) и выборных должностных лиц (магистраты). Каковы же были в Риме функции названных органов власти и в каких отношениях находились они друг к другу?

Носителем верховной власти в государстве считался римский народ (*populus Romanus*), т. е. совокупность полноправных римских граждан. Народ осуществлял свои права в собрании — комициях. В Риме, как это уже было выяснено выше, существовало три вида народных собраний. Древнейший вид — куриатные комиции (собрания патрициев) потеряли свое политическое значение еще в ранний период республики. Но они продолжали существовать, и за ними оставались такие функции, как формальное вручение высшей власти, т. е. империя, избранным магистратам и решение некоторых вопросов семейного права. Центуриатные комиции (собрания патрициев и плебеев по имущественным разрядам и по центуриям) собирались для решения вопросов о мире или о войне и для избрания высших магистратов. Третьим и наиболее демократичным видом собраний были трибутные комиции (созывавшиеся по территориальному признаку). На них происходили выборы некоторых должностных лиц, но в основном они осуществляли законодательную деятельность. Правом созывать комиции, руководить ими и вносить подлежащие решению вопросы обладали только высшие магистраты.

Огромную роль в Римской республике играл орган правящей аристократии (нобилитета) — сенат. Он фактически был высшим государственным учреждением и состоял из 300 сенаторов; в последние годы республики состав его был значительно расширен (при Сулле — 600, при Цезаре — 900 сенаторов). Сенаторы назначались цензорами из среды бывших магистратов в порядке должностной иерархии (консулы, затем преторы и т. д.). Компетенция сената была весьма обшир-

ной: утверждение избранных магистратов, заведование государственным имуществом и финансами, вопросы мира и войны, декретирование чрезвычайных полномочий, руководство внешней политикой, наблюдение за делами религиозного культа и т. п.

Носителями исполнительной власти были магистраты. Выполнение обязанностей магистрата считалось высокой честью; магистрат — лицо неприкосновенное, и, пока он исполняет свою должность, его нельзя ни сместить, ни привлечь к ответственности. Кроме того, как уже говорилось ранее, высшие магистраты обладали империем. Поэтому все магистратуры делились на высшие (консул, диктатор, претор, цензор, народный трибун) и низшие (все остальные). Кроме того, магистратуры делились на ординарные, т. е. обычные (консулы, народные трибуны, преторы, цензоры, эдилы, квесторы), и экстраординарные, т. е. чрезвычайные (диктатор, его помощник — начальник конницы, триумвиры, децемвиры).

О характере власти консулов и народных трибунов уже говорилось выше. Преторы были высшими руководителями судопроизводства в Риме (в дальнейшем наряду с консулами — правители провинций), эдилы ведали городским благоустройством (включая снабжение хлебом беднейшего населения и организацию общественных игр), квесторы имели надзор за государственной казной. Чрезвычайно своеобразной была должность цензоров. Они избирались в отличие от всех остальных магистратов раз в пять лет на 1½ года. Цензоры ведали прежде всего, как и указывает на то их название, производством всеобщей переписи, т. е. ценза. В связи с общей переписью производился пересмотр и «чистка» списка сенаторов, а также смотр всадников. Цензоры имели право надзора за нравственностью граждан, поскольку считалось, что в число сенаторов и всадников могут быть допущены лишь достойнейшие.

Что касается экстраординарных магистратур, то все они создавались на определенный срок и с определенной целью: или в случае крайней опасности государству (диктатор, начальник конницы), или для проведения тех или иных законодательных актов широкого значения (децемвиры, триумвиры).

Все римские magistratury отличались следующими особенностями: а) они были выборными и безвозмездными (неоплачиваемыми); б) краткосрочными (по истечении года магистрат слагал свои полномочия и становился частным лицом. Цензоры — и только они — избирались, как уже сказано, на 1½ года); в) коллегиальными (единственная неколлегиальная magistratura — диктатор) и, наконец, г) для всех magistratur существовала, как правило, интерцессия (если один из magistratov отдавал какое-либо распоряжение, а другой был не согласен и отменял его, то всегда действительным оставался запрет и таким образом каждый магистрат мог помешать противозаконным действиям своего коллеги. Народные же трибуны могли, как известно, наложить запрет на распоряжение не только своего коллеги, но и любого другого magistrata).

Определенным влиянием в политической жизни Рима пользовались жреческие коллегии — понтификов, фламиннов, салиев и т. п. Верховные жрецы (понтифики) избирались в комициях, остальные — в своих коллегиях или назначались понтификами.

Все перечисленные республиканские учреждения и органы власти сложились в Риме еще в тот период его развития, когда Рим можно было считать типичным полисом. И хотя такие же или аналогичные учреждения существовали и в полисах Греции, были, однако, наряду с этим некоторые характерные особенности, довольно резко отличавшие Рим от эллинистического мира, в частности от Афин.

Если в афинском государстве руководящая роль принадлежала народному собранию не только формально, но и по существу, то в Риме на всем протяжении республиканской эпохи фактически высшим органом власти и руководства был сенат. Кроме того, наличие империя у высших римских magistratov — явление, которому в эллинистической государственности едва ли можно найти аналогию — превращало их в лиц, обладавших такой властью, которая по своему характеру и объему уже не могла считаться только исполнительной. И наконец, неоплачиваемость magistratur в Риме — в отличие от афинской демократической практики — свидетельствовала наряду со всем тем, что перечислено выше, о достаточно явно выраженном аристократическом характере Римской республики.

Однако сами древние понимали этот вопрос по-иному. Причем речь идет о теоретиках-историках и философах, которые специально интересовались проблемой государства, государственного устройства. Ими высказывались различные точки зрения, но наибольшей, пожалуй, популярностью пользовалась теория, согласно которой существовали три основные формы государственного устройства: монархия, аристократия и демократия. Какая из этих форм предпочтительнее, сказать трудно, ибо каждая имеет свои положительные стороны и свои недостатки. Но есть у этих трех форм и один общий недостаток — их неустойчивость. Исторический опыт учит, что любая из этих простых форм почти неизбежно вырождается, превращаясь в форму извращенную. Монархия вырождается в тиранию, аристократия — в олигархию, демократия — в охлократию, т. е. господство черни, толпы.

Но если это вырождение неотвратимо, то в чем же выход? В качестве ответа на данный вопрос греческой философской мыслью было разработано учение о «смешанной форме» государственного устройства, т. е. такой форме, которая объединяет все положительные стороны трех основных, неизвращенных форм. Это, несомненно, наилучшая форма правления, ибо помимо прочих достоинств она обладает и наибольшей устойчивостью.

Учение о лучшей форме правления (или государственного устройства) разрабатывалось еще предшественниками Аристотеля; сам он также положительно относился к этой теории. И Аристотель и его предшественники среди окружающих государств искали примеры, подтверждающие их теоретические рассуждения. К числу таких государств сам Аристотель относил Спарту (Лакедемон), Крит, Карфаген. Законодательство Солона в Афинах он тоже считал не чуждым принципа смешанного устройства¹.

Однако первым, кто применил это учение к государственному строю Рима, был знаменитый греческий историк Полибий, автор «Всеобщей истории». Он прожил в Риме много лет (сначала в качестве заложника), был принят в высшем римском обществе, в частности в кружке Сципиона Эмилиана, а затем даже не раз

¹ *Arist., Polit.*, 2, 3; 7—9.

играл роль посредника между Римом и покоренной Грецией.

Полибий не только выдающийся историк, но и серьезный, оригинальный мыслитель. Он считался родоначальником прагматизма в истории, причем под прагматическим методом сам Полибий понимал изложение исторических фактов и событий в их причинной связи. Его философские воззрения основывались на учении о круговороте явлений, т. е. на своеобразной теории циклизма. Любое явление — от отдельного человека до государства, — по мнению Полибия, развивается в соответствии с «порядком природы», причем в процессе развития проходит всегда одни и те же этапы: зарождения, зрелости (или расцвета) и упадка. Если речь идет о государстве, то формы правления тоже возникают, развиваются и наконец неизбежно вырождаются. Затем начинается новый цикл. Наиболее устойчива, однако, смешанная форма правления, ибо она объединяет в себе элементы всех простых форм, т. е. элементы монархии, аристократии и демократии.

Полибий, живя в Риме и принимая участие в походах Сципиона, превратился в восторженного почитателя Рима и его государственной системы. Свой труд жизни, свою «Всеобщую историю» он написал с целью объяснить, как и почему все известные части обитаемой земли подпали в течение 53 лет под власть римлян, как и почему «все события мира судьба склонила в одну сторону»?

У Полибия есть готовый ответ на этот вопрос. Все успехи, все победы и достижения римлян объясняются в первую очередь тем, что у них существует наилучшая форма правления — смешанное государственное устройство. Полибий конкретизирует этот свой тезис: в Риме монархический элемент воплощен в консулах, аристократический — в сенате и, наконец, демократический — в народных собраниях. Причем распределение «властей» произведено настолько умело и равномерно, что никто не может указать, какая же из «властей» преобладает и определяет форму правления в совокупности¹. Коротче говоря, именно в римском

¹ Polyb., 6, 11—14.

государстве и воплощен идеал смешанной формы правления.

Таковы взгляды и основные выводы Полибия. Но если мы сейчас говорим о римском государственном устройстве, то не следует забывать, что уже в III в. до н. э. Рим был не просто отдельным полисом, но главой всех италийских городов, господином завоеванной и покоренной им Италии. Поэтому необходимо рассмотреть — хотя бы в самом общем виде — систему управления италийскими городами и общинами.

Обычно считают, что названная система была основана на знаменитом лозунге «разделяй и властвуй» (*divide et impera*). Однако в западноевропейской литературе последних десятилетий встречается отрицание этого положения и доказывается, что Рим, подчиняя себе италийские города и общины, никогда не разбивал исторически сложившихся образований ради того, чтобы вводить централизованную систему управления¹.

С подобной точкой зрения едва ли можно согласиться. Конечно, не следует считать лозунг «разделяй и властвуй» искони сознательно сформулированным принципом римской «колониальной политики». Но тем не менее он был заложен в самой ее основе, поскольку на данный принцип опиралась вся система клиентских отношений, которая в свою очередь была основой и прототипом взаимоотношений Рима с подчиненными общинами.

Общая картина этих взаимоотношений, а также их государственно-правовое оформление свидетельствуют о чрезвычайном разнообразии степеней и градаций. Так, например, существовали колонии римских граждан, которые обычно основывались на той части территории покоренных общин, которую римляне превращали в *ager publicus*. Выводимые сюда колонисты продолжали оставаться римскими гражданами и потому обладали полной правоспособностью. Иной характер имели так называемые латинские колонии, которые сначала выводились городами Латинского

¹ См., напр., *F. Vittinghoff. Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Mainz — Wiesbaden, 1951, N 14, S. 8—9.*

союза, а после его ликвидации — только Римом. Жители этих колоний имели урезанные права и занимали как бы среднее положение между римскими гражданами и чужестранцами (перегринами), которые, конечно, вовсе не имели гражданских прав.

Одной из наиболее распространенных форм, в которой осуществлялись государственно-правовые отношения между Римом и зависимыми от него общинами, была форма муниципия. Муниципии имели внутреннее самоуправление (народное собрание, совет, магистраты), но зато жители муниципиев не обладали правом голоса в римских комициях и не могли быть избраны на римские государственные должности. В дальнейшем, однако, возникает практика дарования римских прав отдельным муниципиям.

И наконец, существовали италийские общины, отношения которых к Риму определялись различными типами договоров (*civitates foederatae*). Общим для всех этих *civitates* было то положение, что они имели внутреннюю автономию, собственные органы управления и суды, право чеканки монеты; что же касается жителей этих общин, то они римскими гражданскими правами не обладали, считались союзниками и, не имея также права служить в римских легионах, тем не менее, как уже упоминалось, были обязаны поставлять определенные контингенты во вспомогательные войска Рима («налог кровью»!).

Таковы многообразные градации и различия во взаимоотношениях между Римом и италийскими общинами. Как нетрудно убедиться, все они в какой-то мере основаны на одном и том же принципе: на большей или меньшей полноте пользования римскими гражданскими правами. В этой связи следовало бы несколько детальнее раскрыть и конкретизировать само понятие римского гражданства.

Система гражданских прав — один из главных устоев античного полиса. Всякий полис знал различные градации прав, население всякого полиса состояло из полноправных, неполноправных и бесправных. Обычно существовали внутренние градации даже среди полноправных граждан: почти во всех полисах проводилось различие между гражданами по рождению и гражданами по дарованию. Все эти различия и ограничения вовсе не случайны — в них проявляют-

ся наиболее характерные черты полисной организации, поскольку полис по самой своей природе был всегда замкнутой и эксклюзивной общиной.

Все сказанное вполне применимо и к Риму (на определенной стадии его исторического развития, т. е. к Риму-полису). Не говоря уже о том, что в Риме, конечно, всегда существовали неполноправные и полностью бесправные слои населения, самая система римского гражданства (а следовательно, все связанные с нею права и привилегии) была чрезвычайно сложной. В Риме также существовали граждане по рождению (*cives nati*) и граждане по дарованию (*cives facti*). К этим последним должны быть отнесены как отдельные лица, так и целые общины (например, италийские города, а в дальнейшем — целые провинции!), получавшие права римского гражданства по решению комиций или через посредство магистратов (в дальнейшем — императоров!). Кроме того, к *cives facti* следует относить и либертинов, если только отпуск на волю (манумиссия) был проведен с соблюдением всех формальных требований.

Параллельно с указанным членением существовала еще одна внутренняя градация римского гражданства. Речь идет о гражданах полного или «высшего» права (*cives optimo iure*) и гражданах уменьшенного, урезанного права (*cives minuto iure*). К последним, как правило, принадлежали граждане по дарованию, а полным «набором» прав и привилегий обладали лишь граждане по рождению. Каков же был этот «набор»?

Полная правоспособность римского гражданина определялась у римлян термином *caput*, т. е. «сумма» или «глава». *Caput* складывался из трех элементов: статус свободы, статус гражданства и статус семьи (фамилии). Личная свобода была, конечно, главной и безусловной предпосылкой римского гражданства. Самый статус гражданства предусматривал прежде всего политическую правоспособность, т. е. обладание как активным, так и пассивным избирательным правом, а затем имущественную и семейную гражданскую правоспособность (например, право приобретать собственность и т. п.). Что касается статуса фамилии, то здесь имелось в виду регулирование внутрисемейных отношений (между *pater familias*, т. е. домовладыкой, и другими членами семьи).

Следует еще раз подчеркнуть, что приведенная характеристика римского гражданства приложима в полной мере лишь к Риму-полису. В дальнейшем, по мере прогрессирующего разложения полисной организации, происходит все большее нарушение принципов замкнутости и исключительности, поскольку они уже не соответствуют новым условиям и новым запросам огромной средиземноморской державы. Вполне естественно, что в дальнейшем римское гражданство распространяется вширь, причем переступает границы самой Италии.

И наконец, вопрос об управлении внеиталийскими покоренными территориями, т. е. провинциями. Без освещения этого вопроса представление о римском государственном устройстве тоже не может быть полным. В середине II в. до н. э., т. е. после окончания борьбы Рима за господство в Средиземноморье, в состав римской державы вошло девять провинций: шесть на Западе — Сицилия, Сардиния, Корсика, Цизальпийская Галлия, Испания, «Африка» и три на Востоке — Иллирия, Македония, Азия.

Государственный аппарат Римской республики был совершенно неприспособлен к управлению и к рациональной эксплуатации огромных заморских территорий. Поэтому провинциальная система управления складывалась стихийно: каждый новый наместник, вступая в должность, издавал эдикт, в котором определялось, какими принципами он собирается руководствоваться. Наместники провинций (обычно бывшие консулы, или преторы, по окончании срока их полномочий в Риме) назначались на год, обладали полнотой военной, гражданской и судебной власти и фактически совершенно бесконтрольно распоряжались в провинциях. Жаловаться на их злоупотребления жители провинций могли лишь после того, как наместник сдавал дела своему преемнику, но такие жалобы редко имели успех.

Почти все провинциальные общины облагались прямыми, а иногда и косвенными налогами. Кроме выплаты налогов население провинций было обязано содержать римских наместников, их штат и свиту, а также римские войска, расквартированные в данной провинции. Особенно разорительной для провинциалов была деятельность римских публиканов, которые бра-

ли на откуп сбор налогов, внося в римскую казну заранее оговоренные суммы, затем выколачивали их у местного населения с огромными излишками. Хищническая деятельность публиканов, ростовщиков и некоторых наместников разоряла целые страны, а жителей их низводила до положения рабов (поскольку продажа в рабство за долги, давно запрещенная в самом Риме, в провинциях практиковалась достаточно широко).

У римлян долгое время существовало сугубо потребительское отношение к провинциям. Они рассматривались как «поместья римского народа», как его достояние, а иногда даже просто как военная добыча. Потому-то эксплуатация провинций и их богатств была по существу отдана на откуп наместникам. Однако такой характер эксплуатации был крайне нерациональным и нерентабельным даже с точки зрения самих господствующих классов. Об этом свидетельствует ряд фактов, в частности знаменитый процесс против наместника Сицилии Верреса. Но об этом речь пойдет ниже.

Таково было государственное устройство Рима в эпоху превращения его в мировую державу. Даже на основании изложенного выше весьма краткого обзора нетрудно прийти к выводу о том, что едва ли это устройство можно считать столь идеальным, как то представлялось Полибию. Консервативность республиканского аппарата, его несоответствие новым условиям впервые дали знать о себе при попытке разрешить проблему управления завоеванной Италией. Римляне еще не считали в то время нужным или еще не смогли создать единого централизованного государства, ограничившись организацией довольно пестрой федерации италийских городов и общин.

Несомненно, самым ярким примером устарелости республиканского аппарата и его непригодности к новым, более сложным задачам и обстановке можно считать только что обрисованную систему управления провинциями. Однако эта проблема приобрела первостепенную важность — задача дальнейшего укрепления (и расширения) Римской империи не могла быть удовлетворительно решена, пока провинции не были органически включены в состав державы,

пока они из «поместий римского народа» не превратились в равноправные и составные части государства.

Что же касается основных звеньев старореспубликанского государственного аппарата — сенат, комиции, магистраты, — то они продолжали на первый взгляд функционировать в полную силу. Однако уже надвигалось то время, когда неизбежно должно было проявиться разложение органов полисной демократии, выхолащивание их республиканского содержания. Все эти процессы протекали достаточно бурно и противоречиво, осложняясь обострением классовых противоречий и политической борьбы. Но как бы то ни было, когда встает вопрос о кризисе республики, то факт разложения государственного аппарата следует признать если не единственным, то во всяком случае одним из самых первых и вместе с тем одним из самых ярких показателей этого кризиса.

Кризис Римской республики

3 Последняя треть II в. до н. э. открывает эру крупнейших социальных переворотов и потрясений. Мы не собираемся в данном случае, как, впрочем, и раньше, подробно излагать события римской истории II— I вв. — они достаточно хорошо известны, — однако некоторые общие оценки и выводы необходимы.

Начнем, действительно, с самого общего соображения. С нашей точки зрения, есть все основания говорить о наличии двух самостоятельных, не перекрещивающихся друг с другом линий борьбы, развернувшейся в эти годы: крестьянской (аграрной) и рабской.

Что касается крестьянско-аграрной линии борьбы, то здесь, конечно, речь должна идти прежде всего о движении Гракхов. Как известно, происходивший из знатного и старинного плебейского рода родственник Сципиона Эмилиана Тиберий Семпроний Гракх, избранный в 133 г. народным трибуном, выступил с проектом аграрной реформы.

На первый взгляд законопроект Тиберия Гракха не вносил ничего нового. Он повторял один из пунктов, видимо, уже забытого законодательства Лициния — Секстия¹, а именно тот пункт, который устанавливал предельную норму оккупаций из фонда *ager publicus* в 500 югеров. Однако Тиберий Гракх предложил некоторые дополнения к этому основному пункту. Во-первых, норма владения общественной землей удваивалась для тех семей, где имелось двое взрослых сыновей. Во-вторых, земельные излишки, образовавшиеся

¹ См. выше, стр. 35.

в результате проведения реформы, конфисковывались и распределялись между безземельными гражданами. Эти участки не подлежали отчуждению. И наконец, в-третьих, создавалась особая комиссия — в нее в дальнейшем вошли сам Тиберий Гракх, его брат Гай и его тесть Аппий Клавдий, — которая обладала чрезвычайными полномочиями, т. е. имела неограниченное право проводить конфискацию земельных излишков, делить их на участки, распределять между безземельными гражданами и т. п.

Реформа вызвала ожесточенное сопротивление крупных землевладельцев, которые давно уже рассматривали заимствованные из фонда *ager publicus* земли как свою собственность. Таким образом, большинство сената ополчилось против Тиберия Гракха. Положение осложнилось тем, что один из коллег Тиберия по трибунату, Марк Октавий, наложил veto на его законопроект.

Борьба Тиберия против Октавия, т. е. по существу против трибунской интерцессии, решительные действия комиссии, попытка Тиберия остаться на своем посту и на следующий год и новое выдвижение своей кандидатуры — все это настолько накалило атмосферу, что во время одного из бурных народных собраний произошло вооруженное столкновение между сторонниками и противниками Гракха. В этом столкновении погибло более трехсот человек, в том числе и сам Тиберий. Фактически это был первый пример гражданской войны на улицах Рима.

Продолжателем дела Тиберия стал его младший брат Гай Гракх, избранный народным трибуном ровно через десять лет после гибели брата (123 г.). Он возобновил деятельность аграрной комиссии, но, учитывая опыт борьбы с сенатом, решил создать себе более широкую социальную опору. Гай Гракх провел судебный закон, согласно которому суды, находившиеся до сих пор в руках сенаторского сословия и в значительной мере потерявшие свой престиж из-за царившего в них взяточничества, были переданы в руки всадников. Этот акт укреплял общественные и политические позиции всаднического сословия и вместе с тем превращал его в надежную опору реформатора. Кроме того, Гай Гракх рядом мероприятий — снижением цен на хлеб, выведением колоний, строительством дорог — старался

привлечь на свою сторону городской плебс вплоть до самых низших, люмпен-пролетарских слоев населения.

Популярность Гая Гракха была очень велика, и ему удалось добиться того, что оказалось невозможным для старшего брата, — быть вторично избранным на должность народного трибуна. Одно время в его руках сосредоточилась почти диктаторская власть: он был народным трибуном, главой аграрной комиссии, организатором новых колоний.

Однако и Гай Гракх потерпел поражение. Дело снова дошло до вооруженной борьбы на площадях и улицах Рима. Сторонники Гракха заняли Авентинский холм. Консул Опимий, облеченный по решению сената чрезвычайными полномочиями, двинул против них большой отряд пехотинцев и критских лучников. Произошло сражение, гракханцы были разбиты, а сам Гай Гракх, не желая попасть живым в руки врагов, приказал своему рабу убить его. По некоторым сведениям, в результате жестокой расправы над гракханцами на сей раз погибло до трех тысяч человек.

Движение Гракхов неоднократно рассматривалось в научной литературе, причем общие его оценки, как правило, не противоречат, а скорее дополняют друг друга. Так, еще Моммзен отмечал бесспорную юридическую правомерность аграрного закона Тиберия Гракха по форме и превращение его в экспроприацию крупного землевладения по существу. Методы борьбы за проведение закона в жизнь Моммзен считал революционными, ибо Тиберий выступил против большинства сената, а решение вопроса об *ager publicus* передал на усмотрение народа. Кроме того, Тиберий осмелился не посчитаться с трибунской интерцессией¹.

Однако революционные методы Тиберия были, по мнению Моммзена, явлением вынужденным, на подобные действия его толкнула железная логика борьбы. Субъективно же Тиберий — типичный консерватор. «Он обращался к черни, — писал Моммзен, — в наивной уверенности, что обращается к народу, и протягивал руку к короне, сам того не сознавая, пока неутомимая логика событий не увлекла его на путь

¹ См. Т. Моммзен. История Рима, т. II. М., 1937, стр. 91—93.

демагогии и тирании... В конце концов демоны революции, которых он сам призвал, овладели неумелым закликателем и растерзали его»¹.

Совсем иначе оценивалась Моммзенем личность и деятельность Гая Гракха. В его глазах это — вождь демократической партии, совершенно сознательно вступивший «на путь революции и мести»². Все его реформы, все его мероприятия преследовали две основные и главные цели: привлечение в революционную партию столичного пролетариата и затем внесение раскола в среду аристократии, в сенатские круги. Именно под этим углом зрения рассматривалось, например, стремление Гая Гракха привлечь на свою сторону всадничество, т. е. как попытка создания некоего «антисената»³.

И наконец, значительное место в оценке Моммзена занимал вопрос о монархических тенденциях младшего Гракха. Моммзен считал, что Гай имел обширный и тщательно продуманный план реформ, в результате которых сенатская система правления должна была уступить место монархической, и Гай якобы стремился взамен республиканского строя установить «наполеоновскую абсолютную монархию»⁴. Причиной же гибели Гая Гракха Моммзен считал полную ненадежность его основной опоры — римского пролетариата, который не поддержал своего вождя в решающий момент⁵.

Эдуард Мейер в специальном исследовании, посвященном движению Гракхов, почти полностью присоединялся к оценкам Моммзена. Он также подчеркивал консерватизм Тиберия, говорил о вынужденно-революционном пути, о политической организации «партии капиталистов» как средстве создать противовес аристократии и сенату. Гай Гракх, с его точки зрения, узурпировал монархические привилегии и пытался установить абсолютную власть народного вождя: «...на место аристократии поставить демократию, т. е. господство партии капиталистов и городской

¹ См. *Т. Моммзен. История Рима*, т. II, стр. 95.

² См. там же, стр. 103.

³ См. там же, стр. 107—110.

⁴ См. там же, стр. 113.

⁵ См. там же, стр. 117.

черни, а на место сената — правление ежегодно избираемых трибунов»¹.

Интересна оценка движения Гракхов в известной работе Р. Ю. Виппера «Очерки истории римской империи». Хотя в этой работе движение Гракхов рассматривается как частная проблема, тем не менее автор излагает ценные наблюдения и мысли об историческом значении движения².

Пожалуй, наибольший интерес представляют сообщения Р. Ю. Виппера о социальном составе и характере «демократической оппозиции». Он отмечает единство этой оппозиции на первых этапах борьбы, затем раскол и расхождение отдельных ее групп между собой. Тиберий Гракх имел обширную программу демократических реформ, его проекты и начинания касались всех групп оппозиции, но в этом-то, видимо, и состояла его слабость, ибо оппозиция оказалась плохо слаженной и внутренне противоречивой³.

Наиболее четкое разграничение двух противоположных групп оппозиции происходит уже во время Гая Гракха и не столько в связи с аграрной реформой, сколько с связью с проектом распространения римского гражданства на союзников. В противовес общепринятому взгляду на городской плебс как главного врага этой реформы Виппер считает, что она вызвала наиболее ожесточенное сопротивление представителей «финансового капитала», т. е. всадников, приобретших к этому времени важное политическое значение⁴.

Названные обстоятельства и привели к серьезному расколу в рядах «демократической оппозиции». Фактически в этот период существовали три партии: нобилитета, реставраторов крестьянства и сторонников «капиталистического хозяйства» (т. е. всадническая). Последние две представляли собой не что иное, как два крыла демократии («демократической оппозиции»),

¹ *Ed. Meyer*. Kleine Schriften. Halle, 1910, «Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen», S. 381—441.

² См. *P. Vannier*. Очерки истории римской империи. М., 1908 (изд. 2, стереотипное — Берлин, 1923). Цитируется везде по первому изданию.

³ См. там же, стр. 54.

⁴ См. там же, стр. 62—64.

но явно враждебные друг другу. Их вражда и была основной причиной гибели дела Гая Гракха¹.

Интересно также отметить наблюдение Р. Ю. Випера относительно влияния опыта социально-политической борьбы в эллинистическом мире и греческой идеологии на отправные идеи реформаторской деятельности Гракхов. Истинными родоначальниками аграрной реформы следовало считать учителей Тиберия — ритора Диофана (Митилена) и философа-эпикурейца Блосия (Кумы). На проекте создания неотчуждаемых земельных участков особенно ярко прослеживается эта связь римской политической практики с греческой идеологией².

М. И. Ростовцев, оценивая итоги гракханского движения, подчеркивал, что оно вызывало самые противоречивые и крайние суждения уже у современников. Гракхов рассматривали либо как героев, либо как преступников. Умеренное, непредубежденное суждение было невозможным: слишком сложной и напряженной представляется политическая обстановка того времени³.

Однако задача современных историков, по мнению М. И. Ростовцева, отнюдь не легче. Современность полна тех же противоречий и тех же сложных проблем, что и в эпоху Гракхов. Поэтому и сейчас не может быть единодушных оценок или выводов. Конечно, Гракхи были воодушевлены благородными стремлениями, но по существу они — утописты. Даже полная реализация их программы не могла бы радикально изменить существующие условия, существующий строй, ибо установить в Риме демократическое правление по греческому образцу было «либо мечтой, либо фарсом» и наделение каждого пролетария земельным участком не могло возродить «крестьянского государства» былых времен⁴.

Движение Гракхов неоднократно подвергалось оценке и советских историков, хотя главным образом в трудах общего характера. К сожалению, приходится отметить, что в советскую историографию 30-х годов

¹ См. *P. Bunner*. Очерки истории римской империи, стр. 66—68.

² См. там же, стр. 55—56.

³ *M. Rostovtzeff*. Rome. Oxford University Press, 1970, p. 104.

⁴ *Ibidem*.

была некритически перенесена весьма распространенная в западноевропейской историографии (в конце XIX в.) точка зрения, согласно которой в ходе гракханского движения (или как его результат!) в Риме формируются политические группы или «партии». Это оптиматы и популяры, т. е. соответственно партия аристократов (нобилитета) и народная партия. Таким образом, невольно возникало представление о якобы уже существовавшей в те времена «двухпартийной системе».

Вопроса о существовании политических партий в Риме мы еще коснемся в дальнейшем, сейчас же следует отметить, что движение римского крестьянства, известное в истории под именем движения Гракхов, было вызвано к жизни закономерным развитием классовой борьбы, борьбы «мелкого землевладения с крупным». Резюмируя оценку этого движения в советской историографии, мы можем подчеркнуть следующие его характерные черты: смелое, революционное выступление против консервативных традиций, против неписаной римской конституции, провозглашение суверенных прав народа (в некоторой степени под влиянием греческой идеологии) и, наконец, стремление найти себе опору в антисенатских кругах (сельский и городской плебс, всадничество)¹.

Следующим принципиально важным моментом римской истории I в. до н. э. мы считаем так называемую военную реформу Мария. Она имела огромное значение не только для дальнейших судеб римской армии, но и для всей республики и была проведена, если принимать традиционную датировку, в ходе Югуртинской войны (111—105 гг.) или вскоре после нее.

О войне Рима с нумидийским царем Югуртой мы осведомлены довольно подробно, поскольку ее описанию посвящена специальная монография римского историка Саллюстия. Эта война — позорная страница в истории Римской республики. Долгое время военные действия развертывались для римлян неудачно и только по одной причине: Югурта открыто и беззащит-

¹ Обо всем этом более подробно см.: С. Л. Утченко. Идеино-политическая борьба в Риме накануне падения республики. М., 1952, стр. 28—42.

чиво подкупал сенаторов, магистратов, военачальников вплоть до центурионов, а иногда даже целые войсковые подразделения.

Разложившаяся сенатская олигархия полностью скомпрометировала себя в ходе этой войны, и в конечном счете командование римской армией, под давлением народного собрания, было вручено Гаю Марию, кандидату демократических кругов, недавно избранному консулом, на что он, по выражению Саллюстия, «имел все права, кроме древности рода»¹. И действительно, Марий был человеком незнатного происхождения, к тому же не римлянином по рождению — он родился в небольшом италийском городе Арпине — т. е. принадлежал к тем, кого в Риме называли *homines novi* — выскочками.

Марий в дальнейшем прославился как один из наиболее выдающихся римских полководцев. Он не только победоносно закончил затянувшуюся войну с Югуртой, но и отразил крайне опасное для римлян вторжение в Италию племен кимвров и тевтонов (кельтско-германские племена). Именно Марию и приписывается проведение знаменитой военной реформы.

Она состояла как бы из двух «частей»: тактической, т. е. чисто военной, и социально-политической. Нас интересует в данном случае эта вторая «часть» реформы, которая заключалась в том, что в армию теперь начали принимать людей, стоящих вне имущественных классов, т. е. пролетариев. Кроме того, был открыт доступ в армию добровольцам. Что касается военно-тактической стороны реформы, то Марий, видимо, усовершенствовал манипулярный строй армии (введение когорты) и ее техническое оснащение.

В современной научной литературе господствует точка зрения, согласно которой реформу Мария едва ли правомерно рассматривать как единичный акт, к тому же осуществленный каким-то одним реформатором. И действительно, у нас имеются сведения о неоднократных снижениях ценза в связи с набором в армию, о вербовке — во всяком случае спорадически — неимущего населения, о приеме в армию добровольцев, в первую очередь из отслуживших свой срок ветеранов. Таким образом, мероприятия, намеченные и

¹ *Sall.*, Jug., 63.

проведенные Марием, очевидно, лишь довели до логического конца процесс, развивавшийся долгие годы¹.

Но как бы то ни было, прием в армию неимущих и добровольцев имел огромное значение. В армии оказывались теперь люди, для которых военная служба становилась главным и единственным занятием, т. е. профессией. Крестьянская милиция, созывавшаяся фактически от случая к случаю, заменялась теперь постоянной и профессиональной армией. Изменился и социальный состав армии: если она еще во второй половине II в. комплектовалась в основном из зажиточного крестьянства, то в послемарианское время армия в значительной мере «пролетаризуется». Этот факт — общеизвестен².

Итак, армия превращалась в самостоятельную социальную силу, в своеобразную корпорацию со своими особыми интересами, нуждами, требованиями. В этих условиях становилась чрезвычайно важной роль военного вождя. Опытный и авторитетный вождь мог использовать армию в качестве послушного орудия, которое легко было применить не только для защиты государства и его интересов, но и для установления своего собственного господства над ним. Развернувшиеся в недалеком будущем события показали полную возможность реализации подобных устремлений.

В 90 г. до н. э. вспыхнуло грандиозное восстание италийского крестьянства — так называемая Союзническая война. Непосредственным поводом, приведшим к восстанию, был вопрос, поднятый впервые еще Гракхами, — вопрос о распространении прав римского гражданства на «союзников», т. е. на основную массу италийского населения. В 91 г. с возобновлением этого предложения выступил один из последних «великих трибунов» — Марк Ливий Друз. Ему удалось провести в народном собрании свой законопроект, но через несколько дней после этого Друз был заколот кинжалом на пороге собственного дома. Убийца так и не был найден.

¹ *Liv.*, 1, 43, 8; 4, 59, 11; 31, 8, 6; *Diod.*, 14, 16, 5; ср. *Polyb.*, 6, 19.

² *R. E. Smith. Service in Post-Marian Roman Army*, p. 10; *С. Л. Урченко. Кризис и падение Римской республики*, стр. 174—179.

Смерть Друза послужила сигналом к восстанию италиков, к Союзнической войне (90—88 гг.). Восстала фактически вся Средняя и Южная Италия. Основные области Северной Италии — Этрурия, Умбрия, Цизальпийская Галлия — сохранили верность Риму. Главным требованием восставших был вопрос о гражданских правах.

Союзники создали свою собственную государственную организацию. Центром стал город Корфиний, где функционировало народное собрание, сенат из 500 членов, выборные магистраты (2 консула и 12 преторов). Союзники даже начали чеканить собственные деньги: на монетах символически был изображен италийский бык, попирающий римскую волчицу.

Хотя военные действия продолжались всего лишь немногим более трех лет, они отличались крайней жесточенностью. Римляне оказались в чрезвычайно сложном и тяжелом положении: им фактически впервые пришлось воевать против собственной армии. Союзники, неся службу в римских вспомогательных частях, прекрасно владели всеми приемами и особенностями римской военной тактики. И хотя римляне бросили против восставших свои основные силы и своих лучших полководцев, добиться победы чисто военными средствами им не удалось, пока они не пошли на политические уступки.

В конце 90 г. в Риме был проведен закон, согласно которому союзники, не принявшие участия в восстании, получали права римского гражданства. Но этого оказалось недостаточно. В следующем 89 г. был принят еще один закон, обещавший права гражданства тем из союзников, кто в течение двух месяцев сложит оружие. Эти уступки сыграли свою роль: они внесли раскол в среду восставших, и римлянам в конечном счете удалось подавить восстание.

Однако значение Союзнической войны чрезвычайно велико. Есть все основания рассматривать ее как кульминационный пункт той аграрной революции, которая началась в эпоху Гракхов и в своем дальнейшем развитии захватила не только римское, но и италийское крестьянство. Это была борьба против крупного землевладения, борьба за землю и политические права. По существу это — та же самая борьба, которую вели

некогда римские плебеи против патрициев, но теперь она повторялась в новой обстановке, на новой и расширенной основе, т. е. в общеиталийском масштабе.

Непосредственные итоги Союзнической войны тоже весьма знаменательны. Во-первых, победа Рима была чисто внешней, формальной. В ходе войны союзники сумели добиться того, в чем им было сначала отказано и из-за чего вспыхнуло само восстание. Италийское население приобрело римские права, а следовательно, и право голоса в комициях. И хотя в дальнейшем римские власти всячески стремились урезать данное право — например, приписывая новых граждан только в 8 трибам из 35! — но все же в принципе это было крупное достижение. Затем италийское крестьянство — теперь уже как полноправные римские граждане — получило доступ к *ager publicus*. И наконец, речь может идти о более глубоких результатах италийской революции, связанных с расшатыванием полисной организации, с подрывом исключительного и безусловного до сих пор положения Рима как полиса¹. Но об этом будет сказано ниже.

Последнее крупное событие римской истории начала I в. до н. э., которое также имеет определенное отношение к крестьянско-аграрной линии борьбы (хотя и выходит довольно далеко за ее пределы!), это — гражданская война между сулланцами и марианцами и диктатура Суллы.

Сами древние авторы считали, что вражда между Суллой и Марием была сначала основана на почве чисто личного соперничества, но затем переросла в явление государственного масштаба. Плутарх писал: «Эта вражда, столь незначительная и по-детски мелочная в своих истоках, но затем, через кровавые усобицы и жесточайшие смуты приведшая к тирании и полному расстройству дел в государстве, показывает, сколь мудрым и сведущим в общественных недугах человеком был Еврипид, который советовал остерегаться честолюбия, как демона, самого злого и пагубного для тех, кто им одержим»².

¹ См. С. Л. Утченко. Кризис и падение Римской республики, стр. 29—30, 178—179, 207—209.

² *Plut., Sulla*, 4.

Соперничество возникло еще тогда, когда Сулла, будучи квестором Мария, захватил в плен Югурту, а затем во время Союзнической войны своими удачными действиями совершенно затмил славу стареющего полководца. В 89 г. Сулла был избран консулом и ему было поручено ведение войны против понтийского царя Митридата.

Митридат VI Евпатор сделал попытку, как в свое время Антиох, уничтожить не только римское господство, но и римское влияние в странах эллинистического Востока. Для этого он выбрал такой момент, когда римские военные силы были прикованы к самой Италии, т. е. пока еще шла Союзническая война. Завладев Вифинией, он вторгся на территорию римской провинции «Азия», где был восторженно встречен местным населением. По его приказу во всех городах и селениях Малой Азии были в один и тот же день перебиты все живущие там римские граждане. По некоторым данным, в этот день погибло 150 тыс. римлян.

Из Малой Азии Митридат, окрыленный своими победами, направил войска на Балканский полуостров. Положение становилось критическим. Римляне оказались перед реальной угрозой быть вытесненными из восточной части Средиземноморья. Для сенатских кругов это означало крах всей восточной политики, для всадничества, т. е. купцов, финансистов, публиканов, — угрозу полного разорения. Вопрос о войне с Митридатом приобрел первостепенное значение.

На фоне этих событий соперничество между Марием и Суллой выступило в совершенно новом и неожиданном аспекте. Оба они оказались претендентами на пост главнокомандующего в предстоящей войне: Сулла — от сенатских кругов, Марий — от всадничества. Дальнейшие перипетии борьбы были сложными и даже трагичными: Сулла с уже на вербованным им войском находился в Кампании (около города Нола), когда туда прибыли два военных трибуна и потребовали, чтобы он в соответствии с решением народного собрания передал командование Марию. На солдатской сходке, где Сулла выступил с речью перед солдатами, военные трибуны были побиты камнями, а войско потребовало от Суллы вести его на Рим.

Впервые в своей истории Рим был взят римскими же войсками. Марий и его приверженцы бежали. Сулла, захватив власть и расправившись со своими политическими противниками, осуществил некоторые реформы, суть которых сводилась к ограничению роли народного собрания и трибуната. Однако все эти меры носили довольно поспешный и даже поверхностный характер: Сулла стремился возможно скорее оплатить главный вексель, выданный им своим солдатам, — повести их в нетрудный и в то же время сулящий богатую военную добычу поход против Митридата.

Сулла и его войско пробыли на Востоке в общей сложности четыре с половиной года. За это время были взяты приступом Афины, одержаны две крупные победы над силами Митридата (при Херонее и Орхомеоне), в результате чего территория Греции была полностью очищена от войск противника и военные действия перенесены в Малую Азию. Митридату не оставалось ничего другого, как просить о мире. Состоялась встреча обоих полководцев. Сулла держал себя по отношению к понтийскому царю весьма высокомерно, но вместе с тем пошел на сравнительно мягкие и компромиссные условия мира. Такая уступчивость объяснялась лишь одним: Сулла торопился вернуться в Рим, где за время его отсутствия многое изменилось.

Дело в том, что в Риме произошел марианский переворот. Во главе его стоял консул Луций Корнелий Цинна, а затем к нему присоединился вернувшийся в Италию Марий. Переворот ознаменовался жестокой расправой и разграблением имущества сулланцев. Затем состоялись выборы консулов на 86-й год. Вторично консулом был избран Цинна и в седьмой раз — Марий, который, однако, через несколько дней после выборов умер.

Все законы Суллы были отменены. Новые граждане распределялись по всем 35 трибам. Проводилась частичная кассация долгов. Кроме того, марианцы готовились к предстоящей неизбежной борьбе с Суллой. И хотя на одной из бурных солдатских сходок Цинна был убит, некоторые италийские города поддержали марианцев. Набор войска продолжался.

Сулла высадился со своей армией в Брундизии весной 83 г. Это было началом нового этапа граждан-

ской войны, которая развернулась на территории Италии и продолжалась полтора года. Осенью 82 г. в битве у Коллинских ворот, ведущих в Рим с севера, марианцы были окончательно разгромлены, а Рим вторично взят с бою войсками Суллы.

На сей раз победа сулланцев ознаменовалась таким террором, перед которым померкли все предыдущие кровавые события. Были введены знаменитые проскрипции, т. е. публикация списков тех лиц, которые по тем или иным причинам казались Сулле подозрительными. Попавшие в эти списки объявлялись вне закона: каждый мог их безнаказанно убить. Имущество проскрибированных подвергалось конфискации; из части его выплачивалась награда убийцам (или донощикам). Во время проскрипций было казнено 90 сенаторов и 2600 всадников. Кое-кто из друзей и сторонников Суллы нажил себе во время этих проскрипций огромные состояния.

Сулла щедро награждал своих солдат. Помимо военных трофеев, всяческих наград и раздач при триумфе он вывел ряд колоний на территории самой Италии, наделив 100 тыс. своих ветеранов земельными участками. Для этих целей земля конфисковывалась у ее владельцев в тех общинах и городах, которые поддерживали марианцев в ходе гражданской войны. В самом Риме Сулла создал себе верную опору из 10 тыс. корнелиев — так стали называться стпущенные им на волю рабы казненных при проскрипциях.

В конце 82 г. Сулла был провозглашен диктатором на неограниченный срок и получил чрезвычайные полномочия для издания новых законов и по устройству государственных дел. Диктаторы не назначались в Риме со времен Второй Пунической войны (т. е. более 120 лет), и, кроме того, диктатура всегда бывала ограничена весьма кратким (полугодным) сроком.

Сулла восстановил все те реформы, которые были им проведены после взятия Рима в первый раз. Кроме того, еще более увеличивалось значение сената; расширялись, в частности, его судебные функции. Число сенаторов удваивалось. Возросло и число магистратов: преторов, квесторов. С другой стороны, снова ограничивались права комиций и народных трибунов. Было объявлено, что те лица, которые занимали эту должность, не имеют права домогаться никакой другой

магистратуры. Таким образом, значение трибуната не только обесценивалось, но он даже превращался в препятствие на пути к достижению, скажем, консульской должности.

Сулла стал теперь неограниченным и единовластным правителем Рима. Однако завершение его политической карьеры оказалось совершенно неожиданным: в 79 г. он вдруг сложил с себя диктаторские полномочия. Сулла удалился в свое поместье, где и прожил немногим более года, занимаясь охотой, рыбной ловлей и писанием мемуаров.

Сулла был, конечно, незаурядной личностью. Человек, по понятиям своего времени, образованный, он обладал острым умом, вкусом, даже определенной утонченностью, но вместе с тем был предельно циничен и жесток. Народ он презирал, солдат развращал показной щедростью, преклонялся только перед силой и успехами. Он верил в свою счастливую звезду, не обижался, когда завистники объясняли его победы не опытом или умением полководца, а лишь удачей, и сам повелел именовать его Счастливым (*Felix*). Эта концепция счастья, удачи возникла не случайно — она звучала несомненным высказанием тем римским представлениям о доблести, о добродетелях (*virtutes*), презрение к которым Сулла демонстрировал всей своей деятельностью и карьерой.

Что касается оценки этой деятельности в западноевропейской историографии, то следует заметить, что она довольно разноречива. Так, например, Моммзен называл Суллу консерватором, сторонником и защитником сенатской олигархии. Но, говоря о сулланской политике наделения ветеранов землей, Моммзен считал, что речь должна идти не только о попытке создания опоры новому режиму, но и о восстановлении мелкого и среднего крестьянства. В этом вопросе, по мнению Моммзена, сближались позиции «умеренных консерваторов» и представителей «партии реформы»¹.

Мысли и соображения Моммзена получили весьма своеобразную (и даже — парадоксальную!) интерпретацию в специальной работе известного французского историка Карконино, посвященной Сулле. Автор считает, что, проводя насильственную экспроприацию

¹ См. Т. Моммзен. История Рима, т. II, стр. 323—324.

цию земель и наделяя затем земельными участками своих ветеранов, Сулла осуществлял аграрную программу популяров, да еще чисто революционными методами¹. Кстати говоря, Каркопино придерживается того мнения, что Сулла достиг по существу монархической власти. В этом он не одинок — некоторые историки вообще рассматривают Суллу как первого римского императора.

В советской историографии мы встречаем значительно более единодушную оценку деятельности Суллы. Его классовые позиции ясны: он был защитником интересов сенатской аристократии. Проведенные им реформы возвращали Рим к догракханским временам. Основная же слабость его политики состояла в том, что он, используя новые методы и приемы политической борьбы — опора на армию, бессрочная диктатура, — стремился возродить уже отжившую политическую форму: правление сенатской олигархии. Что же касается попыток сопоставить аграрную политику Суллы с гракханской, то они не выдерживают серьезной критики. Наоборот, речь должна идти о противоположном в принципе направлении аграрного законодательства. Несколько перефразируя выводы одного историка, следовало бы сказать, что если Гракхи своими аграрными законами хотели создать крестьян, дабы иметь солдат, то Сулла, опасаясь иметь слишком много беспокойных и требовательных солдат, стремился к тому, чтобы создать крестьян.

* * *

Перейдем теперь к оценке событий, связанных с развитием другой линии борьбы — борьбы рабов. Конец II и начало I в. до н. э. характеризуются небывалыми по размаху массовыми выступлениями рабов.

Отдельные, разрозненные вспышки движения рабов наблюдались и раньше. О них неоднократно упоминает Тит Ливий. Так, например, в 198 г. на территории Лациума в результате предательства был открыт и подавлен заговор рабов. Около 500 его участников были казнены. В 196 г. в Этрурии произошло настоящее вос-

¹ J. Carcopino. Sylla ou la monarchie manquée. Paris, 1931, p. 60—61.

стание рабов, на подавление которого был направлен легион регулярных войск. В 185 г. в Апулии восстали рабы-пастухи. Движение приобрело, видимо, широкий размах, поскольку претор Постумий приговорил к смертной казни 7 тыс. человек.

Но все эти выступления носили локальный, ограниченный характер. Первая большая рабская война, как ее называли сами древние, вспыхнула в Сицилии, в стране, которая считалась житницей Италии. Но Сицилия имела еще одну особенность: она была страной классического рабовладения. Греческий историк Диодор говорил, что в Сицилии было такое количество рабов, что оно даже людям, знавшим об этом, казалось невероятным и преувеличенным.

Восстание в Сицилии началось в 138 г. и продолжалось до 132 г. Первая вспышка произошла в имении одного крупного рабовладельца, который был известен своим жестоким обращением с рабами. К восставшим примкнули рабы из соседних селений. Затем повстанцы в количестве примерно 400 человек внезапно ворвались в город Энну и овладели им. С этого момента движение приобрело массовый характер.

Во главе восставших оказался талантливый организатор — раб-сириец Евн, который вскоре под именем Антиоха был провозглашен царем, а первое в истории царство рабов — благодаря численному перевесу в нем сирийцев — названо Новосирийским царством. Евн созвал в городе Энне народное собрание, учредил совет из «наиболее выдающихся по уму» участников движения. Вскоре возник второй крупный очаг восстания в юго-западной части Сицилии. Здесь выдвинулся другой вождь — бывший киликийский пастух и пират Клеон. Римляне рассчитывали на раскол движения и вражду двух его вождей, однако Клеон добровольно и по собственной инициативе признал главенство Евна. Оба очага восстания объединились, количество участников движения дошло до 200 тыс., и вся Сицилия оказалась в их власти.

Римлянам пришлось приложить немало усилий для подавления восстания. Первоначально римские войска терпели одно поражение за другим. Только после того, как в Сицилию были направлены консульские армии, удалось — и то из-за предательства — захватить главные укрепленные центры восставших: города Тавро-

мений и Энну. Клеон был убит во время одной из вылазок, а Эви погиб в тюрьме. Сицилийское восстание имело ряд откликов: античные авторы сообщают об отдельных выступлениях рабов в итальянских городах, а затем в Аттике и на Делесе.

По свидетельству тех же древних авторов, в 104 г. в Сицилии вспыхнуло новое восстание рабов. Оно продолжалось до 101 г. Поводом к восстанию послужило постановление сената о том, что подданные союзных государств, родившиеся свободными, но затем обращенные в рабство (как правило, из-за долгов!), должны быть освобождены из неволи. Римский претор, управлявший Сицилией, освободил на основе сенатского решения за короткий срок более 300 рабов. Но тут вмешались в дело сицилийские рабовладельцы. Угрозами и подкупом они добились того, что правитель провинции прекратил освобождение рабов. Это и послужило сигналом к восстанию.

Оно началось сразу в нескольких местах. Вскоре выделился центр восстания — город Триокала, где руководство движением взял в свои руки вождь рабов Сальвий. Как раньше Эви, он тоже был провозглашен царем и принял имя Трифсна. В Триокале функционировало народное собрание, совет; Трифон появлялся перед народом в сопровождении ликторов.

В ходе восстания возник второй его очаг, но уже в западной части острова, около города Лилибея. Здесь во главе рабов стоял киликиец Афинион, который сначала действовал самостоятельно, но затем добровольно подчинился Трифону. Снова почти весь остров оказался в руках рабов. Их борьба против римских войск была долгой и упорной, и только в 101 г. консул Маний Аквиллий, коллега Мария по консулату, опытный полководец, сумел добиться решающей победы. Трифон умер до этого, а Афинион якобы был убит самим Аквиллием во время поединка. Таким образом, и второе восстание было подавлено римлянами.

В современной историографии не раз уже отмечалось, что это второе восстание сицилийских рабов — во всяком случае в изложении Диодора — очень похоже на первое. Подобное наблюдение привело к тому, что ряд исследователей считают рассказ о нем лишь дублированием или вариантом описания более раннего выступления рабов. Мы знаем, что прием удвоения событий

в античной историографии был довольно распространен. Однако если верно, что сведения, сообщаемые нам Диодором, восходят к другому историку, а именно к Посидонию, то всякие подозрения должны отпасть, ибо Посидоний — современник описываемых событий и потому едва ли бы он рискнул писать о том, чего на самом деле не было.

Все эти выступления рабов, включая и оба сицилийских восстания, по своим масштабам и по своему историческому значению, конечно, не могут идти в сравнение с тем грандиозным восстанием, которое развернулось в начале I в. на территории самой Италии и вошло в историю как великое восстание рабов под руководством Спартака.

Это восстание прекрасно изучено в советской историографии. Потому здесь для нас важны в первую очередь оценки и выводы, на фактической же стороне событий мы остановимся самым кратким образом. Восстание Спартака датируют обычно 74 (или 73) — 71 гг. В городе Капуя, в одной из гладиаторских школ, состоялся заговор, в котором приняло участие около 200 рабов-гладиаторов. Заговор был раскрыт, но группе рабов (около 80 человек) удалось бежать из города. Они обосновались на склонах горы Везувий и выбрали из своей среды трех руководителей: Спартака, Крикса, Эномая.

О последних двух вождях восстания нам ничего не известно. О Спартаке кое-какие биографические данные сохранились. Он происходил, по всей вероятности, из Фракии, служил в римских войсках, затем дезертировал, был схвачен и в наказание отдан в гладиаторы. За храбрость и физическую силу он получил свободу и стал преподавателем фектования в гладиаторской школе.

Спартак, несомненно, был наиболее выдающимся из этих трех руководителей восстания. Он обладал талантом организатора и военачальника. Его незаурядность признавали еще древние авторы. Плутарх отмечал, что Спартак отличался не только отвагой и физической силой, но по уму и мягкости характера «более походил на образованного эллина, чем на человека его племени»¹. Саллюстий характеризовал вождя рабов

¹ *Plut., Crass., 8.*

как человека «выдающегося и физическими силами и духом»¹.

В Риме вначале не придали серьезного значения заговору и бегству гладиаторов где-то на юге Италии. Но силы Спартака быстро росли. К нему стали присоединяться другие гладиаторы, беглые рабы, даже обнищавшие крестьяне. В сравнительно короткий срок Спартак собрал и вооружил довольно большое войско.

Тогда против восставших был послан претор Клодий с трехтысячным отрядом. Римские солдаты заняли единственный спуск с горы. Путь рабам, казалось, был отрезан. Но Спартак нашел выход из положения: по его приказу рабы сплели канаты из виноградных лоз и лестницы из ивовых прутьев и при их помощи ночью спустились в тыл врага. Захваченный врасплох отряд Клодия был разгромлен, а вскоре Спартак разбил войско и другого претора — Вариния. После этих успехов на сторону Спартака стали перебегать даже солдаты. Армия восставших насчитывала теперь несколько десятков тысяч человек. Вскоре вся Южная Италия была охвачена восстанием.

Однако в это время среди восставших начались разногласия. Истинная их причина нам неизвестна. Древние историки объясняли эти разногласия тем, что армия Спартака была разноплеменной: в ней были рабы фракийцы, греки, галлы, германцы. Однако все это лишь предположения историков. Достоверно известно только то, что значительная часть восставших во главе со Спартаком направилась к северу Италии, очевидно, с той целью, чтобы, перейдя через Альпы, вернуться на родину — в Галлию и Фракию. От этой основной массы откололись отряды Крикса и Эномая, которые не желали покидать богатую Италию.

В 72 г. сенат выслал против восставших армии обоих консулов. Одному из них удалось в Апулии разбить отряд Крикса, причем сам Крикс пал в бою. Судьба Эномая точно не известна, видимо, он погиб при сходных обстоятельствах. Спартак же продолжал продвигаться к северу Италии. Около города Мутина он одержал блестящую победу над Кассием, бывшим в то время наместником Галлии. Быть может, благодаря этому новому успеху он изменил свои первоначаль-

¹ *Sall., Hist. (ex Liv. suppl. 95, 2).*

чальные намерения, и, хотя теперь, после победы при Мутине, дорога через Альпы лежала открытой, он со всем войском неожиданно повернул обратно в Италию.

Это был момент наивысшего подъема движения. Армия Спартака, как уверяют некоторые древние авторы, выросла до 120 тыс. человек. Победы над отборными римскими легионами воодушевляли восставших. Тем более, что, когда Спартак после Мутины направился в Среднюю Италию, ему удалось в Пицене разбить поочередно армии обоих консулов. В Риме началась паника, какой не бывало со времени нашествия Ганнибала. Сенат направил на борьбу с армией рабов Марка Лициния Красса, который приобрел репутацию способного военачальника еще во время Союзнической войны. Он был поставлен во главе шести легионов и наделен чрезвычайными полномочиями.

Однако и Красс вначале терпел неудачи. Он даже просил сенат прислать ему на помощь войска прославленных полководцев — Лукулла и Помпея. Для поднятия дисциплины среди своих солдат он вынужден был прибегнуть к старинному и жестокому обычаю децимации: крупный отряд его войска, обращенный Спартаком в бегство, был построен, и каждый десятый воин по фронту подвергнут казни на глазах своих товарищей.

Вопреки всем страхам и ожиданиям Спартак не пошел на Рим, но, минуя его, направился в Южную Италию. У него возник план переправы в Сицилию, где он и его войско могли, очевидно, рассчитывать на поддержку и начать новый этап «рабской войны». По некоторым сведениям, Спартак получил обещание от пиратов, находившихся у берегов Южной Италии, обеспечить переправу его войск флотом. Но пираты не выполнили своего обещания, и это сразу ухудшило положение Спартака. Он оказался со своим войском на узком перешейке, а подоспевший сюда Красс приказал прорыть глубокий ров через весь перешеек, дабы запереть и отрезать армию рабов.

Но здесь снова проявились в полном блеске военный талант и находчивость Спартака. В темную, бурную ночь, завалив отдельные участки рва землей, хворостом, трупами людей и павших лошадей, Спартак сумел прорваться и перевести через ров свое войско.

Теперь он направился к Брундизию, из гавани которого было легче всего переправиться на Балканский полуостров. В этот напряженный момент от армии Спартака снова откололся крупный отряд, который вскоре был разгромлен римлянами.

Решающее сражение произошло в 71 г. в Апулии. Как рассказывает Плутарх, перед началом боя Спартаку подвели коня, но он, выхватив меч, убил его и сказал, что в случае победы у него не будет недостатка в самых лучших конях, а в случае поражения ему вообще не понадобится конь¹. В упорной и кровопролитной битве армия рабов потерпела поражение, сам Спартак, геройски сражаясь, пал на поле боя. Одному крупному отряду рабов удалось прорваться к северу, но здесь его встретил и разгромил Помпей. Впоследствии Помпей хвастливо заявлял, что он таким образом вырвал самые корни «рабской войны». Шесть тысяч рабов были распяты на крестах, расставленных по дороге, ведущей из Капуи — города, где началось восстание, — до Рима. Движение было подавлено, потоплено в крови, но отдельные группы восставших рабов бродили по Италии еще несколько лет.

Как мы только что могли убедиться, восстание рабов под руководством Спартака, как и все предшествующие ему выступления (в Сицилии или других частях Римской державы), окончилось полным поражением. Это, конечно, не было случайностью. Каковы же историческая роль и значение восстания?

Тенденциозность и несобъективность оценки, распространенной в западной историографии, не вызывает сомнений. Моммзен называл восставших рабов шайкой разбойников, Спартака — их атаманом, а движение в целом — разбойничьим мятежом. Личность Спартака Моммзен оценивал тем не менее высоко, считал его выдающимся организатором и стратегом и даже выдвинул предположение — кстати сказать, эта гипотеза долгое время пользовалась успехом — о происхождении вождя рабов из царского рода Спартокидов².

Оценка движения рабов, высказанная Моммзеном более ста лет тому назад, едва ли может нас особенно удивить. Гораздо удивительнее то обстоятельство, что

¹ *Plut., Crass.*, 41.

² См. *Т. Моммзен. История Рима*, т. III, стр. 70—75.

и в наше время некоторые историки, имеющие громкое имя, дают столь же поверхностную и необъективную оценку крупнейшего выступления рабов. Так, например, М. И. Ростовцев, уделив изложению событий немного более полстраницы текста, называет восставших рабов «бандой», «ордой бандитов» и не придает серьезного значения самому движению¹.

Выше было сказано, что восстание Спартака обстоятельно изучено в советской историографии. Это, однако, не означает, что все выработанные в свое время характеристики и оценки движения можно считать безоговорочно приемлемыми. В нашей историографии 30-х годов безраздельно господствовало представление о «революции рабов». В этой связи и общая картина классовой борьбы в античном обществе получила в работах тех лет отражение, наименее адекватное и вместе с тем наиболее модернизированное.

Эта картина рисовалась примерно следующим образом. Поскольку признавалось наличие двух основных классов-антагонистов — рабов и рабовладельцев, то лишь непосредственная борьба между этими двумя классами и считалась классовой борьбой. Высшая же форма борьбы — восстание, причем его успех или поражение зависели якобы от того, насколько прочен был союз рабов с крестьянством, ибо рабы призваны играть роль гегемона революционных движений. Крах Римской республики и переход к империи, а в дальнейшем гибель самой Западной Римской империи — результат «революции рабов».

Именно под таким углом зрения оценивалось в работах тех лет и восстание Спартака. Прежде всего подчеркивалось, что «выступление Спартака за освобождение рабов означало борьбу за разрушение рабства и, следовательно, рабовладельческой собственности»². Далее говорилось, что рабы — основной класс, противостоящий рабовладельческому строю, как таковому³, и что они играли «роль гегемона в революциях того времени»⁴. Раскол и разногласия, а в конечном счете и неудача всего движения Спартака объяснялись пози-

¹ М. Rostovtzeff. Rome. p. 120.

² А. В. Мишулин. Спартаковское восстание. М., 1936, стр. 140.

³ См. там же, стр. 133—134.

⁴ См. А. В. Мишулин. Спартак. М., 1950, стр. 91.

цией крестьян: они, мол, не понимали, что «разрешение всех вопросов крестьянской революции неотделимо от задачи ликвидации рабовладельческой системы хозяйства, ликвидации рабства». Общий же вывод был таков: «Именно это обстоятельство и не обеспечивало надлежащих условий для надежных и крепких форм смычки восстания рабов с аграрной революцией крестьянства»¹.

Все эти выводы и оценки рассматривались в свое время как марксистская интерпретация классовой борьбы в античном обществе. Наиболее парадоксальным в этих рассуждениях следует считать то немаловажное обстоятельство, что подобные оценки находились в явном противоречии с высказываниями основоположников марксизма-ленинизма о роли и участии рабов в классовой борьбе.

К. Маркс, как известно, высоко оценивал Спартака, говоря о том, что это был «великий полководец... благородный характер, истинный представитель античного пролетариата»², но вместе с тем это не мешало ему со всей определенностью подчеркивать, что в римском обществе классовая борьба шла внутри привилегированного меньшинства (свободного населения), а рабы были лишь «пассивным пьедесталом» этой борьбы³. По существу те же самые мысли развивал в своей знаменитой лекции «О государстве» и В. И. Ленин. Он отмечал, что «Спартак был одним из самых выдающихся героев одного из самых крупных восстаний рабов», но вместе с тем подчеркивал: «Рабы, как мы знаем, восставали, устраивали бунты, открывали гражданские войны, но никогда не могли создать самостоятельного большинства, руководящих борьбой партий, не могли ясно понять, к какой цели идут, и даже в наиболее революционные моменты истории всегда оказывались пешками в руках господствующих классов»⁴.

В наше время эти высказывания Маркса и Ленина оценены в полной мере. Поэтому изложенные выше концепции классовой борьбы в античном обществе

¹ А. В. Мишулин. Спартакское восстание, стр. 140—141, 189.

² См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 30, стр. 126.

³ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16, стр. 375.

⁴ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 77, 82.

едва ли сейчас разделяются кем-либо из советских историков. Тезис о «революции рабов», как известно, не был, да и не может быть подтвержден фактическими данными. Рассуждения о рабах как о классе-гегемоне, о союзе рабов с беднейшим крестьянством не что иное, как своеобразная — и, кстати сказать, довольно примитивная — модернизация. Не следует также переоценивать элемент сознательности в движениях рабов, о чем достаточно определенно говорится в приведенном высказывании В. И. Ленина. Отсутствие четкой политической программы в движениях рабов — явление естественное, закономерное и вполне объяснимое для того времени и того уровня развития классовой борьбы. Кстати, это обстоятельство вовсе не принижает революционного значения выступлений рабов. Ибо, строго говоря, едва ли можно назвать сознательным революционное выступление любого класса (и в любую эпоху!), если только им не руководит авангард класса, как раз и представляющий его наиболее сознательную, а потому и наиболее активную часть.

Такова должна быть, на наш взгляд, оценка исторического значения движений рабов, оценка наиболее объективная, учитывающая специфику и уровень развития классовой борьбы в античном обществе. Теперь в качестве итога всех рассуждений следует рассмотреть вопрос, который был затронут в самом начале главы. Там было сказано о наличии двух самостоятельных линий борьбы: аграрно-крестьянской и рабской. Мы проследили основные события, характеризующие развитие как одной, так и другой линии, и попытались дать этим событиям определенную оценку. Чем же все-таки объяснить тот факт, что эти линии развивались независимо друг от друга и фактически никак друг с другом не объединялись и не перекрещивались?

Мы уже знаем, что в свое время под гипнозом формулы о «революции рабов» советские историки трактовали движение римско-италийского крестьянства как некое подчиненное направление борьбы, а рабов рассматривали как своеобразного гегемона революции. Ставился даже вопрос о «союзе» рабов с пауперизованным крестьянством, как о необходимом условии успешного развития «революции рабов».

Однако эти выводы не вытекали из самой римской истории. Но с другой стороны, не менее ошибочно было

бы трактовать восстание рабов как составную часть крестьянской революции. Это две различные и самостоятельные линии борьбы. В тех условиях они и не могли слиться воедино: слишком велика была пропасть между рабом и свободным (тем более — римским гражданином), слишком различны были их интересы. Причем, как это ни парадоксально, пропасть была, пожалуй, наиболее велика именно между рабом и пауперизованным крестьянином. Последний часто отличался от раба только тем, что он — свободнорожденный гражданин, но тем выше он ценил это единственное отличие и подчеркивал его. Скорее можно иметь в виду отдельные случаи совпадения интересов рабов и городского плебса. Однако «союз» свободного с рабом всегда был не чем иным, как союзом всадника с лошадыю. Раба можно было привлечь, использовать, можно было даже считаться с ним, но никак нельзя признать равным или подобным себе. Именно по этой причине две линии социально-политической борьбы — плебейско-крестьянская и рабская — существовали раздельно и не могли в тех условиях слиться воедино.

* * *

Итак, нами рассмотрены и охарактеризованы основные, «этапные» события аграрно-крестьянской революции (движение Гракхов, Союзническая война, борьба марианцев и сулланцев), а также крупнейшие выступления рабов («рабские войны» в Сицилии, восстание Спартака). Был подчеркнут факт самостоятельного развития этих двух линий борьбы, их независимость, несовместимость. Означает ли подобный вывод, что между названными выше и столь разнородными на первый взгляд событиями вообще не существовало никакой внутренней связи?

Конечно, это не так! Есть одно явление, одно понятие, которое оказывается столь объемлющим, что все перечисленные (и даже не перечисленные!) события в него не только полностью укладываются, но и как бы служат его признаками, симптомами, отличительными чертами. Это — понятие кризиса римского общества. Но само собой разумеется, едва ли достаточно

констатировать наличие кризиса — следует его определить.

Интересно отметить, что некое ощущение кризиса сравнительно рано возникло еще у самих древних. По свидетельству Страбона, первый римский историк Фабий Пиктор говорил, что римляне «попробовали богатства» после третьей Самнитской войны. Правда, лапидарность сообщения Страбона не дает возможности определить позицию самого Фабия, т. е. насколько отрицательно он относился к этому факту¹. Зато не вызывает никаких сомнений отрицательное отношение Катона и к богатству, и к роскоши (*luxuria*), и к алчности (*avaritia*). Программа, выдвинутая Катонem во время его цензуры, была программой борьбы против этих, занесенных якобы с чужбины пороков (*nova flagitia*), которые с недавних пор распространились в Риме и грозили подорвать его могущество.

Катон как практический деятель и политик не столько теоретизировал по поводу упадка нравов, сколько вел с ним вполне конкретную борьбу. Что касается Полибия, то у него мы уже встречаем чисто теоретическую постановку проблемы, правда, еще не в очень разработанной форме. В одном из своих общих рассуждений, но, безусловно, имея в виду Рим, Полибий говорит, что в государстве, которое победоносно отразило многие опасности и приобрело небывалое могущество, появляется страсть к господству, распространяется богатство и образ жизни людей становится все более и более притязательным. Так как судьба и отдельного человека и целых государств подчиняется неотвратимым законам становления, расцвета и упадка, то развитие таких пороков, как властолюбие и корыстолюбие, свидетельствует о том, что данное общество уже начинает клониться к упадку².

Для Полибия рассуждения подобного рода — всего лишь какой-то штрих его общеисторической концепции. Поэтому они высказаны им в самой общей форме. Творцом теории упадка нравов следует, очевидно, считать не его, а Посидония. Как известно, произведения Посидония до нас, к сожалению, не дошли. Однако, как было убедительно доказано, историк Диодор в ряде

¹ *Strabo*, 5, 3, 1.

² *Polyb.*, 6, 57, 5.

случаев тесно примыкает к Посидонию, особенно тогда, когда дело касается теоретических обобщений¹.

Фрагменты Диодора — интересующие нас части его труда дошли тоже лишь в эксцерптах — показывают, что основными элементами теоретического построения Посидония были: картина «золотого века», роль «пунической угрозы» (*metus punicus*) как сдерживающего начала, разрушение Карфагена и как следствие этого события — разгул низменных страстей и пороков, прогрессирующее разложение нравов.

Теоретические установки Посидония приводили, по всей вероятности, к тому, что в его рассуждениях в отличие от чисто исторической концепции Полибия центр тяжести переносился в область философии и этики, в область отвлеченных нравственных категорий. Подобная установка, несомненно, восходила к классическим греческим образам, к греческим мыслителям вплоть до Аристотеля с их тщательно разработанной систематикой различных причин гражданских смут и переворотов².

Дальнейшее развитие и, пожалуй, наиболее законченное выражение теории упадка нравов мы встречаем у Саллюстия. В его схему, кстати сказать, вошли все основные элементы теории Посидония. В историческом экскурсе, включенном в монографию о заговоре Катилины, Саллюстий делит всю историю Рима на три больших периода: становление римского государства, период его расцвета («золотой век»), начавшийся упадок³. Вполне вероятно, что эта схема возникла не без влияния исторических воззрений Полибия, а быть может, и некоторых построений Платона (например, «циклы» исторического и культурного развития человечества в «Законах»)⁴.

Нас в данном случае интересует не столько картина «золотого века» или становления Рима, сколько Саллюстиева характеристика разложения общества и упадка нравов. Начало этого разложения Саллюстий, как, видимо, и Посидоний, приурочивает к разруше-

¹ *Ed. Meyer. Kleine Schriften, Bd I, S. 300 u. a.*

² *Arist., Polit., 5, 2, 1302 a 23 sqq.*

³ *Sall., Cat., 6—12.*

⁴ Об этом более подробно см.: *С. Л. Утченко. Древний Рим, стр. 271 слл.*

нию Карфагена. Основные причины разложения — две гибельные страсти, которые именно в это время и развиваются в римском обществе: жажда власти (*ambitio*) и страсть к деньгам, к обогащению (*avaritia*). Кстати сказать, Саллюстий считает, что властолюбие (или честолюбие) все же ближе стоит к добродетели, чем корыстолюбие¹.

Окончательное падение нравов в римском обществе Саллюстий относит к периоду диктатуры Суллы. После того как Сулла вооруженным путем вторично овладел государством, все предалось грабегам и разбоям. Особенно неустойчивой оказалась молодежь, которая под воздействием алчности, корыстолюбия, роскоши пустилась на грабежи и безумные траты. Римское общество окончательно погрязло в пороках и преступлениях².

Такова в кратких чертах характеристика упадка, наступившего после разрушения Карфагена (т. е. после ликвидации «пунической угрозы»). На первый взгляд Саллюстий, как до него Посидоний, в качестве причин упадка выдвигает отвлеченные моральные категории типа *ambitio* и *avaritia*. На самом же деле это не так. Картина упадка нравов в историческом экскурсе «Заговора Катилины» изображает не разложение общества «вообще», не борьбу отвлеченных категорий, но разложение вполне определенного слоя римского общества, а именно — нобилитета. Анализ аналогичного типа экскурсов из других произведений Саллюстия, в частности из «Югуртинской войны», может только подкрепить это утверждение³.

Итак, ликвидация «пунической угрозы», страсть к обогащению, борьба честолюбий (например, Сулла!), разложение нравов в римском обществе, и в первую очередь в среде нобилитета, — вот те причины, которые, по мнению самих древних, привели к глубокому кризису и падению былого процветания римской державы.

Для новой историографии подобный анализ причин представляется, конечно, недостаточным, неубедительным и даже наивным. Представители этой историо-

¹ *Sall., Cat.*, 11, 1.

² *Sall., Cat.*, 12—13.

³ Об этом см.: С. Л. Утченко. Древний Рим, стр. 278--289.

графии, вооруженные знанием последующих фактов и событий, имеют все преимущества перед современниками. Ретроспективные выводы всегда звучат более уверенно, хотя бы уже потому, что они относятся к тому типу заключений, которые еще в самом Риме определялись как *vaticinium post eventum*, т. е. «пророчество после событий». Но вместе с тем, пожалуй, следует иметь в виду и такое обстоятельство: если мы сейчас имеем возможность оценить события прошлого более «правильно» и на более «высоком» научном уровне, то мы должны все же отчетливо сознавать, что речь идет о нашем восприятии и наших оценках, тогда как восприятие тех же самых событий современниками было совсем иным, да и сами-то события выглядели для них вовсе не так, как теперь для нас.

Как же все-таки оценивает современная историография тот кризис, в полосу которого вступило римское общество во II—I вв.? Мы не будем излагать или хотя бы просто перечислять существующие точки зрения, тем более что в интересующем нас плане все они различаются по существу лишь второстепенными деталями, сводясь в принципе к единому общему выводу — к выводу о кризисе Римской республики.

Этот вывод бесспорен, однако, с нашей точки зрения, и он не может считаться достаточным. Дело в том, что, по нашему мнению, кризис республики, т. е., другими словами, кризис политических форм должен рассматриваться лишь как один из аспектов более широкого, более объемлющего понятия — кризиса полиса. Каково же соотношение этих понятий?

Прежде всего следует отметить, что кризис полиса и кризис республики не совпадают во времени. Конечно, назвать какую-то точную дату, которая знаменовала бы собой начало процесса, определяемого нами как кризис полиса, едва ли возможно. В качестве некоего условного рубежа допустимо избрать то событие, значение которого, как мы видели, подчеркивали сами древние: окончательная победа над Карфагеном и превращение Рима в крупнейшую средиземноморскую державу. Более четко определяется другой рубеж (хотя точная датировка едва ли нужна и в данном случае) — конец Рима-полиса. Рим перестает существовать как полис, т. е. как единственный центр и сре-

доточне полноправных граждан, после Союзнической войны, когда распространение прав римского гражданства на все население Италии лишило Рим и его непосредственных жителей прежнего привилегированного положения. Что касается кризиса республики, то его развитие наблюдается позже и хронологически он даже может рассматриваться как некое следствие кризиса полиса.

Гораздо важнее то обстоятельство, что кризис полиса — значительно более широкое понятие, чем кризис республики. Об этом вскользь уже говорилось выше. Рассмотрим теперь несколько детальнее все основные аспекты кризиса полиса. Это рассмотрение, очевидно, следует вести в соответствии с тем пониманием природы полиса, которое нами было сформулировано в своем месте¹.

Экономический аспект кризиса полиса заключался в том, что на смену натуральному, замкнутому хозяйству, которое характеризовало экономику ранней римской общины, приходит хозяйство товарно-денежное. Об этом тоже довольно подробно говорилось выше. Не менее важный переворот в области экономических отношений произвело развитие рабского труда и внедрение его в различные сферы производства. Патриархальная община Рима покоилась вовсе не на рабском труде. Все эти изменения в экономике не могли не отразиться рано или поздно в сфере как социальных, так и политических отношений.

Изменения в социальной сфере определяются складыванием нового соотношения сил (и противоречий!) среди свободного населения. Когда мы говорили о классовой структуре римского общества, мы отмечали, что господствующий класс Рима распадался на два привилегированных сословия: сенаторское и всадническое. В начальный период существования республики, да и в эпоху ее расцвета, политическая власть и руководство государством полностью были сосредоточены в руках представителей сенатской олигархии.

Некоторые исследователи считают даже возможным говорить о том, что историю Римской республики часто определяли отдельные знатные фамилии, давая

¹ См. стр. 36—38.

свои имена целым эпохам. Так, например, может идти речь о веке Сципионов, веке Метеллов. Цецилии Метеллы — опора сулланского режима. Однако кризис правящей аристократии становится особенно явным и бесспорным именно после диктатуры Суллы¹.

Во второй половине I в. до н. э. староримская землевладельческая знать, державшаяся за свои традиции (лозунг *moreis maiorum!*) и привилегии, была по существу уже «нисходящим» классом, положение которого весьма заметно пошатнулось. В римском обществе выдвигались теперь на первый план новые и более «перспективные» социальные группировки, претендовавшие не только на участие в государственных делах, но иногда и на определенное руководство ими.

К таким «перспективным» группировкам принадлежало другое привилегированное сословие — всадническое. В состав этого сословия входили, как мы знаем, представители торгово-денежной аристократии (хотя это не мешало многим из них быть одновременно землевладельцами). Наряду с более «старой» прослойкой всадничества, т. е. в основном детьми сенаторов, выходцами из муниципиев, формируется новая группа служилого всадничества, которая играет в дальнейшем все более заметную роль.

В интересующую нас эпоху всадничество уже стремится к самостоятельной политике и в своей борьбе против нобилитета нередко блокируется с низшими слоями римского населения, т. е. с городским или сельским плебсом. Такой блок, например, возник на некоторое время в период трибуната Гая Гракха. Типичным представителем этой новой аристократии был известный нам Марк Лициний Красс, победитель Спартака, наживший путем спекуляций многомиллионное состояние.

Наряду со всадничеством выдвигаются совершенно новые социальные группировки (в полном смысле — *homines novi!*), которые тоже начинают претендовать на определенное место и положение в жизни государства. Это — муниципальная (а затем и провинциальная) знать, армейский командный состав, богатые вольноотпущенники. Всем этим «высочкам» весьма импонирует возможность влиться в ряды староримской

¹ R. Syme. Roman Revolution. Oxford, 1939, p. 11—24.

аристократии, а остаткам старинных и знатных родов волей-неволей приходится потесниться и в какой-то мере уступить напору новоявленных богачей или честолюбивых армейских командиров.

Что касается низших слоев населения римского государства, то здесь следует еще раз подчеркнуть значительный рост городского плебса. Это явление было, как нам известно, следствием массового разорения и обезземеливания крестьян. Но в интересующее нас время возникла еще одна немаловажная причина. Это — появление так называемых «новых граждан», т. е. массы италиков, получивших римские гражданские права после Союзнической войны. Прилив «новых граждан» значительно пополнил ряды римского плебса, и в частности именно городских слоев населения.

Говоря о новых социальных силах, нельзя забывать о той особой роли, которую начинает играть в социально-политической жизни Рима реорганизованная, т. е. отныне профессиональная «кадровая» римская армия. Она все более приобретает особое, корпоративное устройство, причем эта корпорация, эта наиболее организованная в римских условиях масса, становится в I в. до н. э. крупнейшим фактором общественно-политической жизни.

Новая расстановка классовых сил приводит к новому обострению противоречий. Мы имеем в виду опять-таки противоречия между различными социальными группировками свободного населения. Это — противоречия между нобилитетом и всадничеством, между староримской знатью и муниципальной аристократией. Однако речь должна идти не только о противоречиях в среде господствующего класса, но главным образом о противоречиях между этим классом и низшими слоями населения, т. е. плебсом. Но ведь и плебс, как мы знаем, был далеко не однороден. Поэтому существовали противоречия такого рода, как определенные разногласия между сельским и городским плебсом, а после Союзнической войны — между «старыми» и «новыми» гражданами. Именно борьба враждующих классов и социальных группировок свободного населения послужила причиной гражданских войн, которые и привели в конечном итоге к падению сенатской республики. Что касается известных нам выступлений рабов,

то они, бесспорно, тоже свидетельствуют об обострении классовой борьбы, но после восстания Спартака никаких крупных выступлений рабов мы больше не знаем и рабы на протяжении последующих веков вынуждены снова служить «пассивным пьедесталом» развертывающейся и обостряющейся классовой борьбы.

И наконец, политический аспект кризиса полиса, т. е. кризиса республики, республиканского государственного аппарата. Нам уже приходилось говорить о неадекватности и устарелости этого аппарата применительно к новым условиям, к условиям становления римской средиземноморской державы. Это было показано нами главным образом на примере взаимосвязей между Римом и его провинциями. Причем было отмечено, что основные звенья старореспубликанского аппарата, т. е. сенат, комиции, магистратуры, функционировали еще сравнительно нормально и без особых перебоев ¹.

Однако к середине I в. до н. э. и эта картина меняется. Прежде всего можно отметить падение руководящей роли сената, его авторитета. Начало этому процессу было положено деятельностью братьев Гракхов, которые впервые при обсуждении и решении важных государственных вопросов стали систематически апеллировать непосредственно к комициям, в обход сената. Чрезвычайно подорвала авторитет сената, да и всей сенатской олигархии, позорная Югуртинская война, обнаружившая неслыханную коррупцию и разложение правящей верхушки. Сравнительно долговременное господство марианцев в Риме показало не только прогрессирующее ослабление сената, но и возможность «антисенатского» руководства государственными делами. Попытка Суллы возродить былое значение этого оплота римской аристократии была заранее обречена на неудачу, причем сама эта попытка осуществлялась уже «антисенатскими» средствами и методами.

Конечно, значение сената и в дальнейшем не было сведено на нет — на всем протяжении существования республики (да и в определенные периоды ранней империи) он оставался важным и влиятельным госу-

¹ См. выше, стр. 77—78.

дарственным органом, но его монопольное (фактически!) право руководства республикой было уже безраздельно утрачено. Это, кстати сказать, хорошо понимали сами древние. Так, например, Саллюстий неоднократно выражал сожаление по поводу потери сенатом его прежней руководящей роли, считал, что в эпоху расцвета, в «золотой век» римского государства народ повинился сенату, «как тело — душе»¹, и, наконец, в своих основных произведениях, главным образом в «Югуртинской войне», дал потрясающую картину разложения, продажности и бессилия сената.

Другое звено республиканского государственного аппарата — магистратуры тоже не остались незатронутыми разного рода изменениями. Во-первых, в ходе бурных событий II—I вв. была не раз нарушена неприкосновенность должностных лиц и утрачен былой пietet по отношению к ним. Начало этому положил опять-таки Тиберий Гракх, когда он не посчитался с запретом (интерцессией) своего коллеги. Затем убийство обоих братьев, а в дальнейшем и убийство Юлия Друза было вопиющим нарушением неприкосновенности священной особы трибуна. Несколько позже Сулла, как нам известно, всячески стремился уменьшить значение и авторитет трибуната.

Кроме того, если иметь в виду магистратуры, то можно констатировать возникновение весьма своеобразного процесса: «преодоление» магистратур, вернее, их республиканской, коллегиальной сущности путем сосредоточения ряда магистратур в руках одного человека. И здесь речь должна идти прежде всего о Гракхах, в особенности о Гае Гракхе², а что касается Суллы, то его бессрочная диктатура «для устройства государственных дел и издания законов» по существу включала в себя не только права, обязанности и функции любого магистрата, но в какой-то мере даже прерогативы народного собрания. Оба этих варианта «преодоления» магистратур — диктатура и сосредоточение нескольких магистратур в одних руках — будут, как мы убедимся, не раз использованы и в дальнейшем.

И наконец, высшая форма полисной демократии — народное собрание. В Риме, как известно, существо-

¹ *Sall.*, *Epp.*, 2, 10.

² См. выше, стр. 81.

вало три вида народных собраний. Куриатные комиции потеряли свое значение сравнительно рано. Что касается центуриатных и трибутных комиций, то они продолжали пока довольно регулярно функционировать и сохранять, во всяком случае формально, значение высшего органа. Но и здесь налицо существенные изменения. Если в период выступления Гракхов, Югуртинской войны, борьбы марианцев и сулланцев можно говорить об определенном оживлении деятельности народного собрания, о его ведущей роли, то после Союзнической войны картина явно меняется.

Распространение прав римского гражданства на всех италиков развивает узкую привилегированную общину полноправных собственников — римлян. Комиции, олицетворявшие до сих пор *populus Romanus*, весь «римский народ», превращаются теперь в этом смысле в юридическую фикцию. Постепенно развиваются такие явления, как абсентеизм, беззастенчивый подкуп голосующих, давление на собрание при помощи вооруженной силы и т. п. В дальнейшем происходит определенное ограничение функций народного собрания: ранее всего комиции утрачивают свои судебные права. Начало этого процесса может быть отнесено уже ко времени Суллы.

Все эти факты и явления свидетельствуют о прогрессирующем разложении республиканского аппарата, причем даже в его основных звеньях. Но это не только кризис республиканских форм, это кризис полисной демократии. Происшедшая в конечном итоге смена республиканского государственного аппарата тоталитарным и нивелирующим аппаратом мировой державы знаменовала собой и крах республики, и крах античной полисной демократии.

Все эти процессы протекали, конечно, в обстановке крайнего обострения противоречий, в обстановке напряженной борьбы. В бурных событиях I в. до н. э. постепенно стали вырисовываться очертания некоей новой политической формы, а также методы или пути ее достижения. Этой формой были диктатура, единовластие, а средством достижения и решающей силой — армия. Первым политическим деятелем Рима, который сознательно или интуитивно вступил на этот путь, оказался Сулла. Но так как проблема единовластия была выдвинута самим ходом событий, самой ло-

гикой развития борьбы, то он не остался в одиночестве и вслед за ним появляется целая плеяда военных и политических деятелей Рима, которые с большим или меньшим успехом, вступив на тот же самый путь, борются за власть и за единоличное господство.

На этом, пожалуй, можно было бы завершить нашу характеристику кризиса полиса, и в частности кризиса республики, если бы речь шла только о причинах и основных симптомах этого процесса. Но очевидно, следует ответить и на вопрос о том, в какой форме этот процесс протекал и каково было его внутреннее содержание.

Существует довольно широко распространенная, особенно в буржуазной историографии, точка зрения, согласно которой гражданские войны I в. до н. э., крах республики и установление империи рассматриваются как период революции. Пожалуй, наиболее четко и последовательно эта точка зрения проводилась М. И. Ростовцевым, который, говоря о социальной структуре римского общества, наряду с земельной аристократией и городской «буржуазией» отмечал наличие революционной силы — новой римской армии, возникшей после реформы Мария, т. е. наличие «вооруженного пролетариата». Эта «пролетарская армия» и есть, по мнению Ростовцева, движущая сила гражданских войн I в. до н. э., а ее вожди — Марий, Цезарь, Антоний, Октавиан — революционные вожди и деятели¹.

Концепция римской революции I в. до н. э. с некоторыми модификациями вошла в труды многих западных историков, в частности в известную работу английского историка Сайма, которая так и называется «Римская революция», причем в понятие революции им включен период римской истории с 60 г. до н. э. по 14 г. н. э. (дата смерти императора Августа)².

Однако изложенная концепция для нас неприемлема. Мы считаем, в частности, что не следует применять понятие революции к событиям римской истории второй половины I в. до н. э., приведшим непосредственно к установлению политического режима импе-

¹ *M. Rostovtzeff. Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich, Bd I, S. 19—32.*

² *R. Syme. Roman Revolution, p. 11—24.*

рии. Период революционных выступлений начинается, по нашему мнению, с движения Гракхов и достигает своей кульминации во время Союзнической войны — грандиозного восстания италийского крестьянства.

Каков был характер этого революционного движения? Начавшись в эпоху Гракхов в сравнительно замкнутой среде только римского крестьянства, движение приобрело к тому времени, когда вспыхнула Союзническая война, общейталийские масштабы и размах. Что касается внутреннего содержания этого аграрно-крестьянского движения, то, как уже указывалось выше¹, оно было направлено против староримской аристократии, против крупного землевладения, а если рассмотреть движение в самой его основе, то, несомненно, и против Рима-полиса.

В результате названных выше событий некоторые вопросы аграрной революции были решены. Но нет ничего удивительного в том, что плодами и завоеваниями, достигнутыми италийским крестьянством в ходе его революционной борьбы, воспользовались не сами широкие массы, а некоторые, наиболее деятельные и «перспективные» слои господствующего класса. Такова судьба многих, на первый взгляд даже победоносных, революций, однако направленных на защиту «собственности одного вида» против «собственности другого вида». Вот почему римское революционное движение II—I вв. до н. э. знало свой термидор (переворот Суллы), свое 18 брюмера (диктатура Цезаря) и, наконец, в качестве итога — длительное утверждение единовластия (принципат Августа).

Мы подошли вплотную к тем событиям, к тому периоду истории Рима, который уже непосредственно связан с появлением на политической арене Марка Туллия Цицерона — главного героя предлагаемой работы. Его выступление, его общественная деятельность совпадают с самыми, пожалуй, напряженными и бурными годами республики, а его трагическая смерть — с ее последними днями. Жизнь Цицерона нам хорошо известна, иногда даже до самых незначительных подробностей. Это, конечно, редкий случай, но его судьба, личность, политическая карьера, наконец, его ораторская и литературная деятельность важны и интересны

¹ См. стр. 89; ср. стр. 108--109.

не только сами по себе, но как яркое — быть может, даже самое яркое — свидетельство и отражение эпохи. Правда, говоря словами поэта, он «поздно встал» и на дороге был застигнут «ночью Рима». С Капитолийской высоты он наблюдал закат Вечного Города, «закат звезды его кровавой». Но ведь благодаря этому он и удостоился великой, избранной судьбы, обрел бессмертие. Ибо тот же поэт сказал:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Начало общественно-политической карьеры Цицерона

4

Марк Туллий Цицерон родился 3 января 106 г. до н. э. в поместье своего отца вблизи города Арпина, уже прославленного в римской истории тем, что в этом же небольшом городе появился на свет знаменитый полководец Гай Марий. Прозвище рода Туллиев *Cicero*, что означает «горох», возникло, по одной версии, вследствие того, что кто-то из предков Цицерона имел широкий, приплюснутый нос с бороzdкой на его кончике, как на горошине¹; по другой же версии, потому, что один из предков великого оратора был хорошим огородником и выращивал отменный горох. Как бы там ни было, но молодой Цицерон гордился своим родовым прозвищем, и когда в начале его политической карьеры друзья советовали ему переменить имя, он наотрез отказался².

Семейное окружение Цицерона было довольно специфичным, и некоторые черты характера будущего оратора и государственного деятеля возникли, по всей вероятности, не без воздействия этого окружения. Его дед — землевладелец и земледелец староримского закала, сторонник неприхотливой сельской жизни — выступал в свое время против проекта введения в их муниципии тайного голосования, за что и удостоился похвального слова в сенате, произнесенного одним из вождей оптиматов — консулом Марком Эмилием Скавром³. Мать Цицерона Гельвия происходила из рода, давшего еще во II в. двух преторов. Цицерон потерял ее в раннем детстве.

¹ *Plut., Cic., 1.*

² *ibidem.*

³ *Cic., leg., 3, 36; Brut., 308.*

Отец Цицерона принадлежал к всадническому сословию. Вследствие слабого здоровья он предпочитал мирную сельскую жизнь жизни в городе; к политической карьере, по всей вероятности, не стремился и уделял много времени литературным занятиям¹. Однако, придавая серьезное значение воспитанию сыновей, он отправился вместе с ними — семилетним Марком и трехлетним Квинтом — в Рим, где у него был собственный дом, расположенный на западной стороне Эсквилинского холма, в городском квартале, который именовался Карины (Carinae).

Мальчиком Цицерон прошел хорошую школу. Под руководством знаменитого оратора Красса он вместе со своим братом обучался у греческих учителей. Блестящие способности молодого Марка уже тогда обратили на себя внимание. Следуя указаниям поэта Архия, защитником которого в суде он выступал позднее, Цицерон занимался поэзией; сохранились сведения о написанных им в юношеские годы стихотворном произведении «Главк Понтийский», эпической поэме в честь Мария, а также о переводах из греческих поэтов и т. д. Он не оставлял поэтических занятий и в более зрелом возрасте, в особенности в тех случаях, если представлялась возможность воспеть собственные выдающиеся деяния. Иногда Цицерон горделиво сообщал о том, что в течение той или иной бессонной ночи он сочинил целых пятьсот стихов².

Еще в совсем юном возрасте Цицерон обнаружил особый интерес и склонность к ораторскому искусству. Он усердно посещал Форум, где слушал выступления выдающихся ораторов того времени — Красса и Антония, занимался искусством декламации под руководством знаменитого актера Росция, который ставил ему голос и учил его ораторским жестам.

Когда молодой Цицерон получил право одеть мужскую тогу (*toga virilis*), т. е. достиг, по римским понятиям, совершеннолетия (это произошло в 90 г.), отец поручил его попечениям знаменитого законоведа — авгура Квинта Муция Сцеволы, беседы с которым считались наилучшим введением в изучение права. В кругу слушателей почтенного авгура — ему к этому

¹ *Cic., leg., 2, 3.*

² *Plut., Cic., 40.*

времени исполнилось 80 лет — Цицерон познакомился с тем, кто оставался всю жизнь его лучшим другом, — Титом Помпонием Атикком¹. Когда же Муций Сцевола в 87 г. скончался, Цицерон стал слушателем и учеником другого знаменитого юриста, представителя того же самого рода — великого понтифика Квинта Муция Сцеволы.

Видимо, еще в 90 г. Цицерон оказался на военной службе и принял участие в Союзнической войне сначала в частях Помпея Страбона, а затем под командованием Суллы. Но в армии он пробыл недолго, около года; военная карьера его мало прельщала, и он при первой же возможности вернулся в Рим — к Форуму, к своим научным штудиям.

На сей раз он с особым увлечением занялся философией. К его римским наставникам в этой области следует отнести главу академической школы Филона Ларисского, который, бежав из Афин вследствие восстановления там демократического режима, обосновался в Риме, и стоика Диодота, который даже жил у Цицерона в доме. С последним Цицерон занимался преимущественно диалектикой, а также ораторскими упражнениями как на латинском, так и на греческом языке. К этому же времени относится знакомство Цицерона со знаменитым ритором Молоном Родосским, который дважды посещал Рим².

Сам Цицерон неоднократно говорил впоследствии, что его юность была целиком отдана занятиям, что он посвящал им «дни и ночи» напролет³. Интересно отметить, что, несмотря на свое полудетское восхищение личностью Мариа и даже на отдаленное родство с ним (тетка Мариа была родной бабкой Цицерона), он все годы господства марианцев хотя и находился в Риме, но держался в тени, не принимал никакого участия в общественной жизни и именно в эти годы усиленно занимался изучением философии, права и риторики. Примерно к этому же времени следует отнести его первый «научный труд» — учебное пособие по риторике, называемое обычно «О подборе материала» («*De inventione*») и дошедшее до нашего вре-

¹ *Cic.*, leg., 1, 13.

² *Cic.*, Brut., 89.

³ *Cic.*, Cael., 72; Brut., 308.

мени. Эта работа носила чисто компилятивный характер и была построена по образцу (и на основе!) аналогичных греческих руководств и пособий. В последующие годы сам Цицерон отзывался о своем юношеском труде как о произведении незрелом и незавершенном¹.

Первая из дошедших до нас судебных речей Цицерона относится к 81 г. Молодой, 25-летний адвокат защищал в этой речи интересы некоего Публия Квинкция, который был шурином актера Росция, бывшего в свою очередь в близких отношениях с Цицероном. Он, видимо, и рекомендовал молодого адвоката. Участие Цицерона в данном процессе и защита Квинкция имели определенное значение для его дальнейшей карьеры. Цицерон, как начинающий деятель, как человек незнатного рода и даже не коренной римлянин, т. е., говоря другими словами, homo novus, вынужден был с самого начала искать покровительства какой-либо знатной римской фамилии. Его наставник в области декламации Росций был вольноотпущенником семьи Росциев — представителей муниципальной аристократии. В свою очередь семья Росциев была довольно тесно связана с Метеллами — одним из знатнейших и влиятельнейших римских родов. Все эти связи и взаимоотношения, несомненно, учитывались Цицероном и были для него далеко не безразличны.

Речь в защиту Публия Квинкция, как уже отмечено, — первая из сохранившихся до наших дней судебных речей Цицерона. Но если верить самому оратору, то это не первое его выступление в процессах². Что же касается дела Квинкция, то оно имело чисто гражданский и частный характер и возникло в результате весьма неблагоприятных действий компаньона этого молодого, неопытного человека. Нам точно не известен исход процесса, но, судя по тому, что уже в следующем году Цицерон был приглашен защищать члена самого рода Росциев, можно предположить, что защита Квинкция принесла успех молодому адвокату.

Дело Росция вызвало гораздо более широкий резонанс в римском обществе. Это объяснялось прежде всего тем, что оно имело определенный политический оттенок. Подобное значение процесса, его связь с общим

¹ *Cic., orat.*, 1, 2, 5.

² *Cic., Quin.*, 1, 4.

«положением дел в государстве»¹ подчеркивались самим Цицероном в первых же вступительных фразах его речи.

Суть рассматриваемого дела заключалась в следующем. В конце 81 г. на улице Рима был убит Секст Росций, богатый землевладелец из города Америи (Умбрия). Два его родственника, Т. Росций Капитон и Т. Росций Магн, которые и были, по всей вероятности, организаторами этого убийства, заключили сделку с весьма влиятельным человеком, любимцем и отпущенником Суллы — Л. Корнелием Хрисогоном. Целью сделки был захват имущества погибшего и лишение права на него законного наследника, т. е. Секста Росция-сына.

Имя убитого, хотя он и был сторонником Суллы, включили задним числом в проскрипционные списки. Вследствие этого наследство Росция пошло с молотка, и его купил за бесценок с торгов сам Хрисогон. Три поместья убитого он отдал Капитону, а остальные десять предоставил в аренду Магну. Секст Росций-сын был безжалостно изгнан ими из своих же владений. Беззаконие творилось столь открыто и цинично, что вызвало крайнее возмущение жителей Америи. Тогда окончательно распоясавшиеся Капитон и Магн попытались лишить жизни и Секста Росция-сына; когда же им это не удалось, против законного наследника было выдвинуто обвинение в отцеубийстве.

Сложность процесса, и в частности защиты Росция, состояла в том, что в интересах обвиняемого следовало не обходить, а всячески подчеркивать хотя и косвенное, но вместе с тем решающее участие Хрисогона в этом деле. Вот почему как ни старался Цицерон доказать, что высокий покровитель Хрисогона, т. е. Сулла, ничего не знал, да и не мог знать, будучи занят делами огромной государственной важности, о недостойных действиях и поступках своего любимца, как ни стремился он превознести «ум, военную силу и счастье» Суллы, «воскресившего и упрочившего величие римского государства»², тем не менее разоблачение Хрисогона требовало определенного гражданского мужества. Кроме того, оно всегда могло быть расценено,

¹ *Cic., Rosc. Am., 2.*

² *Cic., Rosc. Am., 130—132; 136.*

независимо от субъективных намерений Цицерона, как замаскированный выпад против самого всесильного диктатора.

Поэтому едва ли можно согласиться с точкой зрения некоторых современных ученых, что защита Росция не подвергала Цицерона никакой опасности¹. Его речь и последовавшее затем оправдание Росция принесли ему сразу успех и громкую славу. Но в этом-то и состояла опасность. Видимо, более прав Плутарх, когда он считает, что отъезд Цицерона из Рима был вызван боязнью мести со стороны Суллы или, вернее, его окружения, а ссылки на нездоровье и советы врачей — лишь удобный, но все же предлог².

Цицерон отсутствовал два года. За это время он посетил Афины, Малую Азию и Родос. В Афинах, где он был вместе со своим братом Квинтом и Титом Помпонием Аттиком, он слушал знаменитого в то время философа, представителя так называемой третьей Академии — Антиоха Аскалонского. На Родосе он познакомился с Посидонием и продолжал заниматься со своим старым учителем Аполлоном Молоном, под руководством которого он и выработал окончательный стиль своего красноречия — стиль, объединяющий некоторые элементы двух школ ораторского искусства: строгого аттицизма и пышного, многословного азианизма.

Годы учения заканчивались. Существует известный анекдот, приводимый Плутархом. Однажды Аполлоний Молон, не знавший латинского языка, попросил Цицерона произнести речь по-гречески. Выслушав молодого римлянина, знаменитый профессор долго молчал и наконец сказал: «Хвалю тебя, Цицерон, и удивляюсь твоему искусству, но скорблю о судьбе Греции: единственное наше преимущество и последняя наша гордость — образованность и красноречие — и это теперь благодаря тебе отвоевано у нас римлянами»³.

За те два года, что Цицерон путешествовал, в Риме произошли важные события. В 79 г. Сулла добровольно сложил с себя диктаторские полномочия, удалился в свое поместье, где вскоре и умер (78 г.). Созданный им

¹ См., напр., *M. Gelzer. Cicero. Wiesbaden, 1969, S. 23.*

² *Plut., Cic., 3.*

³ *Plut., Cic., 4.*

режим тоже оказался недолговечным, политическая обстановка после его смерти заметно изменилась. Цицерон возвращается в Рим, но не спешит пока принять участие в политической жизни, занимая некоторое время выжидательную позицию. По этой причине он даже удостаивается таких прозвищ, как «грек», «ученый», причем то и другое, по свидетельству Плутарха, в устах римской «черни» звучало как бранные выражения¹. Выжидательная позиция Цицерона, его временный «абсентеизм» объяснялись, по-видимому, событиями сугубо личного порядка: вскоре после своего возвращения с Востока он женится на Теренции, девушке из почтенного римского рода, принесшей ему к тому же достаточно солидное приданое. Судя по некоторым известным нам штрихам и деталям, это был союз, заключенный не столько по любви, сколько по трезвому расчету, однако он длился тридцать лет, и Теренция подарила своему супругу сначала дочь, а затем и сына.

* * *

В 76 г. Цицерон был избран квестором. Это избрание можно рассматривать как начало его общественно-политической карьеры. В качестве квестора он отправился в Сицилию, которой управлял в то время пропретор Секст Педуцей. Местом пребывания Цицерона был город Лилибей в западной части острова, а главной задачей, которая встала перед ним, — организация бесперебойного снабжения Рима хлебом. С этой задачей Цицерон справился блестяще, более того, он сумел внушить уважение сицилийцам и заслужить репутацию честного, добросовестного и неподкупного правителя. Не будучи от природы склонен к преуменьшению собственных заслуг, Цицерон считал, что слава о его мирных подвигах в Сицилии далеко перешагнула границы острова. Однако в самое ближайшее время ему пришлось в этом глубоко разочароваться.

Возвращаясь из своей провинции в Рим, он задержался ненадолго в Сиракузах, где пытался разыскать могилу Архимеда. Однако никто из жителей не знал, где похоронен знаменитый ученый. Проявив большую

¹ *Plut., Cic., 5.*

настойчивость, Цицерон все же разыскал гробницу Архимеда, хотя сделать это было не так просто: она сплошь заросла терновником. Этот, казалось бы, достаточно наглядный пример бренности человеческой славы все же мало в чем убедил молодого, полного энергии и честолюбивых надежд римлянина. Как только он вступил на территорию Италии и повстречал своего знакомого, он рассчитывал сразу же услышать от него восторженные отзывы о своей деятельности в Сицилии и был глубоко уязвлен, когда выяснилось, что знакомый даже ничего не знает о ней. Но на сей раз он получил хороший урок. «Убедившись, — писал он позже, — что римский народ имеет весьма тупой слух, но острое зрение, я перестал заботиться о том, что будут люди обо мне слышать, но решил жить постоянно в городе, на виду у граждан и как можно ближе держаться к Форуму»¹.

И он, вернувшись в Рим, действительно стремился полностью реализовать им же самим намеченную программу. Он выступал защитником в ряде процессов, был доступен каждому и в любое время, его постоянно видели на Форуме. После квестуры Цицерон вошел в состав сената, где вскоре тоже приобрел репутацию выдающегося оратора. Занятый планами своей дальнейшей и столь счастливо начатой политической карьеры, Цицерон, кстати сказать, вовсе не стремился к должности народного трибуна, скорее даже избегал ее. Следующим этапом на его пути был эдилитет, которого он и достиг без особых трудов в 70 г. В качестве эдила он, однако, не прославился чрезмерной щедростью; общественные игры — организация их на свой собственный счет фактически входила в обязанности эдила — были проведены им три раза и с весьма скромной затратой средств. Но зато в то время, когда он еще искал эдилитета, к нему обратились его старые друзья-сицилийцы с просьбой взять на себя защиту их интересов и выступить обвинителем против бывшего наместника Верреса, который в течение трех лет грабил и притеснял жителей этой провинции с неслыханной наглостью и жестокостью.

Веррес был весьма колоритной личностью. Еще в бытность свою квестором в Галлии он присвоил себе

¹ Cic., *Planc.*, 64—66.

казенные деньги. Как легат, Веррес был бичом всей Малой Азии, но с особой свирепостью и еще небывалым размахом он начал действовать в Сицилии, став наместником острова. За три года своего хозяйничанья он так разорил эту цветущую некогда провинцию, что, по словам того же Цицерона, ее было совершенно невозможно восстановить в прежнем состоянии¹.

Процесс обещал приобрести громкую и скандальную известность. Во-первых, хищения, вымогательства и прочие преступления, чинимые Верресом открыто и беззастенчиво, претили даже тем, кто привык смотреть сквозь пальцы на лихоимство римских наместников в провинциях. Поэтому его грабительские действия, получившие к тому же широкую огласку, возмущали не только самих потерпевших, т. е. сицилийцев, но и многих римлян. Во-вторых, вскоре стало известно, что некоторые видные оптиматы, некоторые представители знатных и влиятельных фамилий, например кое-кто из фамилии Метеллов и Корнелиев, покровительствуют Верресу, стремятся его выгородить, затягивая под тем или иным предлогом слушание дела.

Можно только удивляться энергии и мужеству, с которыми взялся за подготовку обвинения Цицерон. Ему предстояло прежде всего разорвать целую сеть хитросплетений и неожиданных препятствий, подготовленных сторонниками и ходатаями Верреса. Так, например, уже после того, как Цицерон дал согласие выступить обвинителем в процессе, появился некто Квинт Цецилий, претендующий на ту же самую роль. Цицерон не без оснований считал, что новоявленный претендент — ставленник самого Верреса. Выбор судьями обвинителя из двух (или нескольких) кандидатов производился на основании речей претендентов и назывался, как и самые речи, дивинацией. Первая речь, которую Цицерон произнес на процессе Верреса, и была такой дивинацией против Квинта Цецилия. Она увенчалась полным успехом, несмотря на то что Веррес через своего защитника, знаменитого адвоката Гортензия, сделал попытку подкупить некоторых судей.

Но это было далеко не все. Веррес стремился оттянуть разбор дела до 69 г., до того времени, когда всту-

¹ *Cic., Verr.*, 1, 12.

пят в свои должности вновь избранные консулы и преторы. Это было для него чрезвычайно важно, ибо на выборах — не без соответствующего вложения его собственных средств — прошли вполне благоприятные для него кандидаты. Кроме того, по существующему порядку, дело должно было разбираться в двух сессиях, что тоже грозило обернуться определенной задержкой процесса.

Цицерон сумел преодолеть и эти препятствия. Действуя необычайно энергично, он за 50 дней объездил всю Сицилию, собрал огромный материал, нашел и подготовил необходимых свидетелей. Кроме того, когда 5 августа началось слушание дела в первой сессии, он отказался от обычного порядка ведения процесса и после краткой вступительной речи перешел сразу к показаниям свидетелей и чтению подлинных документов.

При таком порядке судопроизводства первая сессия длилась всего девять дней. Улик и бесспорных обвинений против Верреса оказалось столько и выглядели они так убедительно, что положение обвиняемого с первых же дней процесса стало безнадежным. Когда же один из свидетелей рассказал, как Веррес противозаконно подвергнул позорной казни — распятию на кресте — римского гражданина, народ пришел в ярость и чуть было не растерзал обвиняемого.

Но Веррес не только подвергнул этого римского гражданина рабской казни, он и самую казнь организовал изощренно-издевательски. Поскольку казнимый все время взывал к отеческим законам, к правам и свободе римского гражданина, Веррес приказал воздвигнуть крест на берегу пролива, откуда была видна Италия. «Надобно, — сказал он, — чтобы осужденный видел родную землю, чтобы он умер, имея перед своими глазами желанную свободу и законность!»¹

Раздавленный тяжестью улик и свидетельских показаний, уже на третий день процесса Веррес не явился в суд и затем, оставленный своим патроном и защитником Гортензием, добровольно удалился в изгнание. Суд и приговорил его к изгнанию, а также к уплате 3 млн. сестерциев в качестве возмещения за причиненные сицилийцам убытки.

¹ Cic., Verr., 2, 5, 170.

Процесс был блестяще выигран. Пять речей, заготовленные Цицероном для второй сессии, но так и не произнесенные, были им изданы вместе с речью в первой сессии и дивинацией против Цецилия. Все они сохранились до нашего времени и представляют собой не только первоклассный памятник литературы и ораторского искусства, но и ценнейший исторический источник.

На основании этих речей можно составить четкое представление о системе римского провинциального управления со всеми его специфическими чертами, со всеми его уже ясно ощутимыми в эпоху Цицерона недостатками. Определенный интерес представляет и критика судов, находившихся после реформ Суллы снова в руках сенаторов. Цицерон приводит многочисленные примеры подкупности судей-сенаторов и утверждает, что в то время, когда судьями были всадники, не возникало даже каких-либо подозрений в подкупе. Речи против Верреса примечательны еще тем, что здесь, пожалуй, впервые Цицерон выступает как представитель своего сословия, и под «новыми людьми» (*homines novi*) он разумеет именно всадников.

Выигрыш процесса против Верреса и победа над знаменитым оратором Гортенziem превратили Цицерона в самого модного и популярного адвоката в Риме. Его наперебой приглашают в качестве защитника, он, видимо, нередко получает теперь солидные гонорары. В 70—67 гг. он неоднократно выступал в гражданских процессах: до нас дошли фрагменты его речей за М. Фонтея, пропретора Галлии, за П. Опция, бывшего квестором у консула М. Аврелия Котты и, наконец, полностью сохранилась его речь за А. Цецину, знатного и уважаемого человека из этрусского города Волатерры.

Успех Цицерона в процессе Верреса отразился не только на его популярности как адвоката, он, несомненно, оказал благотворное влияние и на его дальнейшее продвижение по лестнице государственных должностей. Летом 67 г. Цицерон был первым из всех кандидатов единодушно избран претором.

Теперь изменился и сам образ его жизни. Старое жилище в квартале Карины Цицерон после смерти отца оставил своему брату Квинту, а сам приобрел роскошный дом на Палатине, принадлежавший когда-то

известному трибуну Ливию Друзу. Очевидно, в это же время у него появилось и загородное владение, его Тускульская усадьба. В первом из дошедших до нас писем Цицерона, он, обращаясь к Аттику, пишет: «Тускульская усадьба радует меня так, что я бываю удовлетворен собою только тогда, когда туда приезжаю»¹. Кстати сказать, эти ранние письма к Аттику, который находился в то время в Афинах, наполнены бесконечными заботами и просьбами о присылке статуй, герм, барельефов и даже «каменных оград с изображениями для колодцев». Интересуется в этих письмах Цицерон и библиотекой Аттика².

Но все это — не более чем житейские мелочи. Цицерон стоял теперь, однако, перед главной задачей, перед главным и решающим шагом своей политической карьеры — достижением консулата. Для него — чужака, пришельца, «выскочки», задача была вовсе не простой и вовсе не легко достижимой. Тем более что его популярность как адвоката не могла компенсировать крайнюю нечеткость и неоформленность его политической позиции. Он попросту не имел еще твердой репутации политического деятеля.

Ситуация в целом была довольно сложной. Дело Верреса, принеся ему громкую славу, вместе с тем лишило его благосклонности кое-кого из бывших покровителей, например Метеллов. А между тем поддержка со стороны влиятельных людей, представителей старых и уважаемых римских фамилий, имевших достаточный вес и авторитет в сенатских кругах, была для него необходима. Надо было всеми силами укреплять сохранившиеся еще связи и срочно завязывать новые. Цицерон был теперь, конечно, и сам членом сенаторского сословия, он вполне сознавал это и гордился своей принадлежностью к элите, но всего этого было мало: необходимо, чтобы и сама элита тоже признавала его своим полноправным членом. Собственно говоря, о том же самом писал его брат Квинт в своем наставлении по соисканию консульства³.

Для достижения этой цели нужна была опора и в широких слоях римского населения. Но данный вопрос,

¹ *Cic., Att.*, 1, 6, 2.

² *Cic., Att.*, 1, 10, 3—4.

³ *Q. Cic., comm. pet.*, 4.

видимо, менее беспокоил Цицерона: он рассчитывал на свою репутацию бескорыстного борца за правое дело, которая всегда импонирует массам и которая уже дважды приносила ему триумфальный успех на выборах. Однако такую репутацию тоже следовало постоянно обновлять и поддерживать.

Политическую ориентацию Цицерона в эти годы, пожалуй, легче всего определить негативно. Его никоим образом нельзя причислять к крайним консерваторам, безусловным сторонникам сенатской олигархии, сулланцам, ибо его позиция в деле Росция и в деле Верреса достаточно недвусмысленно свидетельствовала об обратном. Но с другой стороны, он никогда не претендовал на роль народного вождя, демократического деятеля. В этом нетрудно убедиться, если вспомнить его поведение в годы господства марианцев и его нежелание добиваться трибуната. Его политическая позиция была достаточно осторожной, «средней», а потому и достаточно неопределенной.

Однако ситуация требовала большей определенности. Борьба за консулат не могла вестись на «полутонах». Цицерон прекрасно это понимал, и он неожиданно предпринял решительный и вместе с тем ловкий шаг — открытое публичное выступление в поддержку Помпея.

Помпей был в те годы, безусловно, наиболее популярной фигурой среди военных и политических деятелей Рима. Его успешные действия и эффектная победа над средиземноморскими пиратами в 67 г. сделали его буквально кумиром римской толпы. В политическом отношении — кстати, на это обстоятельство обычно не обращают внимания — он был даже чем-то близок Цицерону. Начав в ранней молодости свою карьеру как сторонник аристократии и даже как сулланец, он впоследствии стал тем политическим деятелем, не без участия которого и в консульство которого (совместно с Крассом) были полностью восстановлены prerogative народных трибунов, всадники снова получили доступ в суды, т. е. сулланская конституция, строго говоря, перестала существовать. Таков был «диапазон» Помпея как политического деятеля — от добровольного сподвижника Суллы и чуть ли не до вождя популяров. Причем в данный момент его политиче-

ские позиции, как и Цицерона, не отличались большой четкостью.

Поддержка Цицероном Помпея заключалась в том, что Цицерон выступил на Форуме с речью в защиту законопроекта трибуна Манилия. Это была первая чисто политическая речь знаменитого оратора. Суть дела сводилась к следующему. Римляне вели в это время на Востоке новую войну с понтийским царем Митридатом. После первых неудач римские войска под командованием Луция Лициния Лукулла добились крупных успехов, и Митридату пришлось даже бежать в Армению к своему тестю, армянскому царю Тиграну. Но в дальнейшем положение изменилось: Лукулл возбудил недовольство своих солдат, военные действия стали вестись вяло, и в результате Митридат снова утвердился в Понтийском царстве.

Именно в этой ситуации народный трибун Гай Манилий и внес в комиции предложение о передаче верховного командования в затянувшейся войне Гнею Помпею. По этому законопроекту Помпей получал неограниченную власть над всем войском и флотом на Востоке и права наместника во всех азиатских провинциях и областях вплоть до Армении.

Цицерон, конечно, прекрасно знал, что получение командования в войне с Митридатом и Тиграном было страстным желанием самого Помпея и что Манилий действовал с его ведома. Как претор, Цицерон имел право созывать народные сходки и обращаться к народу, чем он и воспользовался в данном случае для рекомендации законопроекта.

В своей речи Цицерон стремился обосновать три основных вопроса: характер войны, трудности ее ведения и, наконец, выбор полководца¹. Говоря о характере войны, он начал с того, что война должна стать возмездием Митридату за все его преступления против римлян. Но считая, видимо, этот моральный аргумент недостаточным, он подкреплял его соображением о том, что наряду с достоинством Римской державы и ее союзников речь идет о важнейших доходах, ибо подати и налоги, поступающие из Азии, намного превосходят доходы, получаемые от любой другой провинции. Затрагиваются, мол, имущественные интересы

¹ *Cic., Man., 6.*

всех граждан, ибо «кредит и все денежные дела, которые совершаются в Риме, на Форуме, тесно и неразрывно связаны с денежными оборотами в Азии»¹.

Затем Цицерон говорил о трудностях войны, о неудачах Лукулла и, хотя воздавал ему должное, вместе с тем подводил своих слушателей к выводу о необходимости смены полководца. И наконец, он переходил к обоснованию главного положения своей речи: предоставление верховного командования Гнею Помпею. «По моему мнению, — говорил Цицерон, — выдающийся полководец должен обладать следующими четырьмя качествами: знанием военного дела, доблестью, авторитетом и удачей»². И дальше доказывалось, что Помпей обладает не только всеми этими качествами, но и такими достоинствами, как бескорыстие, воздержанность, честность, ум и гуманность³.

В заключение речи Цицерон дважды подчеркнул, что он выступает в поддержку законопроекта Манилия не по чьей-либо просьбе, не из желания приобрести расположение Помпея, но исключительно ради интересов и блага государства⁴. Очевидно, такое заверение было далеко не лишним, этого требовала обстановка и «приличия», хотя убедительная его сила была, конечно, невелика.

Следует обратить внимание на одну фразу Цицерона в разбираемой речи. Одним из противников законопроекта Манилия был уже известный нам Гортензий. Он заявил: если следует облечь полнотой власти какого-то одного человека, то этого наиболее достоин Помпей, однако одного человека облекать полнотой власти как раз не следует. Возражая Гортензию и не соглашаясь с такой постановкой вопроса, Цицерон бросил примечательную фразу: «Устарели уже эти речи, отвергнутые действительностью в гораздо большей степени, чем словами»⁵.

Законопроект Манилия, как и следовало ожидать, был утвержден комициями, и Помпей, который в это время еще не вернулся в Рим после окончания борьбы с пиратами и потому находился в Киликии, принял

¹ *Cic., Man.*, 19.

² *Cic., Man.*, 28.

³ *Cic., Man.*, 36.

⁴ *Cic., Man.*, 70—71.

⁵ *Cic., Man.*, 52.

командование войсками. Выступление Цицерона в поддержку Помпея нередко рассматривается в литературе как пример, наиболее яркий и убедительный, его сближения с популярами, причем обычно и весь предыдущий период общественно-политической деятельности Цицерона тоже считается «популярным», демократическим, тем более что он сам некоторыми своими высказываниями — о них речь впереди — дает повод для подобного заключения. Так ли это на самом деле?

* * *

Ответ на поставленный вопрос неизбежно подводит нас к более широкой проблеме — к проблеме политических партий в Риме, т. е. к пониманию того, кем были в римских условиях оптиматы и популяры.

В западноевропейской историографии сравнительно долго — вплоть до начала XX в. — господствовала идущая еще от Друмманна и Моммзена концепция, о которой мы уже вскользь упоминали¹ и в соответствии с которой оптиматы и популяры рассматривались как две противостоящие друг другу политические партии, сложившиеся в Риме в эпоху Гракхов. Дальнейшее развитие политической жизни и борьбы трактовалось поэтому уже как проявление соперничества между данными партиями, а наиболее яркими примерами их соперничества считались такие факты, как господство марианцев в Риме, гражданская война, диктатура Суллы. По мнению некоторых исследователей, сюда следовало присоединить и заговор Катилины. Причем оптиматы всегда рассматривались как партия нобилитета, сенатская партия, т. е. партия правящих верхов, а популяры — как партия демократическая и потому, безусловно, оппозиционная. Таким образом получалось, что в Риме, во всяком случае в эпоху поздней республики, существовала своеобразная «двухпартийная система».

Впервые эта точка зрения была поколеблена исследованиями М. Гельцера², который пытался отойти

¹ См. выше, стр. 84—85.

² *M. Gelzer. Die Nobilität der römischen Republik. Leipzig, 1912; ego же. Caesar. München, 1942; ego же. Cicero. Wiesbaden, 1969.*

от модернизаторских представлений о политической борьбе в Риме и вскрыть специфику этой борьбы, подчеркивая значение фамильных связей и клиентелы.

В специальном исследовании, посвященном Цицерону, Гельцер считает возможным называть позднюю Римскую республику «оптиматской республикой» (*die Optimatengerublik*), но вместе с тем решительно выступает против представления об оптиматах и популярах как о политических партиях. Подобное представление он называет «произведением фантазии XIX века». Кроме того, он с полным основанием подчеркивает, что популяров никоим образом нельзя считать «демократами» в современном смысле слова, а понятие «оптимат» есть нечто большее, чем просто «сословное понятие»¹.

Следует, очевидно, снова отметить и тот факт, что идущая от Друмманна и Моммзена «двухпартийная» схема оказалась в свое время перенесенной в советскую историографию. Даже автор специального исследования о римских политических партиях Н. А. Машкин, предостерегая от модернизаторского понимания существа вопроса, тем не менее рассматривал оптиматов как партию аристократическую, а популяров — как партию демократическую².

Нам представляется, однако, что для восстановления более или менее адекватного значения интересующих нас понятий следует отправляться по мере возможности от высказываний и интерпретации этих понятий самими древними. И здесь мы невольно вынуждены вернуться снова к Цицерону, ибо термины «оптиматы» и «популяры», а также какие-то их определения встречаются впервые именно в его речах.

Наиболее известное и вместе с тем наиболее развернутое определение интересующих нас понятий дано в речи за Сестия (56 г.). Отвечая на прямо поставленный вопрос обвинителя, к какому, мол, «роду людей» принадлежат оптиматы, Цицерон говорит: «Всегда в нашем государстве было два рода людей, которые стремились к государственной деятельности и к выдающейся роли в государстве: одни из них хотели счи-

¹ M. Gelzer. Cicero, S. 13, 15, 22, 45, 63.

² См. Н. А. Машкин. Римские политические партии в конце II и в начале I в. до н. э. — ВДИ, 1947, № 3, стр. 126—139.

таться и быть популярными, другие — оптиматами. Те, действия и высказывания которых приятны толпе, — популярны, те же, чьи действия и намерения встречают одобрение каждого достойного человека, — оптиматы»¹. И здесь же дается более конкретное определение последнего из понятий: «Число оптиматов неизмеримо: это — руководители государственного совета, это те, кто следует их образу действий, это люди из важнейших сословий, которым открыт доступ в курию, это жители муниципиев и сельское население, это дельцы, это также и вольноотпущенники». Короче говоря, это все те, «кто не наносит вреда, не бесчестен по натуре, не необуздан и обладает нерасстроенным состоянием»².

В этой же речи Цицерон определяет и цель, к которой стремятся, по его мнению, оптиматы. «Самое важное и желательное для всех здравомыслящих честных и превосходных людей, — утверждает он, — это покой, сочетающийся с достоинством»³. Таким образом, все, кто стремятся к подобной цели, могут рассматриваться как оптиматы, причем независимо от принадлежности к тому или иному сословию, но лишь в зависимости от своих природных дарований, доблести, верности государственному устройству и обычаям предков⁴.

На основании этих высказываний и дефиниций можно, по-видимому, с большой долей вероятности утверждать, что оптиматы никак не могут считаться не только «партией» нобилитета, но и вообще какой-либо политической партией, какой-либо политически организованной и оформленной группой. Для Цицерона оптиматы, как мы только что могли убедиться, во-первых, достаточно широкий социальный слой: от нобилей до вольноотпущенника, во-вторых, понятие или образование межсословное.

Из всего этого, однако, не следует, что понятие «оптиматы» вообще лишено для Цицерона какой-либо политической окраски. В своих исторических экскурсах он не раз упоминает об оптиматах, об их роли в политической борьбе. Но в этих случаях дело обстоит тоже гораздо сложнее, чем представляется сторонни-

¹ *Cic., Sest.*, 96.

² *Cic., Sest.*, 97.

³ *Cic., Sest.*, 98.

⁴ *Cic., Sest.*, 137—138.

кам привычной «двухпартийной схемы», хотя, вероятно, на основе подобных экскурсов и строилась в современной историографии интерпретация борьбы во времена Гракхов или Мария и Суллы как борьбы между политическими партиями оптиматов и популяров.

В той же речи за Сестия говорится, что в истории Рима были такие периоды, когда стремления массы, выгоды народа не совпадали с пользой для государства. Луций Кассий предложил в свое время закон о тайном голосовании. Народ считал, что речь идет о его свободе, но руководители государства были опасались безрассудства и произвола толпы при голосовании. Затем Тиберий Гракх выступил со своим аграрным законом. Этот закон был приятен народу, поскольку он обеспечивал благополучие бедняков. Но закону воспротивились оптиматы, так как он, по их мнению, служил источником раздоров, кроме того, поскольку людей состоятельных удаляли из их постоянных владений, то государство лишалось защитников. Наконец, Гай Гракх предложил хлебный закон. Он также был приятен плебсу: пропитание предоставлялось без затраты труда. Но этому закону воспротивились уже все порядочные люди, считая, что он отвлекает плебе от работы, приучает его к праздности и истощает государственную казну¹.

Данный исторический экскурс, конечно, можно рассматривать как некое краткое, даже конспективное описание борьбы оптиматов против реформ Гракхов, но и в таком случае нельзя признать, что речь идет о борьбе двух противостоящих друг другу политических группировок или партий. Ибо в приведенном отрывке оптиматы противопоставляются вовсе не популярам, но либо народным массам (*multitudo, populus*), либо плебсу. Кроме того, если внимательно проследить самый характер противопоставлений, то нетрудно заметить, что Цицерон имеет в виду вовсе не политическую, а скорее социальную, даже имущественную дифференциацию: противопоставление людей зажиточных, «с нерасстроенным состоянием» беднякам.

Все это еще раз говорит за то, что нет никаких ос-

¹ *Cic., Sest.*, 103.

нований на материале данного экскурса конструировать вывод о возникновении в Риме в эпоху Гракхов политических партий. Подобный вывод был бы столь же необоснован, как и заключение о возникновении такого же рода партий еще при Ромуле на том только основании, что Цицерон однажды упомянул о создании Ромулом сената именно из оптиматов¹.

Второй краткий экскурс, который уточняет отношение Цицерона к интересующему нас вопросу, содержится в речи «Об ответах гаруспиков», произнесенной также в 56 г. Здесь Цицерон ссылается на предостережение жрецов-гаруспиков против раздоров и разногласий среди оптиматов и приводит примеры подобных раздоров: речь идет снова о Гракхах, Сатурнии, Сульпиции Руфе², но затем говорится уже о борьбе Мария и Суллы, Октавия и Цинны³.

Таким образом, и в данном отрывке речь идет о политической борьбе, но о борьбе внутри той социальной категории, которую Цицерон называет оптиматами, и поэтому все перечисленные деятели для него — оптиматы, но только оптиматы, сбившиеся с правильного пути, «испортившиеся» вследствие взаимных раздоров и соперничества. Следовательно, и борьба между сулланцами и марианцами отнюдь не борьба двух противостоящих друг другу политических группировок (оптиматов и популяров), но тоже пример раздоров среди «лучших», среди «прославленных и высокозаслуженных граждан»⁴.

Подводя некоторый итог, можно сказать, что социальное содержание, вкладываемое Цицероном в термин «оптиматы», показывает, насколько далеко отстоит для него это понятие от представления о «партии» нобилитета. Итак, оптиматы — это благонамеренные и состоятельные граждане, независимо от своей принадлежности к тому или иному сословию. Это — порядочные, образованные, интеллигентные люди, противопоставляемые грубой и необразованной массе, толпе, так сказать «чистая публика» в отличие от «простого народа». Именно в этом смысле и упо-

¹ *Cic.*, *rep.*, 2, 23.

² *Cic.*, *har. resp.*, 40—41.

³ *Cic.*, *har. resp.*, 53—54.

⁴ *Cic.*, *har. resp.*, 53.

требляет Цицерон термин «оптиматы» не только в речах¹, но и в теоретических произведениях² и даже в частных письмах³. Причем если Цицерон сознательно «расширяет» интересующее нас понятие, то все же его никак невозможно свести к представлению о «партии нобилитета».

Все вышензложенное проясняет, на наш взгляд, в достаточной степени отношение Цицерона к оптиматам и его трактовку этого понятия. Остается выяснить значение термина «популярны».

Понятия «популяр», «популярный» неоднократно встречаются в источниках, но до Цицерона этим понятиям едва ли придавалось политическое значение. Цицерон же впервые определяет термин «популярны» опять-таки в речи за Сестия, к которой мы уже обращались.

Как мы уже могли убедиться, в этой речи популярны определяются как особый род политиков, действующих в угоду массе, «толпе». Примерно такая же характеристика дана и в других речах⁴, причем Цицерон подчеркивает, что существуют и «лжепопулярны», т. е. популярны лишь на словах, а на деле «крикуны на народных сходках»⁵. Такие люди не могут считаться истинными защитниками народных интересов.

Популярны выступают против чрезмерной и исключительной роли сената, против злоупотребления магистратов властью, против стремления к тирании. Популярны борются за неприкосновенность комиций, за расширение их власти, ибо в государстве не должно ничего происходить помимо воли народа. Популярны хотят управлять государственными делами вместе с комициями (а не с сенатом, как оптиматы!), и именно поэтому они нуждаются в поддержке и благоволении народа. Итак, главное в политическом содержании термина «популяр» — это забота о народе и защита его интересов. Популярными нередко бывают представители знатнейших родов, сенаторы, хотя в сенате

¹ Ср. *Cic., Flac.*, 58; *Cat.*, 1, 7.

² *Cic., rep.*, 1, 48; 50; 65; 2, 23; 41; 3, 47; *leg.*, 2, 30; 3, 10; 33; 38.

³ *Cic., Att.*, 1, 20; 9, 11; 14, 21; *Q. fr.*, 1, 1.

⁴ *Cic., Rab.*, 15; *Cat.*, 4, 9.

⁵ *Cic., Cat.*, 4, 9; *cp. leg. agr.*, 2, 6—7.

они всегда в меньшинстве. Во всяком случае, популяры не какая-то четко оформленная, политически консолидированная группа или партия, но, скорее, определенный тип политически активных граждан, отстаивающих изложенную выше «народную» программу.

Можно ли считать популяров демократами если не в современном, то хотя бы в античном понимании этого слова? Видимо, можно, поскольку Цицерон, говоря о демократической форме правления, называет ее «популярной» (*civitas popularis*). Для него не существует принципиального различия между афинскими демократами и римскими популярами, ибо те и другие стремятся к тому, чтобы все дела в государстве вершились по воле народа. Народ, и только народ, — хозяин судов и законов, хозяин над имуществом и жизнью каждого гражданина. Вместе с тем основной показатель демократического строя — свобода действительно существует только при таком строе¹.

На этом можно завершить наш анализ понятий «оптиматы» и «популяры», вернее, вопрос об интерпретации этих понятий Цицероном. Но сразу же возникает сомнение: насколько закономерно ограничиться в данном случае одним Цицероном, т. е. только его трактовкой и определениями? Мы склонны ответить на этот вопрос положительно, ибо а) только Цицерон и дает более или менее развернутое определение интересующих нас понятий; б) многие авторы вообще не знают или не пользуются терминами «оптиматы» (например, Саллюстий) и «популяры» (например, Цезарь, Тацит и др.); в) те авторы, которые так или иначе используют соответствующие термины-понятия, употребляют их в контексте и смысле, во всяком случае не противоречащих интерпретации Цицерона (Тит Ливий, Корнелий Непот и др.).

И наконец, последний вопрос: если оптиматов и популяров нельзя, как мы то стремились доказать, считать политическими партиями, то значит ли это, что в Риме вообще не существовало политически оформленных организаций? Значит ли это, что нельзя говорить о каком-либо «партийном» оформлении социальной и политической борьбы в Риме?

¹ *Cic.*, *rep.*, 1, 32; 47; 3, 23.

Вопрос этот далеко не прост. Конечно, если иметь в виду понятие «партия» в его современном значении, т. е. когда подразумевается наличие не только твердо фиксированной программы, но и определенной организации: членство, партийный аппарат и т. п., то все это абсолютно неприменимо к условиям политической жизни римского общества. С другой стороны, как мы только что убедились, нельзя считать «партией» ни оптиматов, ни популяров. Недаром, неоднократно упоминая о них, Цицерон никогда не называет их *pars*, а говоря о *partes*, он никогда не связывает это понятие с оптиматами и популярами¹. Но зато тот же Цицерон не раз употребляет термин *pars* в необычном для нас сочетании — с личными именами, т. е. «партия Помпея» (*pars Pompeiana*), «партия Клодия» (*pars Clodiana*) и т. д.

Это отнюдь не случайное словоупотребление. Наличие подобных личных или персональных «партий» — своеобразная и вместе с тем характерная черта политической жизни Рима. Речь идет о том, что вокруг отдельных политических деятелей, как оптиматов, так и популяров, складывалось некое более или менее постоянное окружение, свита. Подобное окружение возникало на основе таких традиционных связей, как патронат и клиентела, родственные отношения, отношения с вольноотпущенниками, институт «дружбы» (*amicitia*), который имел у римлян особое и специфическое значение. Иногда в состав этого окружения включались даже вооруженные отряды: рабы, отпущенники и, если пользоваться терминологией Цицерона, «наемники» (*mercenarii*). Нам известно, что такой отряд, состоящий в основном из клиентов, отпущенников и наемников, привел на помощь Сулле в свое время молодой Помпей, впоследствии такими же примерно отрядами располагали и использовали их в политической борьбе Клодий и Милон.

Теперь мы можем вернуться к тому вопросу, который возник у нас в связи с выступлением Цицерона за закон Манилия: можно ли стремление Цицерона сблизиться с Помпеем считать показателем его перехода в лагерь популяров и вообще весь ранний (докон-

¹ См., напр., *Cic.*, *пер.*, 1, 31.

сульский) период деятельности Цицерона расценивать тоже как «популярный», демократический?

Выше было сказано о неопределенности политической ориентации Цицерона. В данном случае мы имеем все основания для более решительных выводов, поскольку речь идет не о том, кем был Цицерон, а скорее о том, кем он не был. На самом деле ни один факт и ни одно высказывание не свидетельствуют о демократических убеждениях или хотя бы только симпатиях Цицерона, даже в том смысле, в котором он сам понимал тактику и «программу» популяров. Правда, в дальнейшем, уже по достижении консульства, Цицерон будет именовать себя «истинным популяром», но демагогический характер этих сделанных *ad hoc* заявлений совершенно бесспорен. Они ни в малейшей степени не соответствуют действиям Цицерона как до, так и после консулата. Таким образом, ни о какой его идейной близости к популярам не может быть и речи. Истинное отношение Цицерона к этому «роду людей» определено достаточно точно и достаточно откровенно даже не им самим, а его братом Квинтом².

Тем более не может быть речи о близости организационной, поскольку популяры, как мы и пытались показать, не были вообще организационно оформленной группой. Поэтому если и говорить о сближении Цицерона с Помпеем, то это должно означать лишь одно: сближение именно с Помпеем, быть может, вступление в его круг, в его «свиту», т. е. в *pars Pompeiana*.

В таком сближении Цицерон был, бесспорно, заинтересован. Трудно, конечно, сказать, когда именно — в ходе борьбы за консулат или уже после того, как цель была достигнута, — складывается у Цицерона некое воззрение, некая концепция, «персонализируя» которую он вполне мог иметь в виду и себя и Помпея. Концепция эта в общей форме была сформулирована им так: «Есть два рода деятельности, которые могут возвести человека на высшую ступень достоинства: деятельность полководца или выдающегося оратора. От последнего зависит сохранение благ мирной жизни, от

¹ *Cic.*, leg. agr., 1, 23; 2, 6; 7; 9; 15; 402.

² *Q. Cic.*, comm. pet., 5.

первого — отражение опасностей войны»¹. И хоть дальше говорится, что нашествие врагов и война заставляют «Форум склониться перед лагерем, мирные занятия перед военным делом, перо перед мечом, тень перед солнцем»², но все же ясно, что для полного процветания государства как в условиях мира, так и войны необходим союз «меча» и «пера». Имея в виду сближение с Помпеем перед консульскими выборами на 63 г. или уже в ходе борьбы с Катилиной, ожидая вооруженного столкновения с набранными им войсками, Цицерон, конечно, должен был уповать не только на свое «перо», свое красноречие, но и на «меч» Помпея. Что-бы не заходить слишком далеко, не будем утверждать, что он уже тогда рассчитывал на некий дуумвират в его конкретном и персональном воплощении, но разве возможность каких-то переговоров, какого-то объединения с Помпеем на почве взаимных интересов, связывающих «перо» и «меч», была столь нереальна?³

Как бы то ни было, главной и первоочередной задачей, стоящей ныне перед Цицероном, была борьба за консулат, предвыборная кампания. Ради нее он отказывается от управления провинцией после окончания срока претуры. Его письма этих лет к Аттику полны всяких соображений и расчетов, связанных с предстоящими выборами. Он обсуждает шансы своих соперников, он, учитывая значение голосов живущих в Галлии римских граждан, готов ехать туда в качестве легата к проконсулу Писону⁴. Более того, в одном из писем он сообщает о своем желании защищать в суде своего соперника Катилину в расчете на его «более дружественное отношение в деле соискания», хотя в предыдущем письме сам говорит о том, что Катилина может быть оправдан лишь в том случае, «если суд решит, что в полдень не светло»⁵. Судя по всем данным, Цицерону в это время (т. е. в середине 65 г.) еще ничего не было известно о так называемом первом заговоре Катилины.

В том же 65 г. Цицерон выступает в защиту народного трибуна Корнелия, который не посчитался с ин-

¹ *Cic.*, *Mur.*, 30.

² *Ibidem.*

³ Ср. *Cic.*, *fam.*, 5. 7. 3.

⁴ *Cic.*, *Att.*, 1, 1, 1—2.

⁵ *Cic.*, *Att.*, 1, 2, 1; ср. *Att.*, 1, 1, 1.

терцессией своего коллеги и, возможно, с речью, направленной против предложения превратить Египет в римскую провинцию, хотя датировка этой последней речи вызывает споры¹. От обеих речей до нас дошли только фрагменты, сохраненные античными комментаторами Цицерона.

К 64 г. относится известное «Наставление о соискании», написанное Квинтом Цицероном (на него нам уже приходилось ссылаться). Из этого наставления видно, насколько положение Цицерона осложнялось тем, что у него не было преимуществ происхождения, т. е. тем, что он — homo novus. Указывая на эти трудности, Квинт дает брату ряд практических советов. Два главных обстоятельства, по мнению Квинта, могут обеспечить голоса избирателей: помощь друзей и расположение народа². И того и другого следует добиваться энергично и всеми возможными средствами. Самый же важный совет заключается в том, «чтобы сенат решил на основании твоей прежней жизни, что ты станешь защитником его авторитета, чтобы римские всадники и все честные и богатые люди сочли на основании твоего прошлого, что ты будешь поддерживать тишину и общественное спокойствие, а толпа, на основании того, что ты любим народом, хотя бы за речи на Форуме и в суде, считала, что ее выгоды тоже не будут тебе чужды»³. И наконец, «Наставление» в целом обрамляет особое напоминание, которое звучит как некий рефрен: «Вот о чем ты должен размышлять чуть ли не ежедневно, спускаясь на Форум: я — человек новый, я — добиваюсь консульства, а это — Рим»⁴.

Цицерон сумел использовать все эти — и не только эти! — советы. Кое в чем ему помогли сами его соперники. Тот факт — или слух, — что Антония и Катину поддерживали Цезарь и Красс, в данный момент только ухудшал их шансы. Цицерон, используя ситуацию, нанес хорошо рассчитанный удар: в своей речи «кандидата в консулы» (*in toga candida*), которая известна нам в отрывках, он обрушился на обоих

¹ M. Gelzer. Cicero, S. 66 (ann. 63).

² Q. Cic., comm. pet., 16.

³ Q. Cic., comm. pet., 53.

⁴ Q. Cic., comm. pet., 3; 54.

своих наиболее опасных соперников, вскрывая преступное прошлое этих сулланцев и открыто обвиняя их (в глазах сенаторов это было самое страшное обвинение!) в стремлении к государственному перевороту.

И вот — свершилось! Выборы снова принесли Цицерону триумфальный успех. Он был избран первым и голосами всех центурий. Что касается его соперников, то Катилина не прошел вовсе, коллегой же Цицерона оказался все-таки Антоний. Для Цицерона это избрание было свершением всех его самых заветных и честлюбивых желаний, высшей точкой его политической карьеры. Особенно он гордился тем единодушным, с которым была принята его кандидатура. Об этом он сам, обращаясь к римлянам, говорил так: «Наиболее прекрасное и лестное для меня то, что во время моих комиций вы не табличками, этим безмолвным залогом свободы, но громкими возгласами выразили свое рвение и свое расположение ко мне. Таким образом я был объявлен консулом даже не после окончательного подсчета голосов, но в первом же вашем собрании, не голосами отдельных глашатаев, но единым и общим голосом всего римского народа»¹. Всем этим действительно мог законно гордиться безродный выходец из маленького городка, не имевший никаких военных отличий, выскочка, *homo novus*, ныне столь триумфально выдержавший соперничество с представителями знатнейших и стариннейших римских фамилий. Это была самая подлинная, самая настоящая и безусловная победа.

¹ *Cic.*, leg. agr., 2, 4; ср. *Vat.*, 6; *Pis.*, 3.

Консульство Цицерона. Заговор Катилины

5

1 января 63 г. Цицерон приступил к исполнению своих новых обязанностей — почетных обязанностей высшего должностного лица Римской республики. Как и требовал обычай, он созвал в этот день сенат и произнес программную речь. Цицерон посвятил свое первое консульское выступление наиболее актуальному в то время вопросу об аграрном законопроекте народного трибуна Сервилия Рулла.

Суть широко задуманного законопроекта Рулла сводилась к следующему. Речь шла о наделении землей малоимущего населения, главным образом путем основания новых колоний на территории самой Италии. Так как неразделенных государственных земель (*ager publicus*) в Италии оставалось очень немного, то предусматривалась широкая закупка частной земли у итальянских владельцев с их согласия и за полную стоимость. Средства для этих закупок должны были образоваться в результате распродажи земель в провинциях, а также использования новых территорий, завоеванных Помпеем.

Для проведения закона в жизнь предполагалось образование комиссии децемвиров. Избрание этой комиссии было поставлено необычно. Децемвиров должны были избирать в народном собрании (трибутных комициях), но не во всех 35 трибах, а лишь в 17, назначенных по жребию. Таким образом, для избрания комиссии было достаточно большинства в девять триб. Избранными могли быть лишь те кандидаты, которые в это время находились в Риме, что, кстати сказать, исключало возможность избрания

Помпея, поскольку он еще воевал на Востоке. Децемвиры избирались на пять лет, они пользовались правами пропреторов, им придавался большой вспомогательный персонал, они могли по своему усмотрению отчуждать любые земли, признанные ими государственными, или же оставлять их владельцам, назначив арендную плату. Таков был этот широко задуманный план аграрной реформы, истинными авторами которого в Риме считали даже не Рулла, но стоящих за его спиной двух политических деятелей — Цезаря и Красса.

Законопроект готовился тщательно и долго. Цицерон, будучи уже избран консулом, но еще не имея права выполнять свои обязанности (так называемый *consul designatus*), пытался вступить в переговоры с народными трибунами и добиться какого-то соглашения с ними. Однако эти попытки не увенчались успехом: народные трибуны, занятые подготовкой аграрного закона, явно не доверяли вновь избранному консулу, но вместе с тем продолжали «устраивать тайные собрания под покровом ночи и в уединенных местах»¹. Наконец текст закона был опубликован и Цицерон получил возможность с ним ознакомиться.

Выше говорилось о том, что этому законопроекту он посвятил свою первую «консульскую» речь. Кстати, данный термин принадлежит самому Цицерону. В одном из писем к Аттику он говорит — со ссылкой на пример Демосфена — о своем намерении подготовить сборник речей, которые назывались бы «консульскими»². Здесь же дается перечень этих речей; из него явствует, что аграрному законопроекту было посвящено целых четыре. Правда, последние две, как указывает сам автор, были весьма краткими и напоминали, скорее, «извлечения из речей об аграрном законе»³. Что касается сохранности речи, то до нас дошли лишь три речи, относящиеся к законопроекту Рулла, причем первая и последняя — в отрывках; полностью сохранилась только вторая, произнесенная перед народом.

¹ *Cic.*, leg. agr., 2, 11—13.

² *Cic.*, Att., 2, 1, 3.

³ *Ibidem.*

Первая речь завершается обращением к сенаторам и торжественным заверением восстановить авторитет «нашего сословия»¹, вторая же начинается с утверждения, что он консул-популяр, защитник интересов народа². Правда, справедливость требует отметить — это, конечно, не забывает подчеркнуть и сам Цицерон³, — что в речи, произнесенной в сенате, он тоже имел смелость говорить о себе как о консуле-популяр⁴. Это, безусловно, так и есть, но что в данном случае подразумевалось под таким определением?

И в первой и во второй речи Цицерон разъясняет своим слушателям, что он не только популяр, но популяр истинный — не на словах, а на деле. Это разъяснение дает ему возможность сразу же противопоставить себя «лжепопуляр», т. е. определенной категории популярных, и вместе с тем сохранить за собой право на самое название. Более того, подобная постановка вопроса позволяет обрушиться с критикой на законопроект Рулла не сточки зрения оптимата, сенатора, но с позиций истинного друга и защитника народа, лучше других — в том числе и самого народа! — понимающего, в чем состоят его подлинные интересы.

Критика аграрного законопроекта во второй речи отличается от того, что говорил Цицерон в сенате, прежде всего этим чисто демагогическим «обрамлением». Цицерон начинает свое обращение к народу с заявления, что у него нет возможности сослаться на именитых предков, что он — человек новый, всем обязанный милостям народа. Именно здесь он не упускает случая подчеркнуть особо почетный характер своего избрания — до окончательного подсчета голосов, т. е. как бы «единым голосом всего римского народа»⁵. Но если это так, то как же он может не быть преданным народу консулом, защитником его интересов! И дальше высказывается главная мысль: необходимо правильное истолкование значения и смысла этих слов, «ибо повсюду распространено глубокое заблуждение, связанное с коварством тех людей, которые, посягая не только на благополучие, но даже на

¹ *Cic.*, *leg. agr.*, 1, 27.

² *Cic.*, *leg. agr.*, 2, 6—7; ср. 9; 15.

³ *Cic.*, *leg. agr.*, 2, 6.

⁴ Ср. *Cic.*, *leg. agr.*, 1, 23.

⁵ *Cic.*, *leg. agr.*, 2, 4.

безопасность народа, хотят снискать своими речами славу истинных популяров»¹.

Но это, конечно, популяры только на словах, а не на деле. Это — «лжепопуляры». Именно они и предлагают такого рода аграрные законы и раздачи земель, которые тоже легко осуществить лишь на словах; на деле же их проекты способны только полностью опустошить казну. Вообще Цицерон вовсе не такой консул, который против земельных законов в принципе. Он даже готов воздать должное Гракхам и не считает, как некоторые другие консулы, положительный отзыв об их деятельности преступлением. Поэтому и с текстом данного законопроекта он ознакомился не только без всякого предубеждения, но даже с желанием защищать его, если только он действительно отвечает интересам народа².

После такой тщательно обдуманной подготовки есть, конечно, полная возможность перейти к критическому рассмотрению закона. Цицерон так и поступает, причем с позиций «истинного популяра» обрушивается прежде всего на «антидемократический» характер предложений Рулла. Он говорит, что закон от первой главы до последней составлен так, чтобы вручить децемвирам поистине царскую власть. «Царей, не децемвинов учреждают вам, квириты!»³ — патетически восклицает оратор. Затем он обыгрывает «антидемократический» пункт закона, в соответствии с которым децемвиры должны избираться лишь семнадцатью трибами. С явным преувеличением делается вывод о лишении римского народа права голоса и даже свободы⁴. Указывается и на то, что закон не предусматривает отвода кандидатов в связи с молодостью, с выполнением других государственных должностей и даже в связи с привлечением к суду, но зато требует личного присутствия для заявления о соискании, из чего становится ясно, что отводится всего лишь один кандидат — Помпей. Все это снова говорит о том, что законопроектом готовится царская власть, а свобода — уничтожается⁵.

¹ *Cic.*, leg. agr., 2, 7.

² *Cic.*, leg. agr., 2, 10; 15.

³ *Cic.*, leg. agr., 2, 29.

⁴ *Cic.*, leg. agr., 2, 15; 17.

⁵ *Cic.*, leg. agr., 2, 24.

В своем стремлении разоблачить «антидемократическую» сущность закона Цицерон ловит Рулла на слове, поскольку тот имел неосторожность в сенате высказаться о городском плебсе таким образом: его, мол, следует вычерпать. «Ведь он употребил именно это слово, — восклицает Цицерон, — как будто речь шла о стоке нечистот, а не о лучших и достойнейших гражданах!»¹ Насколько «искренним» было это возмущение Цицерона, мы можем судить на основании того, что впоследствии Цицерон неоднократно употребляет это же самое выражение и уже от своего имени².

Критика законопроекта по существу повторяет и развивает аргументы, высказанные еще в речи, произнесенной в сенате. Цицерон снова подчеркивает неограниченный характер власти децемвиров, говорит о возможности полного их произвола при продаже государственных земель, а также при покупке земельных владений частных лиц. Его особенно возмущает разрешение децемвирам совершать сделки по продаже не в самом Риме, а на местах — «во мраке Пафлагонии и в пустынях Каппадокии». Обрушивается Цицерон и на проект выведения колоний, в частности в Кампанию, в Капую, уверяя, что лучшие земли будут распределены между сторонниками децемвиров, а Капуя вообще может превратиться в опасного соперника Рима, который для пяти тысяч капуанских колонистов станет всего лишь предметом «насмешек и презрения»³.

По всей речи рассыпаны достаточно прозрачные намеки на тех, кто это все «задумал», «подстроил», на истинных «вдохновителей» Рулла⁴, т. е. на Красса и Цезаря. В заключение Цицерон обещает как консул-популяр обеспечить римскому народу самые важные для него блага: мир, спокойствие, досуг⁵. Но и это обещание оказывается при ближайшем рассмотрении демагогической передержкой, ибо в самом начале речи важнейшие для народа блага определялись несколько иначе: мир, свобода, досуг⁶. В данном же

¹ *Cic.*, *leg. agr.*, 2, 70.

² *Cic.*, *Cat.*, 2, 7; *Att.*, 1, 19, 4.

³ *Cic.*, *leg. agr.*, 2, 96.

⁴ *Cic.*, *leg. agr.*, 2, 8; 20; 23; 50; 98.

⁵ *Cic.*, *leg. agr.*, 2, 102.

⁶ *Cic.*, *leg. agr.*, 2, 9.

случае свобода (*libertas*) оказывается легко и непри-
метно подмененной спокойствием (*tranquillitas*)!

Таким образом, первые консульские речи Цицерона, речи, в которых тоже впервые и демонстративно он называет себя консулом-популяр, истинным защитником интересов народа, достаточно явно и недвусмысленно — причем гораздо определеннее, чем все предыдущие выступления, — свидетельствуют о его «антидемократических» позициях или, если пользоваться собственным, но несколько более поздним выражением Цицерона, о том, что он решил «держаться пути оптиматов»¹. Еще более решительно он говорит о переходе на этот путь, указывая даже точную дату, в письме к Лентулу Спинтеру: «В мое консульство, помню, уже с самого начала, с январских календ, были заложены прочные основания для укрепления сената»².

Активное противодействие Цицерона законопроекту Рулла и успех его выступлений привели к тому, что законопроект даже не ставился на голосование и был взят обратно самим Руллом. Провал этой акции свидетельствовал о том, что городской плебс не проявил достаточной заинтересованности в земельном вопросе, что же касается сельского плебса, то он к этому времени фактически утратил почти полностью свое бывшее политическое влияние.

Если победа Цицерона над Руллом (и теми, кто стоял за ним!) даровала консулу явное расположение сенаторского сословия, то вскоре благодаря одному сравнительно незначительному, но эффектному эпизоду, о котором рассказывает Плутарх, он заслужил не меньшее расположение всадничества. Претор Отон, будучи ранее народным трибуном, издал закон, в соответствии с которым всадникам в театре отводились специальные 14 рядов. Как-то, когда Отон появился в театре и его узнали, он был освистан. Всадники пытались взять его под защиту, началась перебранка, могло произойти серьезное столкновение. Положение спас Цицерон. По словам Плутарха, он вызвал народ из театра, собрал его у храма Беллоны, и, выслушав укоры и увещания консула, все вернулись в театр и

¹ *Cic., Att.*, 1, 20, 3.

² *Cic., fam.*, 1, 9, 12.

вместе с всадниками стали восторженно рукоплескать Отону¹.

Вскоре после этого Цицерону пришлось выступить еще против одной акции популяров. Народный трибун Тит Лабиев, за спиной которого опять-таки стоял, по слухам, Юлий Цезарь, привлек к суду престарелого сенатора Гая Рабирия, обвинив его в убийстве трибуна Луция Аппулея Сатурнина.

Это убийство произошло в 100 г., т. е. 36 лет тому назад. Во время одной из вспышек гражданской войны на улицах Рима народный трибун Аппулей Сатурнин и его сторонники были осаждены на Капитолии войсками консула Мария, который действовал на основании распоряжения сената о чрезвычайном положении. Когда осажденные сдались, Марий гарантировал им неприкосновенность. Тем не менее Сатурнина убили. Это убийство было вдвойне незаконным: оно было совершено без всякого суда и без всякого участия комиций, которые только и могли решать вопрос о жизни или смерти римского гражданина, кроме того, личность трибуна считалась, как известно, священной и неприкосновенной.

Начиная теперь, в 63 г., процесс против Рабирия, обвиняемого в убийстве Сатурнина, вожди популяров стремились нанести удар сенатской олигархии, скомпрометировав, в частности, право сената выносить решение о введении чрезвычайного положения. При этом они пытались возродить архаическую и почти отжившую процедуру суда за тягчайшие государственные преступления (*perduellio*). В соответствии с этой процедурой дело Рабирия предварительно рассматривалось дуовирами, назначенными претором. Этими дуовирами в данном случае были Гай Юлий Цезарь и его родственник, консул 64 г. Луций Юлий Цезарь. Они вынесли обвиняемому смертный приговор.

Рабирий апеллировал к народу, и дело было перенесено в центуриатные комиции. Здесь его защищали Квинт Гортензий и Цицерон. Речь Цицерона сохранилась почти полностью. В ней он не только защищает Рабирия, но и нападает на его обвинителя, Лабиева, доказывая, что тот действует как «лжепопуляр»². Что

¹ *Plut.*, *Cic.*, 13.

² *Cic.*, *Rab.*, 11; 12; 13; 15.

же касается вины Рабирия, то, хоть он и не убивал Сатурнина, как уже доказано в ходе процесса, тем не менее если бы он и совершил это убийство, его следовало не карать, а, наоборот, прославить, ибо Сатурнин был врагом римского народа¹. Ведь против него объединились все лучшие, все порядочные люди в государстве (*boni*), представители всех сословий². Такое объединение было бы необходимо даже сейчас, в настоящее время, если бы и сейчас возникла подобная опасность, угрожающая существованию республики³.

Процесс Рабирия, по всей вероятности, не был доведен до конца. Претор Метелл Целер повелел опустить знамя, водружавшееся во время комиций. Это означало, что собрание распускается. Впоследствии процесс не возобновлялся, и Гай Рабирий, насколько нам известно, так и не был осужден⁴.

На основании упоминаний самого Цицерона о некоторых других консульских речах, которые, к сожалению, до нас не дошли, мы все же можем судить о ряде его выступлений. Так, например, он в специальной речи отстаивал необходимость сохранения крайне реакционного сулланского закона, в соответствии с которым сыновья людей, подвергшихся в свое время проскрипциям, не имели права занимать каких-либо государственных должностей⁵. Есть основания считать, что инициатива отмены этого закона исходила также от Цезаря или по крайней мере от его ближайшего окружения.

Весьма слабой компенсацией за все эти акции и выступления в духе оптиматов была попытка Цицерона уничтожить так называемые свободные легатства. Под этим названием понималось право сенаторов совершать поездки за счет казны и в качестве официального лица, но по своим собственным делам. Цицерон характеризует свое выступление против этого обычая в следующих словах: «Что, действительно, может быть более позорным, чем положение, когда сенатор считается легатом, но без определенного круга деятельности, без полномочий, без какого-либо пору-

¹ *Cic., Rab.*, 18—19.

² *Cic., Rab.*, 23—24; 27.

³ *Cic., Rab.*, 34.

⁴ *Cass. Dio*, 37, 26—28.

⁵ *Cic., Att.*, 2, 1, 3; ср. *Plut., Cic.*, 12.

чения от государства? Я в свое консульство именно этот вид легатства, хотя сенаторам он казался выгодным, чуть было не упразднил, причем с согласия самого сената, если б только не выступил со своей интерцессией народный трибун. Но все же срок легатства, ранее ничем не ограниченный, я сократил до года. Таким образом, если позор и остается, то продолжительность его теперь значительно уменьшена»¹.

И наконец, Цицерон упоминает о своей речи на народной сходке (*contio*), где он отказался от управления провинцией. С консульскими провинциями на сей раз дело обстояло таким образом. Цицерон, получив по жребию Македонию, уступил ее своему коллеге Антонию, чем и заставил его, по выражению Плутарха, «словно наемного актера, играть при себе вторую роль»². Другой провинцией, которую сенат наметил для консулов, была Цизальпийская Галлия. Эта провинция считалась и «невыгодной» и беспокойной, управление ею неизбежно было связано с ведением военных операций, иногда даже крупного масштаба. Поэтому Цицерон, по зрелом размышлении, решил отказаться и от этой провинции. Выступая на народной сходке, он заявил (к сожалению, эта речь не сохранилась), что он отказывается от управления провинцией в интересах государства, положение которого вызывает серьезные опасения³. И хотя такой шаг выглядел весьма благородным, но, судя по некоторым данным, Цицерон, уступая Антонию Македонию, одновременно договорился с ним о своем праве на какую-то долю доходов с этой богатой провинции⁴.

Что же касается опасений Цицерона по поводу положения римского государства, то они были вызваны вполне конкретными причинами. Кончалась первая половина года, следовательно, приближался день выборов магистратов на предстоящий год, ибо со времени Суллы выборные собрания начали проводить задолго до конца года. Для Цицерона этот вопрос имел особое значение: среди кандидатов снова числился Катилина.

¹ *Cic.*, *leg.*, 3, 18.

² *Plut.*, *Cic.*, 42.

³ *Cic.*, *Cat.*, 4, 23; *Pis.*, 5.

⁴ *Cic.*, *Att.*, 1, 12, 2.

Следовало принять какие-то профилактические меры. Они и были им приняты. Так, например, Цицерон добился постановления сената, усилившего кары за подкуп при соискании магистратур вплоть до десятилетнего изгнания¹. Собственно говоря, именно в ходе предвыборной кампании 63 г. начинается «личная» борьба Катилины и Цицерона; в это же время впервые оформляется и самый заговор Катилины.

* * *

«Луций Катилина, происходивший из знатного рода, отличался могучей духовной и физической силой, но вместе с тем дурным, испорченным характером. С юных лет ему были милы междоусобные войны, убийства, грабежи, гражданские распри — в них он закалял свою молодость. Свое тело он приучил невероятно легко переносить голод, стужу, недосыпание. Дух он имел неукротимый, был коварен, непостоянен, лжив, жаден до чужого, расточителен в своем, пылок в страстях, красноречием обладал в достаточной степени, благоразумием — ни в малейшей. Его ненасытный дух всегда жаждал чего-то беспредельного, невероятного, недосыгаемого»².

Такую характеристику дает Катилине его младший современник, историк Саллюстий. Он не ограничивается, однако, перечислением только личных качеств Катилины, но говорит о нем как о приверженце Суллы, которого обуяло страстное желание последовать примеру диктатора и захватить в свои руки власть в государстве. Саллюстий даже говорит о захвате царской власти, причем, по его мнению, для достижения этой цели Катилина не остановится ни перед чем, не побрезгует любыми средствами³.

Образ Катилины вырастает у Саллюстия до некоего символа, олицетворения, Катилина — типичное порождение своей среды, своего времени. Историк приписывает ему самые отвратительные пороки и злодеяния: совращение жрицы Весты, убийство отрока

¹ *Cass. Dio*, 37, 29, 1.

² *Sall., Cat.*, 5.

³ *Ibidem*.

сына¹. Вокруг Катилины группируются все бесстыдники, клятвопреступники, подделыватели завещаний, промотавшаяся «золотая молодежь», разорившиеся ветераны. Опираясь на них, он и намерен «сокрушить республику». Таким образом, для Саллюстия все участники заговора, и в первую очередь сам Катилина, — пример вырождения, моральной деградации римского общества.

Само собой разумеется, что и основной противник Катилины — Цицерон рисует его образ тоже далеко не радужными красками. Поскольку дошедшие до нас речи Цицерона против Катилины — так называемые Катилинарии — произносились в самый разгар борьбы, то в них выдвигаются прежде всего политические обвинения. В первой же Катилинарии говорится о том, что если Тиберий Гракх был убит за попытку самого незначительного изменения существующего государственного строя, то как можно терпеть Катилину, который стремится «весь мир затопить в крови и истребить в огне»².

Обращаясь непосредственно к Катилине, Цицерон характеризует его политические намерения в следующих словах: «Теперь ты открыто посягаешь на все государство, обрекая на гибель и опустошение храмы бессмертных богов, городские жилища, существование граждан, наконец, всю Италию»³. Не только в этой первой речи, но и во всех дальнейших мотив угрозы самому государству, а также стремление предать Рим огню и мечу продолжают выступать в качестве основного обвинения⁴, и потому Цицерон не очень утрудяет себя детальным анализом политической программы заговорщиков.

Что касается характеристики морального облика Катилины, то здесь в общем наблюдается полное совпадение с портретом, нарисованным Саллюстием. Почти в тех же самых выражениях Цицерон утверждает, что Катилина окружил себя последними подонками⁵, что нет в Италии такого «отравителя,

¹ *Sall.*, *Cat.*, 15.

² *Cic.*, *Cat.*, 1, 3.

³ *Cic.*, *Cat.*, 1, 12.

⁴ Ср. *Cic.*, *Cat.*, 2, 1; 3, 1—2; 4, 2; 4; 14.

⁵ *Cic.*, *Cat.*, 1, 12; 32; 2, 7.

гладиатора, бандита, разбойника, убийцы, поддельвателя завещаний, мошенника, кутилы, мота, прелюбодея, публичной женщины, совратителя молодежи, развратника и отщепенца», которые не признались бы в самых тесных дружеских отношениях с Катилиной. Нет за последние годы и ни одного убийства, ни одного прелюбодеяния, где бы он не принял участия¹.

Таков портрет руководителя заговора, нарисованный его современниками, из которых один был даже участником событий. Столь категоричные и столь яркие характеристики не могли, естественно, не повлиять на более поздних историков. Катилина в их изображении — такое же чудовище и выродок, причем рассказ о нем обрастает все более фантастическими чертами и подробностями. Так, Плутарх уверяет, что Катилина находился в преступной связи со своей собственной дочерью и убил родного брата, который был затем по его же просьбе включен Суллой в список проскрибированных. Не менее фантастична и такая деталь: заговорщики во главе с Катилиной обменялись клятвами, а для закрепления этих клятв якобы убили человека и отведали его мяса².

Так ли все это на самом деле? Насколько справедлив портрет руководителя заговора, изображающий Катилину беспринципным, разложившимся, преступным человеком, для которого нет ничего святого? Насколько правильно и объективно определен состав заговорщиков и очерчена их программа? Ответить на эти вопросы не так просто. Но мы попытаемся это сделать, абстрагируясь по мере возможности от пристрастных толкований и оценок, стремясь осветить лишь фактический ход событий.

Фактическая сторона дела, восстанавливаемая на основе рассказов Саллюстия и Цицерона, тем не менее заметно отличается, а иногда и явно противоречит их собственным оценкам. Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что Катилина очень долго и очень стойко придерживался вполне легальных форм борьбы и вполне «конституционного» пути. Его политическая карьера складывалась вначале весьма

¹ *Cic., Cat.*, 2. 7—9.

² *Plut., Cic.*, 10; ср. *Sall., Cat.*, 22.

благополучно и даже стандартно, как многие подобные же карьеры молодых римлян из аристократических семей. Он имел репутацию сулланца. И действительно, впервые его фигура появляется на политической арене в годы проскрипций и террора. В 73 г. его обвиняют в кощунственной связи с весталкой Фабией, которая, кстати говоря, была сестрой жены Цицерона — обстоятельство, проливающее дополнительный свет на взаимоотношения между самим Цицероном и Катилиной. Однако благодаря защите видного оптимата Квинта Лутация Катула он был оправдан. В 68 г. Катилина — претор, после чего он получает в управление провинцию «Африка». В Рим же он возвращается в 66 г., и с этого времени начинается для него целая серия неудач.

Он выдвигает свою кандидатуру на занятие консульской должности (на 65 г.), однако вскоре ее приходится снять, даже до выборных комиций. Дело в том, что из провинции «Африка» прибыла специальная делегация, которая обратилась в сенат с жалобой на своего бывшего наместника.

Консулами на 65 г. избираются Публий Автроний Пет и Публий Корнелий Сулла (родственник диктатора, разбогатевший во время проскрипций). Однако вскоре после своего избрания (но еще до вступления в должность) они были признаны виновными в подкупе избирателей, выборы кассированы, а на вновь назначенных в консулы прошли совсем другие кандидаты.

Эти события послужили, видимо, причиной так называемого первого заговора Катилины. В нем принимали участие помимо самого Катилины неудачливые претенденты на консульство, т. е. Автроний и Сулла, некто Гней Писон, как говорил о нем Саллюстий, «молодой человек знатного происхождения и отчаянной отваги», и, наконец, по некоторым сведениям, даже Красс и Цезарь. Заговорщики якобы собирались убить новых консулов в день их вступления в должность, а затем восстановить в правах Автрония и Суллу. Что касается Красса, то он намечался чуть ли не в диктаторы. Однако замышляемый переворот не состоялся и был дважды сорван: один раз по вине Красса, который не явился в условленный день на заседание се-

ната, вторично — по вине самого Катилины, который подал знак заговорщикам ранее намеченного срока¹.

Интересно отметить, что против заговорщиков не последовало никаких репрессий. В современной научной литературе это странное обстоятельство (ибо намерения заговорщиков якобы стали известны) нередко объясняют тем, что в заговоре принимали участие такие влиятельные и видные политические деятели, как Красс и Цезарь. Но это — явная натяжка. Цезарь, конечно, в то время не был еще ни видным, ни особо влиятельным деятелем. Влияние Красса тоже не следует переоценивать. Помпей имел гораздо более многочисленных сторонников, и они были настроены против Красса. Скорее всего, заговору не придали серьезного значения по самой простой причине: он того и не заслуживал. Цицерон вообще упоминает о нем крайне бегло², Саллюстий, правда, излагает историю заговора более подробно³, но оба они ничего не говорят об участии Цезаря и Красса.

В 65 г. Катилина был привлечен к суду по жалобе африканской делегации. Его снова оправдывают, но процесс затягивается настолько, что он не может участвовать в консульских выборах и на 64 г. Все это происходит как раз в то время, когда Цицерон собрался было выступить в качестве его защитника, хотя и не сомневался в его вине⁴.

Итак, Катилина терпит неудачу с выборами уже второй раз. Но это обстоятельство его не обескураживает, и он начинает активно готовиться к выборам на 63 г. Видимо, в это время он и выдвигает свой основной лозунг: новые долговые книги, т. е. отмена всех старых долгов. Это был смелый шаг. Имя Катилины становится теперь популярным в самых различных слоях римского общества. У него появляются приверженцы как среди обремененных долгами аристократов (главным образом, «золотая молодежь») и разорившихся ветеранов Суллы, так и среди низов — обезземеленные крестьяне, деклассированное население города.

В разгар предвыборной кампании летом 64 г. Катилина собирает своих наиболее видных сторонников.

¹ *Sall.*, *Cat.*, 18.

² *Cic.*, *Cat.*, 1. 15.

³ *Sall.*, *Cat.*, 18.

⁴ См. выше, стр. 142.

По словам Саллюстия, на этом собрании присутствовали представители как высшего, т. е. сенаторского, так и всаднического сословий, а также многочисленные представители муниципиев и колоний. В Риме распространился слух о благосклонном отношении Красса к новому заговору¹.

Катилина, обратившись с речью к собравшимся, старался всячески их воодушевить, вновь обещая касацию долгов, проскрипции богачей, государственные и жреческие должности. В заключение он заявил, что Писон, находящийся с войском в ближней Испании, и Публий Ситтий Нуцерин в Мавритании разделяют все пункты его программы, как и Гай Антоний, который, судя по всему, будет вместе с ним, Катилиной, избран консулом. Стоит отметить, что даже в этой речи, вкладываемой ему в уста Саллюстием, Катилина собирается реализовать свою программу только по достижении консульства, т. е. вполне легальным и «конституционным» путем².

Во время консульских выборов на сей раз (т. е. на 63 г.) соревновались между собой семь претендентов. Наилучшие шансы, действительно, были у Катилины и у Гая Антония. Позиции их наиболее серьезного соперника, Цицерона, ослаблялись, как уже говорилось выше³, его незнатным происхождением. Возможно, Цицерон так бы и не был избран, если бы не одно совершенно неожиданное обстоятельство.

Один из второстепенных участников заговора, промотавшийся аристократ Квинт Курий, желая произвести впечатление на свою любовницу, посвятил ее в планы заговорщиков, а от нее слух о намерениях Катилины и его окружения распространился по всему городу. Это и было, как считает Саллюстий, главной причиной, изменившей отношение знати к Цицерону и склонившей чашу весов в его пользу. В результате Катилина оказался забаллотированным, а консулами на 63 г. были избраны, как мы уже знаем, Цицерон и Гай Антоний.

Но и теперь Катилина еще не хочет отказаться от легального пути. Он начинает готовиться к консульским

¹ *Sall., Cat.*, 17.

² *Sall., Cat.*, 21.

³ См. стр. 143.

выборам на 62 г. Правда, наряду с этим он вербует новых участников заговора, заготавливает оружие, снабжает деньгами Манлия, который должен был собрать войско в Этрурии. Однако ни к каким открыто противозаконным действиям он пока еще не приступает, что заставляет и Цицерона занимать выжидательную и осторожную позицию.

И хотя в дальнейшем, когда уже начинается открытая борьба Цицерона с Катилиной и Цицерон в своих речах громоздит одно обвинение на другое, тем не менее из тех же Катилинарий видно (во всяком случае из первых двух), что далеко не все верили в справедливость этих обвинений¹, что обвинителю явно не хватало фактов, которые он и спешил заменить патетикой. О том же свидетельствует согласие Катилины поселиться в доме самого Цицерона, дабы доказать, что ничем противозаконным он не занимается и, в частности, против Цицерона не злоумышляет².

Однако, чем ближе подходил срок новых выборов, тем напряженнее становилось положение. Предвыборная борьба разгоралась. Речь шла о соревновании четырех претендентов: Катилины, юриста Сульпиция Руфа, видного военачальника Лициния Мурены и Децима Юния Силана. В ходе предвыборной кампании Сульпиций Руф неожиданно заявил о том, что он снимает свою кандидатуру в связи с решением возбудить дело против Мурены по обвинению его в подкупе избирателей.

Такой неожиданный оборот дела значительно повышал шансы Катилины. Но чем энергичнее он добивался консульства, тем более настойчиво распространялись по городу порочащие его слухи. Говорилось, что он собирается привести на выборы сулланских ветеранов из Этрурии, что снова проводятся тайные собрания заговорщиков, что подготавливается убийство Цицерона. Возможно, что именно в это время Катилина и соглашался жить под наблюдением в чьем-либо доме, в частности в доме Цицерона.

Дело доходит до открытого разрыва с сенатом. На одном из заседаний Катон заявил о своем намерении привлечь Катилину к суду. В ответ на это Катилина

¹ *Cic., Cat.*, 2, 3: 14; ср. 3, 7.

² *Cic., Cat.*, 1, 19.

произнес весьма неосторожную и «дерзкую» фразу: если, мол, попытаются разжечь пожар, который будет угрожать его судьбе, его благополучию, то он потушит пламя не водой, а развалинами¹.

Общая ситуация настолько накалилась, что Цицерон считал возможным перейти к более решительным действиям. На заседании сената 20 октября 63 г. он поставил вопрос об опасности, угрожающей государству, и предложил в связи с этим отсрочить проведение избирательных комиций. На следующий день сенат заслушал специальный доклад консула о создавшемся положении, причем в конце доклада Цицерон обратился непосредственно к Катилине, предлагая высказаться по поводу предъявляемых ему претензий и обвинений. К крайнему удивлению и даже возмущению присутствующих сенаторов, последний вовсе и не пытался оправдываться, наоборот, вызываясь заявил, что, по его мнению, в государстве есть два тела: одно — слабое и со слабой головой, другое же — крепкое, но без головы; оно может найти свою голову в нем, Катилине, пока он еще жив².

После этого заявления Катилина демонстративно — а по словам Цицерона, с ликованием³ — покинул заседание сената. Впечатление, произведенное его словами, было, видимо, настолько велико, что сенаторы тотчас же вынесли решение о введении чрезвычайного положения и вручили консулам неограниченные полномочия по управлению государством. Это была крайняя мера, к которой в Риме прибегали, как известно, лишь в исключительных случаях.

Через несколько дней после этого заседания были все же созваны избирательные комиции. Откладывать их на еще более поздний срок уже не было возможности, зато Цицерон постарался сделать все, чтобы оправдать декрет сената о чрезвычайном положении. Марсово поле, на котором происходило собрание, было занято вооруженной стражей. Сам консул, желая подчеркнуть грозившую лично ему смертельную опасность, явился на выборы вопреки всем правилам и обычаям в панцире и латах. Однако выборы про-

¹ *Cic., Mur., 51; Sall., Cat., 31.*

² *Cic., Mur., 51.*

³ *Ibidem.*

шли спокойно. Катилина снова был забаллотирован; консулами на 62 г. избрали Децима Юния Силана и Луция Лициния Мурену. Таким образом, четвертая по счету попытка Катилины добиться консульства легальным путем, в рамках законности, снова окончилась провалом.

Собственно говоря, только теперь, после этой новой неудачи, Катилина вступает на иной путь борьбы. На срочно созванном совещании заговорщиков он сообщает о намерении лично возглавить войска, собранные в Этрурии одним из его наиболее ярких приверженцев — Гаем Манлием. Два видных участника заговора заявляют о своей готовности завтра же расправиться с Цицероном. Но покушение это не удается: предупрежденный осведомителями, Цицерон окружил свой дом стражей, а заговорщикам, когда они явились к нему с утренним визитом, было отказано в приеме.

8 ноября было снова собрано экстренное заседание сената, в котором вместо обычного доклада консул неожиданно выступил с эффектной речью. Это и была так называемая первая речь против Катилины, первая Катилинария. Построенная по всем правилам ораторского искусства, она имела большой успех. Основной тезис этой речи — требование Цицерона, чтобы Катилина покинул Рим, поскольку между ним, желающим опереться на силу оружия, и консулом (т. е. самим Цицероном), опирающимся только на силу слова, должна находиться стена¹. Катилина, видя, что подавляющее большинство сената настроено по отношению к нему крайне враждебно, почел за благо внять совету и в тот же вечер покинул Рим.

Во всяком случае, выступая на следующий день (т. е. 9 ноября) со своей второй речью перед народом, Цицерон начал ее именно с того, что в свойственной ему манере, с использованием всех риторических приемов заявил: «Он ушел, он удалился, он бежал, он вырвался!»²

В этой речи повторены все те же довольно расплывчатые обвинения, что и в первой Катилинарии. Это даже не столько обвинения, сколько снова некая ха-

¹ *Cic., Cat., 1, 10*; ср. *Plut., Cic., 16*.

² *Cic., Cat., 2, 1*.

рактеристика или портрет Катилины. Зато дан довольно подробный анализ его окружения, или, как говорит Цицерон, его «войск» — перечислено шесть разных категорий сторонников Катилины¹.

Вскоре после всех этих событий в Риме становится известным, что Катилина, прибыв в лагерь Манлия в Этрурии, присвоил себе знаки консульского достоинства. Тогда сенат объявляет его и Манлия врагами отечества и поручает консулам произвести набор армии.

Очевидно, в это же время, вскоре после удаления Катилины из Рима, т. е. еще в ноябре месяце, происходит суд над только что избранным консулом — Лицинием Муреной. Собственно говоря, этот суд и мог происходить, лишь пока вновь избранный магистрат не приступил к своим обязанностям. С того момента, как он начинал их исполнять, он становился неприкосновенным и, следовательно, неподсудным (до окончания срока своих полномочий).

Еще до формального обвинения дело Мурены было предметом обсуждения в сенате. Катон поддержал инициатора обвинения неудачливого конкурента Мурены на выборах, Сервия Сульпиция, который и пригласил его в качестве субскриптора (т. е. сообвинителя). Защищали Мурену Квинт Гортензий, Марк Лициний Красс и Цицерон. Насколько нам известно, Цицерон выступал последним, и потому его речь не была посвящена разбору юридической стороны вопроса, но выполняла, видимо, чисто ораторскую задачу. По этой причине нам до сих пор неясно, насколько серьезны были выдвинутые против Мурены обвинения и приходилось ли Цицерону выступать против его же собственного закона о подкупах или в данном случае он мог не крикнуть душой. Оправдание Мурены не служит бесспорным доказательством его невиновности; никто в переживаемой ситуации не был заинтересован в организации новых выборов (в случае осуждения Мурены), а значит, и новых беспорядков, пока еще существовали Катилина с войском в Этрурии и многочисленные его приверженцы в самом Риме².

Плутарх сохранил нам рассказ о том, что Цицерон, выступая по делу Мурены после Гортензия и желая во

¹ *Cic., Cat.*, 2. 18—23.

² *Cic., Mur.*, 79; 84; 90.

что бы то ни стало превзойти его в красноречии, не спал всю ночь, но выступил именно поэтому крайне неудачно, и слушатели были глубоко разочарованы¹. Дошедший до нас текст речи — результат более поздней литературной обработки. Но и в улучшенном виде речь Цицерона в защиту Мурены на редкость бессодержательна; его довольно плоские остроты по поводу юриспруденции или учения стоиков не имеют сколь-нибудь серьезного значения. Пожалуй, наибольший интерес в данной речи представляет уже упоминавшееся нами сопоставление военного и ораторского искусства².

Тем не менее Мурена, как известно, был оправдан. Начинается последний месяц пребывания у власти консулов 63 г. Но именно в этом месяце развитие событий, именуемых заговором Катилины, принимает трагический оборот. Катилинарцы, оставшиеся в Риме без своего вождя, не пали духом, но проявили определенную организованность, решимость, энергию.

Руководящую группу заговорщиков возглавил теперь Публий Корнелий Лентул. Ему якобы было предсказано, что он тот третий представитель рода Корнелиев — до него уже были Цинна и Сулла, — которому уготована «царская власть и империя» в римском государстве³. Был разработан следующий план действий: народный трибун Луций Бестия выступит в комициях с резкой критикой деятельности Цицерона, возлагая на него ответственность за фактически уже начавшуюся гражданскую войну, что и послужит сигналом к решительному выступлению. Большой отряд заговорщиков во главе со Статилием и Габинием должен поджечь город одновременно в 12 местах; Цетегу поручается убийство Цицерона, а ряду молодых участников заговора из аристократических семей — истребление их собственных родителей.

В это время в городе находились послы галльского племени аллоброгов. Они прибыли в Рим с жалобой на притеснения магистратов и действия публиканов, сумевших довести общину аллоброгов почти до полного разорения. У Лентула возникла идея привлечь это галльское племя к участию в заговоре, и он поручает

¹ *Plut., Cic.*, 35.

² См. выше, стр. 141—142.

³ *Cic., Cat.*, 3, 9; ср. 4, 2; *Sall., Cat.*, 47.

одному из своих доверенных людей вступить в соответствующие переговоры с послами.

Сначала представителю Лентула как будто удается соблазнить послов-аллоброгов всякими заманчивыми обещаниями. Но, поразмыслив, они все же предпочли надеждам на радужное будущее более надежные позиции в настоящем. Поэтому о всех предложениях заговорщиков они сообщили своему патрону, некоему Фабию Санге, а тот немедленно доложил обо всем Цицерону. Последний посоветовал аллоброгам во что бы то ни стало получить от главарей заговора письма, адресованные вождям их племени. Лентул, Цетег, Статилий и Габиний оказались настолько неопытными конспираторами, что охотно вручили компрометирующие их документы послам-аллоброгам за всеми полагающимися подписями и печатями.

Все последующее было разыграно как по нотам. Когда в ночь на 3 декабря аллоброги с сопровождавшим их представителем заговорщиков Титом Вольтурцием пытались выехать из Рима, они по распоряжению Цицерона были задержаны на Мульвийском мосту и доставлены обратно в город. Имея теперь на руках документальные доказательства преступной, антигосударственной деятельности заговорщиков, Цицерон распорядился об их аресте.

На утреннем заседании сената заговорщикам был учинен допрос. Тит Вольтурций, допрашиваемый первым, сначала все отрицал, но, когда сенат гарантировал ему личную безопасность, охотно покаялся и выдал всех остальных. Аллоброги подтвердили его показания; с этого момента арестованные главари заговора оказались в безвыходном положении. Сначала речь шла о четырех: Лентуле, Цетеге, Габинии и Статилии, но затем к ним был присоединен некто Цепарий, который, по планам заговорщиков, должен был поднять восстание в Апулии.

Слух о раскрытии заговора и об аресте его вождей распространился по всему городу. К храму богини Согласия, где и происходило заседание сената, собрались огромные толпы народа. Цицерону была устроена овация, и он обратился к народу с новой речью против Катилины (третья Катилинария). В этой речи уже звучат ноты торжества, и именно этой речью открывается кампания безудержного самовосхваления,

за что над ним издевался еще Плутарх¹. Начиная свою речь, Цицерон сравнивает себя всего-навсего с Ромулом, а заканчивая ее, — с Помпеем².

На следующий день в сенате были заслушаны показания некоего Луция Тарквиния, который тоже направлялся к Катилине, но по дороге был задержан и возвращен в Рим. Он подтвердил показания Вольтурция о готовившихся поджогах, убийствах сенаторов и походе Катилины на Рим. Однако, когда он заявил, что был направлен к последнему самим Крассом, чтобы ускорить намечавшийся поход, это вызвало бурю возмущения среди сенаторов, значительная часть которых, по словам Саллюстия, находилась от Красса в полной зависимости³.

Однако дело еще не было доведено до логического конца. Теперь следовало решить судьбу заговорщиков, тем более что, по распространившимся в тот день слухам, вольноотпущенники Лентула и Цетегга якобы замыслили освободить арестованных при помощи вооруженной силы. Цицерон снова созывает — 5 декабря — заседание сената, на котором ставит вопрос о том, как следует поступить с теми, кто находится под арестом и уже признан виновным в государственной измене.

Знаменитое заседание сената от 5 декабря подробно описано всеми авторами, повествующими о заговоре. Первым при обсуждении вопроса получил слово избранный консулом на 62 г. Децим Юний Силан. Он высказался за высшую меру наказания. К нему присоединился другой консул предстоящего года — Луций Лициний Мурена и ряд сенаторов. Однако когда очередь дошла до избранного претором на 62 г. Гая Юлия Цезаря, то прения приняли иной и неожиданный оборот. Отнюдь не обеляя заговорщиков, Цезарь высказался тем не менее против смертной казни как меры противозаконной (без решения народного собрания) и, кроме того, весьма опасного прецедента. Он предложил пожизненное заключение (распределив арестованных по муниципиям); имущество же осужденных должно быть конфисковано в пользу казны.

¹ *Plut., Cic.*, 24; 51.

² *Cic., Cat.*, 3, 2.; 26.

³ *Sall., Cat.*, 48.

Предложение Цезаря произвело резкий перелом в настроениях сенаторов. Не помогло даже то, что Цицерон, нарушая процессуальные нормы, выступил с очередной речью против Катилины (четвертая Катилинария). Собственно говоря, он, как председатель, не должен был оказывать давления на собрание и навязывать свою точку зрения. Поэтому он выступил крайне дипломатично: призвал членов сената голосовать по совести, не заботясь о его личной безопасности, но руководствуясь лишь интересами государства.

Слишком уклончивая речь не достигла цели. Было внесено предложение отложить окончательное решение о судьбе заговорщиков до победы над Катилиной и его войском. Снова выступил Децим Силан и разъяснил, что под высшей мерой наказания он подразумевал именно тюремное заключение. Неясно, каково оказалось бы в этой сложной ситуации окончательное решение сената, если бы не крайне резкая, решительная и убежденная речь Марка Порция Катона, который обрушился на заговорщиков, на всех колеблющихся, а Цезаря весьма прозрачным намеком изобразил чуть ли не соучастником заговора. После его выступления большинство сенаторов проголосовало за смертную казнь.

Поздно вечером 5 декабря Цицерон лично препроводил Лентула в подземелье Мамертинской тюрьмы; преторы доставили туда же остальных четырех арестованных. Все они были удушены рукой палача. После этого консул обратился к толпе, которая вновь собралась на Форуме и не расходилась, несмотря на поздний час. Его речь не была на этот раз чересчур пространной, она состояла всего лишь из одного слова. Консул торжественно произнес «vixerunt», что означало «они прожили» — обычный в Риме способ оповещения о чьей-либо смерти в смягченной форме.

А 150 лет спустя Плутарх так описывал этот триумфальный успех Цицерона: «Было уже темно, когда он через Форум двинулся домой. Граждане не провожали его в безмолвии и строгом порядке, но на всем пути приветствовали криками, рукоплесканиями, называя спасителем и новым основателем Рима. Улицы и переулки освещались огнями факелов, выставленных чуть ли не в каждой двери. На крышах домов

стояли женщины со светильниками, чтобы почтить и увидеть консула, который с торжеством возвращался к себе в блистательном сопровождении самых знаменитых людей города. Едва ли не все это были войны, которые не раз со славою завершали дальние и трудные походы, справляли триумфы и далеко раздвинули рубежи Римской державы и на суше и на море, а теперь они единодушно говорили о том, что многим тогдашним полководцам римский народ был обязан богатством, добычей и могуществом, но спасением своим и спокойствием — одному Цицерону, избавившему его от такой великой и грозной опасности»¹.

Вскоре особым решением народного собрания спасителю-консулу была вынесена благодарность и присвоено почетное наименование «отец отечества» (*pater patriae*). Поспешная и незаконная казнь пяти видных участников заговора была, пожалуй, предпоследним актом разыгравшейся драмы. Многие сторонники Катилины стали покидать его лагерь, как только до них дошла весть о судьбе Лентула, Цетега и других казненных. И хотя сам Катилина еще существовал и войско его еще не было разбито, исход движения был в общем предreshен.

* * *

Приведенное выше изложение событий и хода заговора основано, как нетрудно убедиться, на показаниях наших главных источников, т. е. того же Цицерона и Саллюстия (а частично и Плутарха). Но нетрудно убедиться и в другом — в наличии определенного разрыва, даже противоречия между фактической стороной дела и оценкой или толкованием самих фактов нашими авторами. В чем же причина подобного несоответствия?

На первый взгляд кажется, что историк, желающий изучить заговор Катилины, находится в особо благоприятном положении. Действительно, немного найдется событий древней истории, которые были бы столь подробно освещены, да еще самими современниками. Но в данном случае это бесспорное преимущество ока-

¹ *Plut., Cic., 22.*

зывается одновременно и крупнейшим недостатком. Не говоря уже о Цицероне, который выступает как открытый, яростный враг Катилины и от которого и не приходится ожидать объективности, следует отметить крайне пристрастное освещение событий в монографии Саллюстия. Последний не был, насколько нам известно, личным врагом Катилины, но зато для него руководитель заговора не что иное, как персонификация, живое воплощение того тезиса, на котором держится вся историко-философская концепция монографии, — тезиса о моральном разложении римского общества, в частности нобилитета.

Так возникает определенная историческая аберрация, в результате которой общая картина заговора не только не проясняется, но скорее выглядит искаженной. Не случайно поэтому в новейшей историографии, как в зарубежной, так и в отечественной, существуют самые противоречивые оценки и движения в целом и его вождя. Заговор Катилины нередко интерпретируется как последнее крупное выступление римской демократии, а сам Катилина предстает чуть ли не в образе беззаветного борца за свободу. Не менее часто говорится и о том, что он стремился к захвату единоличной власти, к режиму диктатуры, а движение в целом имело авантюрный и даже реакционный характер.

Какова же должна быть наша оценка этого движения? Можем ли мы квалифицировать его как движение демократическое или, наоборот, как стремление вождя (а быть может, вождей) заговора установить личную диктатуру? На наш взгляд, не имеется достаточных оснований ни для того, ни для другого вывода.

Прежде всего вопрос о движущих силах заговора, о составе заговорщиков. Основной лозунг, под которым разворачивалось все их выступление, — кассация долгов — сам по себе как бы вполне демократический, фактически привлекал, как уже отмечалось, и разорившихся аристократов, и сулланских ветеранов, и «золотую молодежь», и всякие деклассированные элементы общества. Примерно эти же социальные категории перечисляет и Цицерон во второй Катилинарии, анализируя состав заговорщиков.

Выше уже говорилось о том, что он называет шесть различных групп, или категорий, участников заговора,

«полчищ Катилины». Первая категория — это те, кто, несмотря на огромные долги, владеет крупными поместьями и не в состоянии расстаться с ними. Вторая — те, кто, будучи обременен долгами, стремится все же к достижению верховной власти и почетных должностей. Третья — в основном разорившиеся колонисты, ветераны Суллы. Четвертая, самая пестрая, смешанная по составу — это люди, безнадежно залезшие по тем или иным причинам в долги и находящиеся под вечной угрозой вызова в суд, описи имущества и т. п. В эту группу входят как те, кто живет в самом Риме, так и живущие в сельской местности. Пятая — всякого рода преступные элементы, которых не вместит никакая тюрьма. И наконец, последняя, шестая категория — преданнейшие приверженцы и любимцы Катилины, т. е. вылощенные щеголи, бездельники и развратники из среды «золотой молодежи»¹.

Таков анализ Цицерона. Этот анализ, очевидно, наиболее интересное и объективное наблюдение, совпадающее не только с картиной, изображенной Саллюстием² (подобное обстоятельство само по себе еще не имело бы доказательной силы), но и со всем тем, что нам известно о социальной дифференциации римского общества того времени. Последнее соображение можно считать решающим.

Поэтому наиболее объективной и вместе с тем наиболее осторожной оценкой движения будет, пожалуй, вывод о том, что заговор Катилины — типичное движение эпохи кризиса и разложения полисной демократии, в котором принимали участие различные социальные группировки и в котором демократические лозунги и тенденции были приправлены значительной долей политического авантюризма и демагогии.

Политический облик самого руководителя заговора достаточно характерен. О чем говорят его известные нам действия? Что он представляет собой, если отвлечься от тех страшных, но все же весьма малоправдоподобных обвинений морально-этического порядка, которые так искажают для позднейших историков его образ?

¹ *Cic., Cat.*, 2. 18—23.

² *Sall., Cat.*, 14; 16.

Мы знаем, что Катилина четырежды пытался легально добиться консульского звания, т. е. действовал всецело в рамках неписаной римской конституции, в рамках полисных традиций и норм. Только после четвертой неудачи, видя резко отрицательное к себе отношение со стороны сената, провоцируемый к тому же Цицероном, он решается наконец сойти с «конституционной» платформы. Но и в воинском лагере, куда Катилина бежит из Рима, он тем не менее стремится придать какую-то видимость законности и «легальности» своей власти, появляясь всюду с отличительными знаками консульского звания. Ничто, ни один известный нам факт не свидетельствует о том, что он стремился к личной диктатуре, хотя, разумеется, нет никаких оснований утверждать — в особенности после того прецедента, каковым была диктатура Суллы, — что он наотрез отказался бы от такой возможности, будь она подсказана реальной ситуацией. Но тут мы уже вступаем на зыбкую почву догадок. Бесспорно одно — Катилина, как истинный представитель своего класса и своей эпохи, принадлежал к тому поколению политических деятелей Рима, которые еще находились во власти полисных, а следовательно, и «республиканских» норм, традиций и даже иллюзий.

Такова наша общая оценка движения Катилины. Но в данном случае это движение, этот факт римской истории интересует нас не только как таковой, не только сам по себе, но и как определенный этап политической деятельности и карьеры Цицерона, тем более что окончательное разоблачение заговора — бесспорно кульминационный пункт его успехов на государственном поприще.

Именно в ходе борьбы против Катилины и его окружения окончательно формируется тот политический лозунг, верность которому Цицерон сохраняет на протяжении всей своей жизни — лозунг «согласия сословий» (*concordia ordinum*) или «объединение всех достойных» (*consensus bonorum omnium*). Впервые намек на возможность блока между высшими сословиями — сенаторским и всадническим — проскальзывает еще в речи за Клуенция, т. е. в 66 г.¹, затем в

¹ *Cic., Cluent.*, 152.

какой-то мере при защите Рабирия¹, однако развернутая картина единения сенаторов, всадников и всех «честных и достойных людей» дана «крупным планом» лишь в Катилинариях. Причем если в первой речи против Катилины говорится главным образом о необходимости подобного объединения², то в последней Катилинарии разворачивается совершенно апологетическое изображение той *concordia ordinum*, которая охватила якобы все слои населения, начиная от «возродившегося» в момент опасности союза между сенаторами и всадниками и кончая отношением к загонору вольноотпущенников и даже рабов³.

Мы не будем сейчас касаться ни вопроса о том, насколько сам Цицерон верил в реальность «согласия сословий», ни вопроса о пропагандистском значении и политической актуальности лозунга, поскольку нам придется еще не раз к нему возвращаться и даже говорить о его теоретическом обосновании⁴. Сейчас для нас важнее всего отметить, что Цицерон берет его «на вооружение» фактически во время и в ходе борьбы с Катилиной.

Не менее важен и другой момент. Речь идет о концепции «меча и тоги». Эта концепция, очевидно, была связана — и об этом уже говорилось выше — с ориентацией на Помпея. Вполне вероятно, что она зародилась в период борьбы Цицерона за достижение консульской должности⁵, однако с более или менее четкими формулировками мы сталкиваемся несколько позднее — в связи с движением Катилины. Так, например, вторая Катилинария завершается эффектным обещанием Цицерона пресечь начинающуюся гражданскую войну — а такие войны издавна считаются самыми жестокими и кровопролитными, — не снимая с себя мирной тоги⁶.

Некое принципиальное изложение концепции, а потому и не связывающее ее с какими-либо «персоналиями» мы встречаем в речи за Мурену, которая, по всей вероятности, была произнесена после удаления

¹ *Cic., Rab.*, 20.

² *Cic., Cat.*, 1, 21; 32; ср. 2, 19.

³ *Cic., Cat.*, 4, 14—16; 18—19; 22.

⁴ См. ниже, стр. 255—257.

⁵ См. стр. 141—142.

⁶ *Cic., Cat.*, 2, 28.

Катилины из Рима, но еще до ареста и казни заговорщиков. В последних же Катилинариях мотив «меча и тоги» не только настойчиво повторяется, но и конкретизируется применительно к Помпею, а также и к самому автору речей. В третьей Катилинарии не раз подчеркивается, что государство своим спасением, а народ римский своей победой впервые обязаны «императору, носящему тогу»¹, в конце же речи прямо говорится об одновременном наличии в римском государстве двух выдающихся граждан, «один из которых провел границы нашей державы не по земле, но по небу, а другой спас оплот и самое ее средоточие»².

В последней речи против Катилины снова встречается упоминание о тоге в связи с благодарственным молебствием, которое сенат назначил от имени Цицерона. Причем подчеркивается, что подобный почет впервые оказан магистрату, носящему тогу³, а затем, когда «под занавес» идет перечисление выдающихся полководцев и упоминается наряду с другими Помпей, то звучит уже совершенно новая нота — не только сопоставление своих заслуг перед государством с заслугами Помпея и других завоевателей, но и определенный намек на то, что еще не ясно, чьи заслуги по существу важнее. Ибо здесь говорится: «Среди похвал, расточаемых этим людям, найдется, конечно, место и для моей славы, так как заслуга завоевания новых провинций, куда мы можем выезжать, не может оказаться выше забот о том, чтобы у отсутствующих после их побед было куда возвратиться»⁴.

Это отнюдь не случайный момент, не единичное высказывание, но упоение своей победой, начало головокругления от успехов. Пока исход борьбы с Катилиной был еще не совсем ясен, Цицерон говорит о двух родах деятельности, которые могут возвести человека на высшую ступень достоинства, о двух равновеликих силах — «меч» и «перо», или «меч» и «тога» — и даже отдает некоторое предпочтение «мечу», «лагерю», но

¹ *Cic., Cat.*, 3, 15; 23. «Император» здесь — республиканский титул победоносного полководца.

² *Cic., Cat.*, 3, 26; ср. *Cic., fam.*, 5, 7, 3.

³ *Cic., Cat.*, 4, 5.

⁴ *Cic., Cat.*, 4, 21.

как только победа и конечный успех перестали вызывать какое-либо сомнение, он уже готов провозгласить приоритет «тоги» над «мечом». Собственно говоря, именно так он и поступает в будущем, причем, чем дальше отодвигается в прошлое день его блистательного триумфа, тем более уверенно говорит он, что именно тогда и произошло величайшее, достойное событие: «оружие отступило перед тогой»¹.

Все это свидетельствует о том, что Цицерон в не меньшей степени, чем Катиллина, тоже находился в плену полисных традиций и иллюзий. Он не мыслил борьбы иным оружием, чем власть консула или авторитет сената, он не представлял себе иного плацдарма этой борьбы, чем римский Форум. Но оружие из арсеналов Римской республики выглядело теперь оружием устаревшего образца, а дальнейшие судьбы государства решались ныне отнюдь не речами или голосованием на Форуме.

Вот почему и Цицерон в момент, казалось бы, наибольшего успеха в своей политической карьере оказывается по существу лишенным серьезной опоры. Он никогда не искал ее в демократических слоях римского населения, да сейчас это, пожалуй, уже и не имело смысла. Подавление заговора Катилины показало всю слабость так называемой римской демократии: ее социальную разнородность, распыленность ее сил, отсутствие организации. Судьба заговора только подтвердила полную безнадежность попыток захватить власть, опираясь на эти распыленные, неустойчивые, бесформенные группы населения.

Но и сенат не был достаточно надежной опорой. Конечно, Цицерон всей своей деятельностью на посту консула стремился заслужить доверие сенатских кругов, добиться наконец того, чтобы стать «своим» в их среде, и в значительной мере преуспел в этих стараниях. Но сложность вопроса заключалась ныне в другом. Изменилось положение самого сената, его роль в государстве. Прежний непререкаемый авторитет был утрачен. Сенат перестал быть единственным средоточием политического руководства. Поддержка сената и опора на сенат не всегда гарантировали теперь устойчивость положения.

¹ См., напр., *Cic., off.*, 1, 77.

В этой ситуации концепция Цицерона, концепция содружества «меча» и «тоги» или даже приоритета «тоги», выглядела более чем сомнительно. Развитие событий подсказывало скорее обратное соотношение. И если в ходе только что ликвидированного заговора обращение Катилины к армии можно было рассматривать как вынужденный шаг, почти как акт отчаяния, то вместе с тем все более прояснялось значение армии — наиболее организованной силы, а потому и единственной реальной опоры в политической борьбе.

Однако это был путь, не только непредусмотренный, но и решительно отвергаемый всеми республиканскими нормами и традицией, всей системой политической демократии. Избрание подобного пути неизбежно вело к коренной ломке самой этой системы. Не всякий мог понять неизбежность и необходимость такой ломки, поняв — отважиться, отважившись — суметь. Излишне говорить, насколько чужд был Цицерон подобному образу мыслей и действий.

Наоборот, Цицерон был еще уверен в своем успехе, верил в него и не понимал всей иллюзорности одержанной победы. Он все еще находился под впечатлением восторженных кликов, приветствий, бурных рукоплесканий. Он — отец отечества, «император в мирной тоге», он — второй Ромул, если не основавший Рим, то спасший его от верной гибели. Безусловно, судьбой назначен один и тот же срок — и этот срок продлится вечно — как для процветания римского государства, так и для памяти о его консульстве¹.

¹ *Cic., Cat.*, 3, 2; 26.

Между триумфом и изгнанием

6

До сих пор политическая карьера Цицерона развивалась весьма успешно, без каких-либо серьезных срывов и даже почти без препятствий. Консулат и победа над Катилиной — кульминационный момент этой карьеры. Но, как иногда бывает, наивысший успех обнаруживает вдруг какую-то внутреннюю слабость, недостаточную прочность основы, а потому, несмотря на внешний блеск и эффект, полную иллюзорность самого успеха.

Есть люди, которых препятствия и неудачи закаляют и даже «тонизируют», других же они лишь выбивают из колеи. Эти другие способны чего-либо добиться, только шествуя от удачи к удаче; не обладая достаточной силой сопротивления, они слишком быстро падают духом, сталкиваясь с более или менее серьезным противодействием. Именно к таким людям и принадлежал Цицерон. У него не было ни опыта, ни любви к преодолению трудностей. Но ему пришлось скоро — даже слишком скоро! — убедиться в том, что полоса удач и везения кончилась, что фортуна повернулась к нему спиной. И если гром пока не грянул, то тучи начали сгущаться над ним еще до истечения срока консулата.

10 декабря 63 г. вступили в свою должность вновь избранные трибуны. Среди них был и Квинт Цецилий Метелл Непот — один из представителей некогда могущественной, а ныне в значительной мере деградировавшей «династии» Метеллов, с которой у Цицерона были особые счеты после его участия в процессе Верреса. Метелл Непот прибыл в Рим еще летом 63 г. непосредственно из армии Пом-

пея, легатом которого он состоял. Кроме того — и это обстоятельство имело не меньшее значение в условиях политической жизни Рима, — он был также его шурином. Задачей Метелла являлась соответствующая подготовка общественного мнения накануне возвращения Помпея с Востока, так сказать, «расчистка» ему дороги¹. Однако эта акция, нехитрый смысл которой был слишком очевиден, сразу же вызвала ответные меры сенатских кругов, и одновременно с Метеллом народным трибуном был избран Катон, слышавший одним из наиболее непримиримых ревнителей конституционных традиций и сугубо «принципиальным» человеком, человеком, который на самом деле, как некоторые так называемые принципиальные люди, мог проявить и здравый смысл, и объективность, и даже определенное мужество, пока речь шла о том, что его лично никак не касалось.

Вступив в должность, Метелл Непот начал активную кампанию против Цицерона. Для последнего это не было неожиданностью, так как еще и до 10 декабря Метелл позволял себе резкие выпады против консула. Все попытки Цицерона обеспечить одобрение Помпеем своей расправы с катилинарцами, а затем найти путь к примирению с враждебным ему трибуном, используя для этого весьма тривиальный, но зато почти всегда эффективный способ — действовать через женщин², не дали на сей раз ожидаемых результатов. Поэтому после 10 декабря Метелл Непот и его коллега, бывший катилинарец Л. Кальпурний Бестиа, стали открыто обвинять Цицерона в незаконной казни римских граждан. Когда же последний по окончании срока своих полномочий, накануне январских календ, пожелал обратиться к народу с речью, ему было в этом отказано и позволено произнести лишь обычную в этих случаях клятву, что он за время своей магистратуры не нарушал законов. Со свойственной ему изворотливостью в подобных делах Цицерон фактически обошел запрет и превратил произнесение клятвы в речь, в которой снова восхвалял свои действия по подавлению

¹ *Ed. Meyer. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius. Stuttgart und Berlin, 1922. S. 37.*

² Через Клодию — жену Квинта Метелла Целера, брата Непота, и через Муцию — сводную сестру Метеллов, жену Помпея (см. *Cic., fam., 5, 2, 6*).

заговора, и сумел добиться одобрения собравшегося народа.

Тем не менее Метелл Непот снова обрушился на Цицерона 1 января 62 г. в заседании сената, а 3 января — на народной сходке с явным намерением подготовить привлечение его к суду. На сей раз Метелл опирался на поддержку не только своего коллеги Кальпурния Бестии, но и претора Цезаря, вступившего в исполнение своих обязанностей с 1 января 62 г. Цицерон отвечал на яростные нападки Метелла в не дошедшей до нас речи. Кроме того, в его защиту выступил в народном собрании Катон, который, если верить Плутарху, сумел настолько возвеличить консулат Цицерона, что именно тогда ему и были оказаны небывалые почести: он был провозглашен отцом отечества¹. В это же время сенат принял решение, что всякий, кто попытается требовать отчета от участников казни катилинарцев, будет объявлен врагом государства.

Однако агитационная кампания, проводившаяся Метеллом Непотом, а ныне и объединившимся с ним Цезарем, отнюдь не исчерпывалась выступлениями против Цицерона, который был в данный момент лишь наиболее уязвимой мишенью. Помпеянец Метелл и — в силу сложившихся к данному моменту обстоятельств — еще более ярый помпеянец Цезарь стремились подготовить условия для того грядущего государственного переворота, который, по их — а кстати, и не только по их² — мнению, должен был произвести Помпей, вернувшись со своей армией с Востока. Имея эту общую цель, каждый из них, конечно, действовал по-своему: Метелл прямолинейно и беззастенчиво «расчищал дорогу», Цезарь же, считая, видимо, победу и господство Помпея неизбежным фактом ближайшего будущего, стремился всеми силами не допустить его сближения с сенатскими кругами, сохранить его для «демократии», а тем самым спасти и свое собственное, весьма пошатнувшееся политическое положение.

В связи с этим он сразу же после вступления в должность внес явно провокационное предложение о том, чтобы восстановление Капитолия (после по-

¹ *Plut.*, *Cic.*, 23; см. также *App.*, b. c., 2. 7.

² См., напр., о поведении Красса: *Plut.*, *Pomp.*, 43; ср. *Cic.*, *Flac.*, 32.

жара 83 г.), порученное после смерти Суллы консулу 78 г. Квинту Лутацию Катулу и так с тех пор и оставшееся за ним, было передано Помпею.

Предложение, конечно, не прошло, так как оптиматы, по словам Светония, отказались приветствовать вновь избранных консулов и толпами устремились в собрание, дабы поддержать одного из своих вождей и дать отпор Цезарю¹. Но Цезарь и не настаивал на своем предложении; тактическая цель была им уже достигнута: с одной стороны, он эффектно продемонстрировал свою преданность Помпею, с другой — был бит новый клин между Помпеем и оптиматами².

Еще большее беспокойство вызвали предложения Метелла Непота, опять-таки поддержанные Цезарем. Непот предлагал, чтобы Помпею было разрешено заочно баллотироваться в консулы и чтобы он был вызван с войском из Азии для ведения войны против Катилины. Это была совершенно неприкрытая агитация за военную диктатуру. Обсуждение этих предложений в народном собрании проходило в ожесточенной борьбе.

Метелл и Цезарь привели в собрание толпу вооруженных приверженцев и даже гладнаторов. Однако Катон и его коллега Квинт Минуций Терм, рассчитывая на свою трибунскую неприкосновенность, предприняли смелую попытку интерцессии. Когда Метелл хотел зачитать письменное предложение, Катон вырвал у него манускрипт, а Терм даже зажал ему рот. Произошла свалка, во время которой Катона чуть не убили — его спас консул Мурена, тот самый, обвинителем которого Катон выступал всего несколько недель тому назад. Шум и суматоха были таковы, что Метелл не смог довести дело до голосования.

После этого сенат облачился в траурные одежды, консулам вручались чрезвычайные полномочия. В результате этого Метелл и Цезарь были отрешены от своих должностей. Метелл, выступив с обвинительной речью против Катона и сената, уехал из Рима к Помпею. Цезарь же решил игнорировать решение сената и продолжал выполнять обязанности претора. Но, узнав, что против него готовы применить силу, он

¹ *Suet.*, Jul., 15.

² *Ed. Meyer. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*, S. 40.

распустил ликторов и заперся в своем доме. Когда же к его дому явилась возбужденная толпа, готовая любой ценой восстановить его в должности, он уговорил ее разойтись. Сенат, убедившись на этом примере в лояльности, а главное, в популярности Цезаря и опасаясь новых волнений, выразил ему благодарность, пригласил в курию и, отменив свой прежний декрет, восстановил его в должности.

Очевидно, в это же время¹ сенатом была предпринята акция и несколько иного рода: по предложению Катона, число тех, кто получал от государства хлеб, было настолько увеличено, что ежегодный расход на эти раздачи возрос на 7,5 миллиона денариев. Плутарх не скрывает, что это мероприятие было проведено с целью вырвать городской плебс из-под влияния Цезаря².

Таковы были события, развернувшиеся в самом Риме в январе 62 г. В это же время на севере Италии, под Писторией, разыгрался последний акт трагедии, именуемой заговором Катилины. Растеряв значительную часть сторонников, но вместе с тем, как истый патриций, отказываясь принимать в свое войско беглых рабов, которые, по свидетельству Саллюстия, вначале стекались к нему огромными толпами³, Катилина решил померяться силами с высланным против него войском под командованием консула Гая Антония. Антоний же, которому в этом сражении приходилось выступать против своих бывших союзников и единомышленников, передал под предлогом болезни командование своему легату Марку Петрею. Произошла упорная битва; исход ее описан Саллюстием в следующих словах: «Когда Катилина увидел, что его войска разбиты и что он остается с небольшой кучкой людей, он, помня о своем происхождении и прежнем достоинстве, бросается в тесно сомкнутый строй врагов и, сражаясь, падает пронзенный»⁴.

¹ Плутарх относит действия Катона к более раннему времени, к концу 63 г. (*Cato min.*, 26; *Caes.*, 8), но еще Г. Ферреро («Величие и падение Рима», т. I. М., 1915, стр. 268) сомневался в правильности такой датировки. Ср. *Ed. Meyer. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*, S. 40.

² *Plut.*, *Caes.*, 8.

³ *Sall.*, *Cat.*, 56.

⁴ *Sall.*, *Cat.*, 60.

После этих бурных событий остальные месяцы года протекали довольно спокойно. Правда, на протяжении всего 62 г. не прекращались политические процессы против бывших катилинарцев. Одним из последних был, очевидно, процесс Публия Корнелия Суллы, племянника диктатора. Его обвиняли в том, что он якобы принимал участие в так называемом первом заговоре Катилины в 65 г. В качестве защитников выступали Квинт Гортензий и Цицерон. Последний находился в несколько щекотливом положении, так как было известно, что он занял у Публия Суллы крупную сумму денег при покупке дома на Палатине. Однако Цицерона это обстоятельство не остановило. Процесс Суллы окончился его оправданием.

Гораздо важнее всех этих процессов был вопрос о предстоящем возвращении Помпея с его войском. Однако и здесь напряженность ситуации в значительной мере разрядилась: Катилина был разбит, на провал своего агента Метелла Помпей реагировал лишь тем, что обратился с просьбой отложить консульские выборы до его прибытия, дабы он мог оказать поддержку кандидатуре одного из своих легатов — Марку Пунию Писону. Конечно, после этого — и опять-таки не без участия Катона — в просьбе было отказано, хотя на состоявшихся затем выборах кандидатура Писона все же прошла.

Но Помпей сумел удивить даже тех, кто, может быть, и не связывал его возвращение с неизбежностью гражданской войны. Высадившись в декабре 62 г. со своим войском в Брундизии, он, даже не ожидая какого-либо решения сената или комиций по поводу возвращения с победоносной войны, распустил свою армию и в самом строгом соответствии с существующим обычаем в качестве рядового гражданина направился к Риму, чтобы за чертой города ожидать соответствующего разрешения на триумф. Такого примера лояльности и законопослушания в Риме не видывали со времен господства полулегендарных «обычаев предков».

* * *

Поведение Помпея в декабре 62 г. вызывало удивление и разноречивые оценки не только у современников или древних авторов, но и у новейших историков. Так,

например, Моммзен со свойственной ему яркостью и безапелляционностью характеристик писал: «Если получить корону без всякого труда может считаться счастьем, то счастье никогда не делало ни для одного смертного больше, чем для Помпея, но даже боги напрасно расточают свои дары тем, кто лишен мужества». В другом месте он снова подчеркивает этот же момент: «Но когда наступила решительная минута, ему опять изменило мужество». Для Моммзена на стоящем все время перед его глазами фоне гениального Цезаря Помпей всего лишь человек, обладающий в большей степени притязаниями, чем способностями, человек, стремящийся в одно и то же время быть честным республиканцем и властелином Рима, с неясными целями, бесхарактерный, уступчивый, у которого «были все качества для того, чтобы завладеть короной, кроме самого главного — царственной смелости». Моммзен отмечает его по существу безразличное отношение к политическим группировкам, его узкоэгоистические интересы, его стремление и вместе с тем боязнь выйти за рамки законности. Для Моммзена это «человек, совершенно заурядный во всем, кроме своих притязаний...»¹.

Другой крупный историк, Эд. Мейер, который не был столь восторженным поклонником Цезаря, как его знаменитый предшественник, пытается, хотя бы в силу этой причины, подойти к Помпею объективнее. Он специально выписывает тираду Моммзена о короне и дарах богов, для того чтобы ее оспорить. Он считает, что Моммзен исходит здесь из совершенно неправильной предпосылки, ибо Помпей и не стремился к короне, наоборот, если бы она ему была предложена, он бы отверг ее с непритворным возмущением. Рассуждая о поведении Помпея в декабре 62 г., Эд. Мейер признает, что подготовка, проведенная Метеллом, и в особенности история отрешения его от должности, давала предлог для начала гражданской войны, кстати сказать, аналогичный тому, который был использован Цезарем в 49 г. Но одновременно Эд. Мейер подчеркивает, что для Цезаря вопрос шел о жизни и смерти, и потому он был готов ухватиться за любой предлог, тогда как положение Помпея в 62 г. было совершенно иным и еще

¹ См. *Т. Моммзен. История Рима*, т. III, стр. 83, 88, 165.

неизвестно, начал ли гражданскую войну Цезарь, если бы находился в таком положении¹.

Свою общую оценку деятельности и личности Помпея Эд. Мейер начинает со слов о том, что одной из труднейших задач, которые могут быть поставлены перед историком, следует считать справедливую оценку побежденного². Характеристику Помпея, данную Моммзенем, он признает блестящей, но не соответствующей действительности. Он отмечает ряд недостатков, свойственных Помпею как человеку и как государственному деятелю: ограниченность, бесцеремонность по отношению к «партиям» (в смысле бесцеремонной их смены), равнодушие к своим приверженцам, лицемерие, показную преданность законам и морали и соглашается с тем, что эти недостатки характеризуют Помпея как личность некрупную, несоответствующую той роли, к которой Помпей стремился. Здесь он пока солидарен с Моммзенем, однако считает, что последний не прав, отказывая Помпею в военных дарованиях, а в особенности извращая (как, впрочем, и многие другие) его политические цели. В этой связи Моммзен столь же неправильно и столь же извращенно оценивает всю обстановку политической борьбы последних десятилетий Римской республики³.

Эд. Мейер утверждает, что политические взгляды и цели Помпея на всем протяжении его жизненного пути совершенно ясны и недвусмысленны. Мысль о том, чтобы ниспровергнуть республику и самому занять положение монарха, была Помпею абсолютно чужда. Он дважды (в 70 и 62 гг.) удержался от искушения возглавить преданную ему целиком армию с целью захвата единоличной власти. Поэтому и война между Цезарем и Помпеем вовсе не была, как это обычно трактуют, борьбой двух претендентов на престол, скорее это было состязание трех возможных типов государственного устройства: старой сенатской республики (так называемая демократия была окончательно подавлена и не играла ныне никакой политической роли), эллинистической монархии Цезаря и, наконец, той полити-

¹ *Ed. Meyer. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*, S. 42—43.

² *Ibid.*, S. 3.

³ *Ibid.*, S. 4.

ческой формы, выразителем которой и был Помпей, т. е. принципата. И дальше Эд. Мейер развивает свое основное воззрение на «принципат» Помпея, который якобы предвосхищал режим, установленный Октавианом Августом ¹.

На наш взгляд, обе вышеприведенные характеристики страдают одним и тем же недостатком. В них вольно (как у Моммзена) или невольно (как у Эд. Мейера) Помпей сопоставляется с Цезарем, или, вернее, происходит сопоставление в более общем и широком смысле — сопоставляется некий эталон гения с эталоном посредственности, ограниченности. Причем представлению об эталоне гения, как правило, сопутствует тот взгляд, что истинно выдающемуся государственному деятелю всегда свойственно стремление к захвату единоличной власти и, собственно говоря, именно это стремление и делает того или иного политического деятеля выдающимся, гениальным. В этом плане небезынтересно отметить парадоксальное обстоятельство: Помпею обычно вменяются в упрек те самые качества, о которых применительно к другим политическим деятелям (например, Марий, Сулла, наконец, Цезарь) с сожалением говорится как об отсутствующих в данном случае моральных нормах и критериях.

Очевидно, если отказаться от подобного предвзятого и неприемлемого в методологическом отношении противопоставления «гения» и «посредственности», личность Помпея без особого труда может занять подобающее ей место. Это был крупный римский вельможа, в меру образованный и просвещенный — его последняя фраза, обращенная к жене и сыну за несколько минут до трагической гибели, была цитатой из Софокла ²—и, видимо, с ранних лет воспитанный в духе аристократического уважения к римским законам и обычаям. Его наиболее характерной чертой было отсутствие авантюризма, т. е. того качества, которое импонирует многим историкам, как древним, так и новейшим. Отсюда — безусловная лояльность, выполнение всего, что должно и как должно. Он действительно дважды получал «неограниченный империй» и пользовался та-

¹ *Ed. Meyer. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius, S. 4—5.*

² *Plut., Pomp., 78.*

ким объемом и широтой власти, каких не имел до него ни один римский военачальник, но оба раза это было сделано «законно», в соответствии со всеми требованиями римской конституции. Он также дважды (в 70 и 62 гг.) распускал свои войска вопреки всем ожиданиям (во всяком случае в 62 г.), что опять-таки диктовалось обычаям и неписаными положениями римской конституции. Наконец, он еще раз получил фактически неограниченную власть, когда в дальнейшем, в 52 г., был избран консулом «без коллеги»¹. Но и на сей раз, хотя самая магистратура была неслыханной и, вообще говоря, противоречащей римской конституции, избрание его было обставлено вполне «законно».

Таким образом, сам Помпей, по своей инициативе, ни разу не нарушил ни законов, ни традиций и поступал так, «как должно». Конечно, ему иногда приходилось искать окольные пути, но он ни разу не действовал антиконституционно. Поэтому вся его карьера — редчайший в истории Рима пример завоевания чрезвычайно крупных успехов «честным» путем, что с удивлением отмечали еще сами древние². Кстати сказать, так, «как должно», он поступал не только в подобных случаях. Таким же образом он действовал во время кампании на Балканском полуострове: одержав победу над Цезарем при Диррахии и считая, что уже сделано все, что должно и как должно, он не развивал успеха и получил затем Фарсал. Думается, что эта гипертрофированная лояльность и стремление поступать «как должно» не могут быть признаны сами по себе ни чертой гениальности, ни чертой посредственности. Но тем не менее это — характерная черта самого Помпея, и потому из того, что было сказано о Помпее Моммзенем, наиболее меткой оказывается, пожалуй, следующая фраза: он «охотно поставил бы себя вне закона, если бы это можно было сделать, не покидая законной почвы»³. Вместе с тем Моммзен совершенно неправ, рисуя облик деятеля и человека более чем посредственного, бесхарактерного, к тому же лишённого мужества. И все это лишь потому, что

¹ *Cass. Dio*, 40, 50; *Plut.*, *Pomp.*, 54; *Caes.*, 26; *Cato min.*, 47; *App.*, b. c., 2, 23; *Suet.*, *Jul.*, 26; *Val. Max.*, 8, 15, 8.

² *Plut.*, *Pomp.*, 46.

³ *T. Моммзен*. История Рима, т. III, стр. 165.

Помпей не протянул руку к короне в тот момент, когда она, по мнению того же Моммзена, лежала от него так близко.

Но с другой стороны, едва ли прав и Эд. Мейер, считающий, что Помпей отказался бы — да еще без всякого притворства! — от царской короны и в том гипотетическом случае, если бы она была ему преподнесена. Пожалуй, нет смысла гадать, как поступил бы в этой маловероятной ситуации Помпей, но какие у нас могут быть основания считать, что, если бы все было проведено и оформлено «должным образом», он вел бы себя иначе, чем после принятия законов, даровавших ему неограниченный империй, или после предложения об избрании его консулом «без коллег».

Но главное не в этом. Представляется весьма маловероятным основание Помпеем «принципата», если, конечно, понимать под этим термином некую телеологически организованную политическую систему, ибо в этом плане «принципат» — такая же конструкция новейших исследователей, как и «эллинистическая монархия» Цезаря¹. Следует иметь в виду, что и принципат Августа, не говоря уже о Помпеевом «принципате», представлял собой на деле отнюдь не заранее начертанную или целесообразно измысленную «систему», но некое политическое образование, сложившееся, во-первых, постепенно, а во-вторых, под влиянием совершенно конкретных факторов.

В заключение можно согласиться с утверждением Эд. Мейера, что Помпей не был политическим мыслителем. Но с другой стороны, ведь и политические мыслители не так уж часто бывают выдающимися государственными деятелями. Помпей же, как и многие военные люди, имел определенное понятие (и чувство!) долга, был человеком дела, а не дальних политических расчетов и комбинаций. Он поступал в каждый данный момент так, «как должно», и, вероятно, мало задумывался над тем, что из этого впоследствии для будущего. Если учесть, что именно так действуют не только посредственности, но гораздо чаще, чем это принято думать, и гении, с той лишь разницей, что последним историки приписывают затем провиденци-

¹ R. Syme. Roman Revolution, p. 54, 59.

альное значение, то образ Помпея становится для нас более ясным.

Однако вернемся к событиям конца 62 г. Поведение Помпея и его действия после прибытия в Италию не принесли ему, как и следовало ожидать, никакой славы и не вплели новых лавров в его венок даже в глазах современников. Ближайшим результатом этих действий оказалось лишь то, что возвращение, ожидавшееся с таким напряженным вниманием и с такими разнообразными опасениями, через несколько дней было почти забыто и вытеснено другими, более злободневными и яркими событиями.

К числу таких событий относилось в первую очередь дело Клодия, которое обычно изображается как характерный пример римской *chronique scandaleuse*, но которое с самого начала приобрело явно выраженный политический характер. По существу это была первая, после разгрома движения Катилины, попытка «демократических» или, точнее говоря, антисенатских сил снова поднять голову и взять реванш за все неудачи и поражения.

Клодий, который в момент совершения своего галантного преступления — он, как известно, в день праздника в честь Доброй Богини, переодетый в женское платье, проник в дом Цезаря, где и происходило это празднование, на свидание с его женой — был уже избран квестором, кроме того, имел довольно широкую известность как представитель антисенатских кругов, как любимец «народа». Этим, очевидно, объясняется и шумно организованный поход против него со стороны сената, и более чем странное поведение Цезаря во всей этой истории.

Дело Клодия рассматривалось в сенате в январе 61 г. Было принято решение обратиться к коллегии понтификов для выяснения вопроса о том, имело ли место в данном случае святотатство. Коллегия понтификов дала утвердительный ответ, и сенат поручил консулам 61 г. Марку Пупию Писону и Марку Валерию Мессале подготовить закон о назначении чрезвычайного трибунала для суда над Клодием. По их предложению предусматривался выбор судей самим претором. Против этого выступил народный трибун Квинт Фуфий Кален, который пытался вовлечь в борьбу вокруг всего этого дела даже Помпея. Сам Клодий, как квестор,

собирал народные сходки, нападая в них на наиболее видных представителей сенатских кругов. Предложение консулов в народном собрании не было принято. Сенату пришлось пойти на некоторую уступку и разрешить народному трибуну Фуфию внести законопроект, по которому судьи для разбора Клодиева дела назначались уже не претором, но избирались обычным путем, т. е. по жребию. Это, несомненно, более благоприятное для Клодия предложение и было принято народным собранием.

После этого, в мае 61 г., состоялся суд над Клодием. Просенатские свидетели обрушились на него с обычным в таких случаях набором обвинений в разврате, кровосмесительстве и т. п. Лукулл, например, дошел до того, что обвинял Клодия в связи с его собственной сестрой, которая, кстати сказать, была замужем за Лукуллом. Цицерон, под нажимом своей жены Теренции, ревновавшей его к другой сестре Клодия, дал наиболее неблагоприятное для обвиняемого показание: когда Клодий пытался уверить суд в том, что в день праздника Доброй Богини его не было в Риме, Цицерон опроверг его алиби, сообщив, что Клодий в этот день заходил к нему домой. Цезарь же, наоборот, заявил, что ему по существу дела ничего не известно, а на вопрос о причине развода с женой ответил одной из своих «исторических фраз»: его жена должна быть даже вне подозрений.

Во время судебного разбирательства толпа на Форуме настолько явно выражала свое сочувствие Клодию, что судьи потребовали от консулов вооруженной охраны. Но ее так и не пришлось использовать, ибо, к негодованию и растерянности просенатских деятелей, Клодий был оправдан (31 голосом против 25)¹. Цицерон был, конечно, уверен в подкупе судей и открыто говорил об этом. О его негодовании свидетельствуют письма к Аттику, в которых он утверждает, что благодаря оправданию Клодия укрепление государства и единение всех достойных граждан, достигнутые якобы в его консульство, теперь повержены в прах одним этим ударом². И хотя подобные ламентации были явным преувеличением, зато бесспорным

¹ *Cic., Att.*, 1, 16, 5.

² *Cic., Att.*, 1, 16, 6; 1, 18, 3.

фактом было другое: в лице Клодия Цицерон нажил себе отныне непримиримого и смертельного врага.

Дело Клодия, занявшее почти всю первую половину 61 г., имело для сената еще тот смысл, что давало возможность оттягивать под различными предложениями рассмотрение требований, настойчиво выдвигаемых Помпеем. Речь шла об утверждении ряда сделанных им в Азии распоряжений и о наделении его солдат землей. Сам Помпей в первые дни после своего возвращения пытался установить контакт с сенатом. Его выступления в связи с делом Клодия носили, как с удовлетворением отмечает Цицерон, «весьма аристократический характер»¹.

Однако очень скоро Помпей смог убедиться, что, действуя таким путем, он ничего не добьется. Следовало искать каких-то «окольных путей». Приближались консульские выборы на 60-й год. Одним из кандидатов был Квинт Цецилий Метелл Целер, с сестрой которого, Муцией, Помпей только что развелся. Очевидно, считая, что эта кандидатура в данной ситуации его не устроит, Помпей выдвигает нового претендента — Луция Афрания, бывшего его легатом в Азии, причем не останавливается перед самым беззастенчивым подкупом. В развернувшейся предвыборной кампании подкупы достигли таких масштабов, что последовало два специальных решения сената. Тем не менее на состоявшихся 27 июля 61 г. выборах прошли кандидатуры Метелла Целера и Луция Афрания.

Через два месяца после этих выборов, в последних числах сентября, состоялся пышный двухдневный триумф Помпея. Он красочно описан Плинием Старшим, Аппианом, Плутархом и другими античными авторами². В первый день триумфа в процессии были пронесены две огромные таблицы, на которых были перечислены крупнейшие деяния Помпея: его победы над 22 царями, распространение римских владений до Евфрата, увеличение годового дохода римского государства (благодаря податям с новых провинций) с 50 до

¹ *Cic.*, *Att.*, 1, 14, 2.

² *Plin.*, *N. h.* 37, 2; 6; 12; *App.*, *Mithr.*, 116—117; *Plut.*, *Pomp.*, 45; *ср. Cass. Dio.*, 37, 21; *Liv.*, *ср.*, 103; *Vell. Pat.*, 2, 40; *Val. Max.*, 8, 15, 8.

85 миллионов драхм, перечисление покоренных стран и народов во всех трех частях света. За этими двумя таблицами двигались нескончаемым потоком колесницы и мулы, нагруженные военными доспехами, золотом, сокровищами, художественными изделиями, драгоценной утварью, произведениями искусства. На следующий день процессия состояла из «живых трофеев»: сначала были проведены толпы пленных из различных стран, затем шли знатные лица и заложники, среди которых было семь сыновей Митридата, Аристокл с сыном и двумя дочерьми, сын Тиграна, вожди пиратов, албанские и иберийские князья. Наконец, окруженный блестящей свитой из своих легатов и трибунов, на украшенной жемчугом колеснице следовал сам триумфатор, облаченный в тунику, которую, по преданию, носил еще Александр Македонский.

Но все это было лишь красочным спектаклем в пышных декорациях. Ни сам Помпей, ни его влиятельные противники из сенатской среды не питали на этот счет никаких иллюзий. Обстановка в сенате была в данное время малоблагоприятной, и Помпей едва ли мог рассчитывать на удовлетворение своих главных требований. Намечался раскол между сенаторским и всадническим сословиями, кроме того, в сенате — после провала осуждения Клодия — открыто господствовали ультраконсервативные лица и настроения. Помпей вынужден был снова искать окольных путей: он старается сблизиться с Цицероном и с Катоном — у последнего он даже просит двух племянниц (или дочерей), с тем чтобы на одной из них жениться самому, а другую выдать за своего старшего сына, однако получает отказ.

Обсуждение требований, выдвинутых Помпеем, состоялось в сенате лишь в начале 60 г. Оба консула, и Метелл Целер и даже Луций Афраний, на которого Помпей возлагал такие надежды, оказались недостаточной опорой. Враждебную кампанию открыл Лукулл, который получил наконец возможность свести старые счеты с Помпеем. Он выступил против суммарного утверждения сделанных Помпеем распоряжений и предложил обсуждать их в отдельности, по пунктам, что, конечно, открывало простор нескончаемым дискуссиям. Его немедленно поддержали Квинт Метелл Критский, Красс и Катон.

Убедившись на этом примере, насколько длительной, а скорее всего, и бесплодной будет борьба в сенате за осуществление его требований, Помпей решил в отношении аграрного вопроса действовать иным образом. В самом начале 60 г. близкий ему трибун Луций Флавий внес проект аграрного закона¹. Проект затрагивал наделения землей, осуществленные при Сулле и даже при Гракхах. Вопрос ставился так: земля должна покупаться в течение пяти лет на доходы от податей с тех новых провинций, которые были завоеваны Помпеем. Цицерон выступил в защиту аграрного законопроекта, оговорив в нем, однако, ряд существенных изменений². Но против закона ополчился на сей раз не только вечный оппозиционер из консервативного лагеря — Катон, но и консул 60 г. Метелл Целер. Борьба вокруг законопроекта разгорелась столь ожесточенная, что Флавий, желая сломить упорное сопротивление Метелла, прибегнул к крайнему средству: заключил консула в тюрьму и запретил ему сношаться с сенатом. Помпею пришлось исправлять промах своего не в меру ретивого сторонника и отказаться от проведения аграрного закона³.

Таким образом, Помпей пока терпел неудачу за неудачей. Положение его становилось критическим: контакт с сенатскими кругами не только не налаживался, но, наоборот, пропасть заметно расширилась и, казалось, ничто не могло ее заполнить. С другой стороны, он не мог и не хотел отказаться от своих требований, реализация которых была тесно связана со всей его репутацией, его положением в государстве. Помпей, кстати сказать, проявил в этой столь неблагоприятно сложившейся для него ситуации определенную политическую осмотрительность, гибкость и целеустремленность. Очевидно, следовало искать других возможностей. И эти возможности были им найдены.

* * *

В июне 60 г. возвратился из Испании в Рим Юлий Цезарь. Он приехал оттуда богатым человеком, хотя перед своим отъездом был настолько опутан долгами,

¹ *Cic., Att.*, 1, 18, 6.

² *Cic., Att.*, 1, 19, 4.

³ *Cass. Dio*, 37, 50.

что кредиторы не хотели выпускать его из Рима. Ему удалось отправиться в свою провинцию только после того, как Красс поручился за него огромной суммой — более 800 талантов! Однако он вернулся не только разбогатевшим, но и укрепившим свою политическую репутацию, свое общественное положение. Собственно говоря, именно с этого времени он и становится приметной фигурой не только римского Форума, но и римской истории. В этой связи — несколько биографических данных.

Гай Юлий Цезарь родился в 100 г. до н. э. (или, по мнению некоторых историков, в 104 г. до н. э.). Он происходил из старинного патрицианского рода Юлиев, возводившего свое начало к легендарным прародителям римлян. Однако по своим родственным связям Цезарь был близок к видным деятелям, представлявшим интересы демократических кругов, к популярам. Его тетка была женой знаменитого Гая Мария, а первая жена — дочерью Корнелия Цинны. Кстати, Сулла, вернувшись из восточного похода в Рим, потребовал, чтобы молодой Цезарь развелся со своей женой. Цезарь не выполнил требования всемогущего диктатора и потому некоторое время находился в опасном положении. Ему даже пришлось уехать в Азию, и он вернулся обратно в Рим только после смерти Суллы.

С этого времени Цезарь и начинает принимать участие в политической жизни. Прежде всего он стремится снискать популярность среди широких слоев римского населения. Ради этой цели он не жалеет ни сил, ни средств, тратя огромные суммы денег на раздачу хлеба, на устройство игр и зрелищ. В 68 г. он впервые решается на политическую демонстрацию весьма определенного толка: использует похороны тетки, а затем и своей жены для того, чтобы в похоронных процессиях открыто пронести изображения Мария и Цинны и в надгробном слове воздать хвалу вождям разгромленной при Сулле римской «демократии». И сторонники, и противники Цезаря расценили эту демонстрацию как определенную заявку молодого политического деятеля на то, что он попытается вновь объединить и сплотить демократические силы.

В 65 г. Цезарь избирается эдилом. Сохраняя верность намеренной им линии, он ознаменовал свой эдилитет организацией роскошных зрелищ (однажды

он вывел на арену 320 пар гладиаторов в серебряных доспехах), а также тем, что восстановил в Капитолии статую и трофеи Мария, убранные оттуда в свое время по распоряжению Суллы. В 64 г. он привлек к суду двух видных сулланцев, обвинив их в убийстве римских граждан. В 63 г. Цезарь избирается верховным жрецом, а на 62 г. — городским претором.

Именно в это время он и организует совместно с трибуном Метеллом Непотом активную кампанию в пользу Помпея, ожидая его возвращения из Азии. В ходе этой кампании, как уже говорилось, дело доходило до весьма ожесточенных столкновений¹. По окончании срока претуры Цезарь получил назначение в Испанию. Здесь он вел удачные военные действия, подчинил непокорные еще Риму племена лузитанов и каллаикув, в области внутреннего управления урегулировал отношения между кредиторами и должниками (не забыв при этом и собственных интересов) и добился через сенат отмены податей, наложенных на местное население его предшественниками. «Совершив эти дела, получившие всеобщее одобрение, — пишет Плутарх, — Цезарь выехал из провинции, где он и сам разбогател и дал возможность обогатиться во время походов своим солдатам, которые провозгласили его императором»².

Цезарь вернулся из Испании весьма спешно, не дождавшись даже своего преемника по управлению провинцией. Причина этой спешки заключалась в том, что он решил выставить свою кандидатуру на предстоящих консульских выборах. Однако было одно обстоятельство, которое осложняло вопрос о баллотировке его кандидатуры: Цезарь, поскольку он был провозглашен императором, мог претендовать на триумф, но в этом случае он не имел права вступать в город, считался отсутствующим, а будучи отсутствующим, в свою очередь не имел права выставлять свою кандидатуру на выборах. Стремясь найти выход из этого положения, Цезарь обратился в сенат с просьбой разрешить ему заочно домогаться консульского звания, и так как на сей раз имелись основания рассчитывать на благоприятное отношение многих сенаторов, то

¹ См. выше, стр. 179.

² *Plut., Caes., 12.*

неутомимый ревнитель республиканских традиций Катон выступил с явно обструкционистской речью, которая продолжалась целый день. Но сроки истекали, и терять время было нельзя. Поэтому Цезарь принял решение отказаться от триумфа, получив, таким образом, возможность войти в город и выдвинуть свою кандидатуру.

Наиболее непримиримая по отношению к кандидатуре Цезаря группа сенаторов во главе с Катонем выдвинула в качестве противовеса кандидатуру Марка Кальпурния Бибула, который уже был коллегой Цезаря по эдилитету и претуре. Их отношения были далеко не дружественными. Кроме того, желая обезвредить Цезаря на будущее и вместе с тем считая, что он, несомненно, будет избран, сенат еще до выборов принял решение, согласно которому будущим консулам по истечении срока их полномочий назначалось не управление той или иной внеиталийской областью или страной, как это обычно делалось, но лишь «наблюдение за лесами и пастбищами». В результате выборов прошли обе кандидатуры — и Цезарь и Бибул, причем сами кандидаты и их сторонники довольно беззастенчиво занимались покупкой голосов; на сей раз не оказался безупречным даже Катон.

Незадолго до выборов или вскоре после них возникло обстоятельство, имевшее решающее значение для дальнейшего хода событий: заключение между тремя политическими деятелями Рима — Помпеем, Цезарем и Крассом — тайного соглашения (инициатива этого соглашения обычно безоговорочно приписывается Цезарю), известного в новейшей литературе под именем первого триумvirата ¹.

Вопрос о датировке этого соглашения чрезвычайно неясен. Безусловно, прав Эд. Мейер, когда он указывает, что именно тайный характер соглашения не дает возможности точного решения вопроса ². Он был неясен уже и самим древним. Свидетельство единственного современника событий, Цицерона, в силу своей

¹ *Cic.*, *Att.*, 2, 3, 3; 2, 9, 2; *fam.*, 6, 6, 4; *Cass. Dio.*, 37, 54—58; *Plut.*, *Caes.*, 13; *Pomp.*, 47; *Crass.*, 7; 14; *Luc.*, 41; *Suet.*, *Jul.*, 19; *App.*, *b. c.*, 2, 9; *Liv.*, *ep.*, 103; *Vell. Pat.*, 2, 44.

² *Ed. Meyer.* *Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*, S. 59—60.

лапидарности¹ ничего не разъясняет. Все остальные сведения идут, во-первых, от позднейших авторов, а во-вторых, являются довольно противоречивыми. Правда, почти все древние авторы, за исключением Веллея Патеркула², высказываются за 60 г., но Плутарх³, Апиан⁴, Ливий⁵ и Дион Кассий⁶ считают, что тайное соглашение состоялось еще до выборов Цезаря в консулы, тогда как Светоний⁷ относит его к осени 60 г., т. е. вскоре после выборов.

Подобные разногласия в источниках имеют своим следствием тот факт, что и в новейшей историографии существуют различные точки зрения на дату образования первого триумvirата. Многие исследователи называют лето 60 г.⁸, Эд. Мейер, хотя и не считает возможным, как уже говорилось, точно определить дату, склонен все же отодвинуть ее ближе к концу года⁹. Однако есть и такие исследователи, которые относят образование триумvirата к 59 г.¹⁰

Едва ли этот вопрос и может быть решен. Точная датировка «основания» первого триумvirата, на наш взгляд, не только невозможна, но и не нужна, поскольку союз этот складывался постепенно, к тому же втайне, и мы можем определить более или менее точно лишь тот момент, когда он себя впервые «обнаружил».

Гораздо существеннее вопрос о причинах, обусловивших складывание подобного союза, и о его историческом значении. Объединение трех политических деятелей Рима было, конечно, не случайным явлением, а диктовалось определенными политическими интересами, причинами, событиями, т. е. определенной по-

¹ *Cic., Att.*, 2, 3, 3.

² *Vell. Pat.*, 2, 44.

³ *Plut., Caes.*, 13 sqq.; *Cato min.*, 31.

⁴ *App.*, b. c., 2, 9.

⁵ *Liv.*, ep., 103.

⁶ *Cass. Dio.*, 37, 54.

⁷ *Suet.*, Jul., 19.

⁸ Напр., *J. Carcopino. Histoire Romaine*, vol. II. Paris, 1936, p. 677 sqq.; *E. Kornemann. Römische Geschichte*, Bd I. Stuttgart, 1938, S. 572; *R. Syme. Roman Revolution*, p. 35; *E. Ciaceri. Cicerone e i suoi tempi*. Roma, 1941, vol. II, p. 3.

⁹ *Ed. Meyer. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*. S. 60.

¹⁰ *E. Schwartz. Cassius Dio.* — «Pauly — Wissowa Real Encyclopädie».

литической обстановкой. Укажем здесь лишь наиболее характерные черты этой обстановки, которые позволяют понять, как и почему совпали в данный момент интересы членов триумvirата.

Помпея привела в триумvirат крайне «твердолобая» политика сената. Мы имели возможность проследить в общих чертах развитие этой политики после подавления «заговора» Катилины. Никакой гибкости, никакого учета реальной обстановки, никакой позитивной инициативы. Это была даже не политика наступления, но лишь политика глухой, упорной обороны, проводимая с помощью запретов, интриг, обструкций. Единственное мероприятие из числа проведенных за это время сенатом, которое имело какое-то более широкое общественное значение и смысл — увеличение хлебных раздач, — и то было предпринято, как уже указывалось выше¹, в целях узкопартийных интриг. И наряду со всем этим — резко выраженная, часто даже без нужды подчеркиваемая консервативность, которая открыто и демонстративно провозглашалась как приверженность к пресловутым *mos maiorum* — понятие, давно превратившееся для рядового римлянина в пустой звук.

Так было в период трибуната Метелла Непота, в период претуры Цезаря, так же было и после возвращения Помпея с Востока, когда началась его длительная тяжба с сенатом. Однако этому не приходится удивляться, если только вспомнить, каковы были фигуры людей, считавшихся в то время руководителями сената. Это — старый сулланец Катул; бездарный и твердолобый коллега Цезаря по эдилитету, претуре, а затем и консулату Бибул; Лукулл, который проявлял интерес к общественным делам как будто лишь тогда, когда он мог причинить какую-либо неприятность своему старому сопернику Помпею и, наконец, Катон, про которого Цицерон, будучи в общем почти его единомышленником, тем не менее с иронией говорил: «Он забывает, что находится не в государстве Платона, а среди подонков Ромула»². Это были люди, с которыми невозможно было найти общий язык (попытка Помпея породниться с Катоном — и то не удалась!), более

¹ См. стр. 130.

² *Cic., Att.*, 2, 1, 8.

того, это была политика, которая не имела никаких перспектив.

Что касается Красса, то на его решение примкнуть к триумvirату, несомненно, должна была оказать определенное влияние позиция всадников. Мы вскользь упоминали выше о наметившемся расколе между всадниками и сенатом. Суть разногласий состояла в том, что всадникам пришлось не по вкусу внесенный по инициативе Катона вскоре после Клодиева процесса проект постановления сената о следствии над судьями, которых подозревали во взяточничестве. Но еще большее недовольство вызвала реакция сената на просьбу откупщиков отменить существующее соглашение относительно провинции «Азия», так как в свое время увлеченные алчностью они взяли откуп по слишком высокой цене¹.

Несмотря на поддержку (и даже инициативу в этом деле) Красса, а также содействие Цицерона, который, хотя и считал требования откупщиков постыдными, но тем не менее, по тактическим соображениям, выступал за них, из попытки откупщиков ничего не получилось, а Катон окончательно провалил все дело². Это и привело, как неоднократно утверждает тот же Цицерон³, к тому, что всадники «отвернулись» от сената, «порвали» с ним. В подобной ситуации Крассу, который вообще никогда не грешил особой лояльностью по отношению к сенату, был прямой расчет примкнуть к намечавшемуся соглашению. Во всяком случае, этот его шаг вполне совпадал с настроениями, господствовавшими в данный момент среди всаднических кругов.

И наконец, Цезарь. Сторонники телеологического подхода к историческим событиям считают, конечно, что Цезарь, инициатор и организатор так называемого первого триумvirата, уже в этот период своей деятельности преследовал вполне определенные цели, а именно цели установления единоличной, монархической власти. Подобным взглядам не чужды были и сами древние. Так, например, Цицерон (но, само собой разумеется, не в период возникновения триумvirата, а уже

¹ *Cic., Att.*, 1, 17, 9.

² *Cic., Att.*, 2, 1, 9.

³ *Cic., Att.*, 1, 17, 8; 1, 18, 3; 2, 1, 7—8.

после смерти Цезаря) уверял, что Цезарь долгие годы вынашивал идею захвата царской власти¹, а Плутарх писал, что Цезарь под видом гуманного поступка (т. е. примирение Помпея с Крассом) совершил настоящий государственный переворот². В новое время providенциально-монархические устремления Цезарю приписывались Друманном³, конечно, Моммзенем⁴, а затем и Каркопино⁵. Но все это лишь позднейшие выводы и домыслы, в том числе и оценка самого Цицерона.

У нас нет никаких серьезных оснований предполагать, что, примыкая к «союзу трех» или даже организуя его, Цезарь уже ставил перед собой какие-то более далеко идущие цели, кроме тех насущных и злободневных вопросов, которые подсказывались самой политической обстановкой. К ним могут быть отнесены: удовлетворение требований Помпея, умиротворение всадников, стабилизация своего собственного политического положения. Конечно, последнее было для Цезаря первоочередной и наиболее актуальной задачей, но приступить к ее реализации он мог лишь после удовлетворительного решения двух первых вопросов.

Однако из всего вышеизложенного отнюдь не вытекает, что созданный для решения ближайших тактических задач «союз трех» не мог их перерасти. Так оно фактически и получилось. Нам кажется справедливым мнение крупного советского исследователя Н. А. Машкина, что прецедентом данного союза можно считать неофициальные предвыборные соглашения, довольно частые и обычные для Рима того времени. Разница лишь в том, что подобные соглашения были всегда кратковременными, в данном же случае политическая обстановка сложилась так, что «временное соглашение превратилось в постоянное и в конечном итоге сыграло большую роль в истории Римской республики»⁶.

¹ *Cic.*, *Phil.*, 2, 116.

² *Plut.*, *Caes.*, 13.

³ *Drumann — Groebe*. *Geschichte Roms in seinem Uebergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung*, Bd I—VI. Berlin und Leipzig, 1899—1929.

⁴ См. *Т. Моммзен*. *История Рима*, т. III, стр. 381—386.

⁵ *G. Glotz*. *Histoire générale. Hist. Ancienne. Hist. Romaine*. Paris, 1935. II, *passim*.

⁶ *Н. А. Машкин*. *Принципат Августа*. М. — Л., 1949, стр. 21—22.

С нашей точки зрения, историческое значение так называемого первого триумvirата заключалось в том, что он был воплощением — в лице трех политических деятелей Рима — консолидации всех антисенатских сил. Таким образом, его возникновение, независимо от тех целей, ради которых он был создан, оказывается чрезвычайно важным, даже переломным моментом в истории Рима I в. до н. э. Если и не правы те, кто считает это событие концом республики и началом монархии, то во всяком случае следует со вниманием отнестись к словам Катона, который в свое время говорил, что не столь была страшна для римского государства внутренняя борьба политических группировок и их главарей или даже гражданская война, сколько объединение всех этих сил, союз между ними¹. Если вместо слов «римское государство» подставить слова «сенатская республика» — ибо именно ее имел в виду Катон, — то, пожалуй, его оценку можно принять полностью.

* * *

Более или менее откровенные выразители телеологической точки зрения — от Моммзена и до наших дней — склонны видеть не только в организации первого триумvirата, но и в консулате Цезаря, цепь мероприятий, сознательно проводимых с «дальним прицелом». Даже в сравнительно недавно появившихся работах встречаются утверждения, что первый консулат Цезаря следует рассматривать как прототип его диктатуры².

Однако с подобными утверждениями нельзя согласиться. Не говоря уже о том, что довольно напряженная политическая обстановка и борьба, развернувшаяся в первые же месяцы 59 г., требовали всех сил и внимания к текущим, злободневным вопросам, Цезарь в это время еще не был первостепенной фигурой как среди политических деятелей Рима вообще, так и среди членов триумvirата в частности. Следовательно, говорить о каких-то мероприятиях, проводимых им в

¹ *Plut.*, *Pomp.*, 47; *Caes.*, 13.

² См. напр., *S. J. Ost*. The Date of the *Lex Iulia de repetundis*. — *American Journal of Philology*, 77, 1956, p. 19—27.

расчете на будущее единовластие, абсолютно не приходится. Да и объективный анализ законодательной деятельности Цезаря за время его первого консулата не дает никаких оснований для подобных телеологических выводов.

Цезарь еще до вступления в должность заявил о своем намерении предложить проект аграрного закона. Очевидно, следует говорить о двух аграрных законах Цезаря, как на этом настаивает Эд. Мейер, с которым можно согласиться и по поводу того, что эти законы объединяли основные моменты, имевшиеся в проектах Сервилия Рулла, с теми требованиями, которые в предыдущем году столь неудачно пытался провести в интересах Помпея трибун Флавий¹.

Несмотря на умеренный характер первого аграрного закона, несмотря на все попытки Цезаря сохранить лояльность по отношению к сенату и его заигрывание с отдельными влиятельными сенаторами вплоть до Цицерона и Бибула, проект аграрного закона был встречен крайне отрицательно. Сенаторов шокировало уже то обстоятельство, что в нарушение давних традиций консул вносит аграрные законопроекты, т. е. занимается делами, совершать которые, по словам Плутарха, более подобало бы «какому-нибудь дерзкому народному трибуну, а отнюдь не консулу»².

Однако первый аграрный закон Цезаря действительно был умеренным и осторожным. Он имел в виду раздел государственных земель, за исключением земель в Кампании и некоторых других районах. Кроме того, предполагалась покупка земли за счет средств от податей с новых провинций и военной добычи Помпея, но лишь у лиц, согласных продавать ее по цене, установленной при составлении ценовых списков. Земельные наделы, которые могли быть получены по этому закону, нельзя было отчуждать в течение 20 лет. Для проведения закона в жизнь предлагалось создать комиссию из 20 человек (в которую, кстати говоря, Цезарь решительно отказался войти и в составе которой руководство поручалось коллегии из пяти человек).

¹ *Ed. Meyer. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius. S. 62—63.*

² *Plut., Caes., 14; ср. Pomp., 47; Cato min., 52.*

Внося свой проект аграрного закона в сенат, Цезарь заявил, что он даст ему ход лишь при условии одобрения проекта сенатом и что он согласен пойти на приемлемые изменения и дополнения к проекту. Вместе с тем, для того чтобы поставить сенат под контроль общественного мнения, Цезарь впервые ввел регулярную публикацию отчетов о сенатских заседаниях и народных собраниях. Однако все эти меры не помогли. Когда после длительных проволочек в сенате все же наконец состоялось обсуждение аграрного законопроекта, то ряд сенаторов высказались против, а Катон, применив излюбленный им способ обструкции — выступление с речью, длящейся до конца заседания, пытался вовсе сорвать голосование законопроекта. Цезарь отдал распоряжение об аресте Катона, но, поскольку вслед за этим большинство сенаторов стало покидать заседание, Цезарю пришлось фактически отменить (через одного из трибунов) свое распоряжение и распустить заседание, заявив, что отныне ему ничего не остается, как обратиться к народу.

Сенатские круги, верные своей тактике, попытались организовать «глухую оборону». Бибул и трое подержавших его трибунов на основании наблюдений за небом говорили о неблагоприятных знамениях и со дня на день откладывали созыв комиций. Наконец Бибул объявил, что вообще все дни текущего года не годятся для проведения народных собраний. Цезарю пришлось назначить день голосования вопреки этим запретам. Сенаторы, собравшись в доме Бибула, решили оказать противодействие в самом народном собрании. Однако, когда Бибул появился на Форуме, еще в тот момент, пока Цезарь выступал с речью перед народом, произошла свалка: консульские фасцы Бибула были сломаны, сопровождавшие его трибуны ранены, а Катона, пытавшегося говорить с трибуны, дважды с нее стаскивали и выносили на руках. После этого закон был принят. Попытка Бибула на следующий день добиться решения сената, объявляющего на основании формальных моментов закон недействительным, уже не имела никакого успеха. Более того, когда Цезарь обязал сенаторов дать клятву в соблюдении принятого закона, то после недолгого колебания даже самые ярые противники как закона, так и лично Цезаря (в том числе Катон) вынуждены были поклясться. После этого были

проведены выборы комиссии двадцати, в которую вошли Помпей, Красс, Теренций Варрон и др. Войти в состав этой комиссии, даже в ее руководящую пятерку, было предложено и Цицерону, но он, поколебавшись, не дал согласил.

Вероятно, в ходе борьбы, развернувшейся вокруг принятия этого аграрного закона, так называемый первый триумvirат, т. е. тайный союз между Помпеем, Цезарем и Крассом, «самообнаружился»: Красс и Помпей впервые выступили в поддержку Цезарева закона «единым фронтом», причем Помпей даже угрожал применением оружия. Нам известно также, что в апреле 59 г. Цицерон уже писал о «союзе трех» как о само собой разумеющемся и всем известном факте¹.

В том же апреле был принят второй аграрный закон Цезаря, согласно которому под раздел попадали и те земли, изъятие которых специально оговаривалось первым законом. При наделении землей предпочтение отдавалось отцам семейства, имеющим трех и более детей. И хотя Цицерон писал, что, узнав об этой новости, он не мог спокойно спать после обеда², второй закон Цезаря прошел, видимо не встретив серьезного сопротивления. Цезарю же благодаря проведению этого второго закона удалось значительно укрепить собственное положение: в первую очередь были удовлетворены Помпей и его ветераны, а затем, по словам Аппиана, Цезарь создал себе таким путем огромное число приверженцев, так как одних только отцов, имеющих трех детей, оказалось 20 тыс. человек³.

Цезарь довольно энергично воспользовался растерянностью, царившей в сенатских кругах после поражения, испытанного ими во время борьбы вокруг первого аграрного закона. Бибул, проявивший неожиданное мужество в момент схватки на Форуме, теперь окончательно сник, заперся в своем доме, продолжая сообщать о неблагоприятных небесных предзнаменованиях и понося Цезаря в своих эдиктах, на что сам Цезарь не обращал серьезного внимания. В ближайшие дни после принятия первого аграрного закона прошли и некоторые другие законопроекты, которые были внесены

¹ *Cic., Att.*, 2, 9, 1—2.

² *Cic., Att.*, 2, 16, 1; ср. 2, 17, 1.

³ *App.*, b. c., 2, 10.

Цезарем непосредственно в комиции (минуя сенат). По одному из этих законов египетский царь Птолемей Авлет, оказавший в свое время существенную поддержку Помпею, провозглашался союзником и другом римского народа, однако далеко не бескорыстно: Птолемей уплатил за эту честь 6000 талантов, которые и поделили между собой Помпей и Цезарь. По второму закону, проведенному, видимо, в угоду Крассу, решался — и весьма благоприятно для публиканов — вопрос, с которым они в свое время безуспешно обращались к сенату: с них снималась треть откупной суммы. Аппиан считает, что благодаря этому ловкому политическому ходу Цезарь привлек на свою сторону всадников, т. е. политическую силу, более значительную, по мнению Аппиана, чем «народ»¹.

Вскоре было выполнено последнее обязательство по отношению к Помпею: через народное собрание прошел закон, который наконец утверждал столь долго не признаваемые сенатом распоряжения Помпея на Востоке. Попытку Лукулла противодействовать этому закону Цезарь моментально пресек, пригрозив ему возбудить судебное преследование за ведение войны в Азии. Лукулл был так напуган, что, если верить Светонию, бросился Цезарю в ноги².

Цезарь безукоризненно выполнил все обязательства, взятые им на себя по отношению к своим коллегам. «Союз трех» заметно окреп и из тайного соглашения превратился в весьма существенный фактор политической действительности. Теперь становились реальностью и некоторые мероприятия, рассчитанные на ближайшее будущее. В частности, вставал вопрос не только о сохранении уже завоеванных позиций, но и об определенном обеспечении политического положения каждого из членов триумvirата в связи с предстоящими консульскими выборами. Проще всего это можно было сделать, как то и практиковалось почти во все времена, при помощи династических браков.

В связи с этим дочь Цезаря Юлия была выдана замуж за Помпея, несмотря на то что она уже была обручена с Сервилием Цепионом. Последнему же была обещана дочь Помпея, кстати сказать, обрученная

¹ *App.*, b. c., 2. 13.

² *Suet.*, Jul., 20.

с Фавстом, сыном Суллы. Сам Цезарь женился на Кальпурнии, дочери Писона. В результате этих матримонимальных комбинаций наметились и кандидатуры для предстоящих выборов: тесть Цезаря Кальпурний Писон и фаворит Помпея Авл Габиний. Катон с негодованием говорил, что нельзя выносить этих людей, которые сводничеством добывают высшую власть в государстве и вводят друг друга с помощью женщин в управление провинциями и различными должностями.

Цезарь, удовлетворив все притязания своих коллег по триумвирату, мог теперь, рассчитывая в свою очередь на их поддержку, подумать о своем ближайшем будущем. Конечно, то незначущее и даже оскорбительное поручение, которое предусмотрел сенат для консулов 59 г. — наблюдение за лесами и пастбищами, — его никак не устраивало. Вместе с тем сложилась такая ситуация, которая давала возможность с большими шансами на успех ставить вопрос о Галлии.

В 62 г., когда в связи с движением Катилины аллоброги сделали попытку отложиться от Рима, против них был направлен Гай Помптий во главе карательной экспедиции; ему удалось восстановить положение. Однако в Трансальпийской Галлии было неспокойно. В 61 г. в Рим прибыл Дивитиак, вождь племени эдуев, который обратился в сенат с просьбой о помощи и поддержке против секванов. В 60 г. в Риме вообще опасались войны с галлами и даже был принят ряд предупредительных мер. После этого наступило временное затишье, и по инициативе Цезаря вождь германского племени свевов Ариовист, призванный арвернами и секванами, был даже признан в Риме царем и провозглашен союзником и другом римского народа.

По проекту закона, внесенному трибуном 59 г. Публием Ватинием, предлагалось передать Цезарю (в связи со смертью Метелла Целера, который получил эту провинцию по жребию в 60 г.) в управление Цизальпийскую Галлию вместе с Иллириком. Срок управления провинцией определялся в пять лет (с 1 марта 59 г.); Цезарю разрешался набор трех легионов и назначение легатов в преторском ранге по собственному усмотрению, без согласования с сенатом. Когда закон Ватиния прошел в комициях, сенату пришлось «сделать хорошую мину при плохой игре» и под

давлением Помпея и Красса присоединить к Цезаревой провинции также Нарбоннскую Галлию с правом набора еще одного легиона. Катон считал, что этим решением сенат сам «вводит тирана в акрополь»¹.

К концу консулата Цезаря наблюдается некоторое изменение в положении триумвиров. Хотя их политические позиции в общем не были ослаблены, все же можно констатировать определенный поворот в общественном мнении по отношению к триумвирату. Пока «союз трех» воспринимался как смелая оппозиция правительству, т. е. сенату, державшему в своих руках власть, он мог пользоваться известным кредитом. Когда же он сам начал превращаться в фактическое правительство, а сенат был вынужден уйти чуть ли не в подполье, то это, естественно, вызвало определенный резонанс. Бесконечные эдикты Вибула, в которых он не стеснялся касаться темных сторон частной жизни Помпея и Цезаря, возбуждали любопытство римского населения и в какой-то степени влияли на настроения. Появился политический памфлет Варрона, где триумвират был назван «трехголовым чудовищем»². Цицерон в своих письмах к Аттику с удовольствием сообщает о том, как было встречено рукописаниями смелое выступление молодого Куриона против триумвиров и как, наоборот, был освистан сторонник Цезаря трибун Фуфий Кален³, или о том, как во время игр в честь Аполлона публика восторженно реагировала на «дерзкие» намеки в отношении Помпея, встретила Цезаря холодным молчанием, а молодому Куриону аплодировала⁴. Не менее характерным признаком некоторого поворота в общественном мнении был инцидент с переносом дня консульских выборов. Цезарем они были намечены на конец июля, но Вибул своим эдиктом перенес комиции на 18 октября, и ни специальное выступление Помпея перед народом, ни попытка Цезаря организовать демонстрацию перед домом Вибула с требованием отменить эдикт успеха не имели. Ватиний был уже готов применить силу и арестовать Вибула, но Цезарь, памятуя, очевидно, неудачный

¹ *Plut.*, *Cato min.*, 33; ср. *Crass.*, 14.

² *App.*, *b. c.*, 2, 9.

³ *Cic.*, *Att.*, 2, 18, 1.

⁴ *Cic.*, *Att.*, 2, 19, 3.

опыт с арестом Катона, удержал его от этого рискованного шага и согласился на перенос избирательных комиций.

Итак, консулат Цезаря едва ли содействовал популярности «союза трех» в целом. Хотя с момента «демаскировки» триумvirата Цезарь стал всегда в сенате предоставлять первое слово Помпею (до этого он обычно давал его Крассу), чем подчеркивалось теперь его официальное положение принцепса сената, первого гражданина республики, все же это положение, к которому Помпей столь долго стремился и которого наконец достиг, досталось ему в значительной степени ценой потери прежнего авторитета и популярности¹. Положение Красса вообще мало в чем изменилось. Пожалуй, наиболее окрепшей фигурой в политическом отношении из «союза трех» к концу 59 г. следует считать самого Цезаря, хотя и его положение было далеко не бесспорным.

Поэтому абсолютно неправильно рассматривать консулат Цезаря как некое провиденциальное событие или по меньшей мере прототип его будущего единодержавия. Цезарь, подобно многим другим политическим деятелям того времени, стремился к власти и руководящему положению, но в 59 г. он еще не мог реально ставить перед собой столь далеко идущие цели. Да и все мероприятия, проведенные им за время его консульства, в силу необходимости имели лишь злободневный, текущий и «краткосрочный» характер.

И наконец, консулат Цезаря нельзя считать осуществлением традиционной программы вождей популяров. Если аграрные законы Цезаря на первый взгляд были выдержаны в духе подобных традиций, то последние проявлялись только в области внешней формы, но отнюдь не в существе проводимых мероприятий. Кроме того, другие законы и мероприятия Цезаря, осуществленные за время его консулата, даже и по форме не приближались к традиционному законодательству популяров. Может быть, и не столь уж наивно приводившееся выше высказывание Аппиана, который усматривал в законе Цезаря, проведенном в интересах публиканов, попытку найти не-

¹ *Ed. Meyer. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius, S. 82.*

кую новую опору, более значимую и надежную, чем «народ»¹.

Мы отнюдь не хотим и не пытаемся на основании сказанного утверждать, что Цезарь уже во время своего первого консульства открыто отходил от популяров — в тот период подобный шаг был бы для него попросту ничем не оправдан, — но, возможно, ему уже было не чуждо определенное понимание того, что недостаточно организованная, неспаянная общностью интересов масса «народа» не может служить прочной опорой. Некоторые выводы, которые можно было извлечь из истории подавления «заговора» Катилины, подкрепленные поучительным опытом Помпея, а затем и опытом собственного консулата, вероятно, толкали Цезаря к основному итоговому решению — получению провинции и четырех легионов солдат.

С другой стороны, имеются, на наш взгляд, определенные данные для того, чтобы говорить о некоторой «реакции разочарования» со стороны демократических слоев Рима в ответ на консулат Цезаря. Так, например, известно, что едва окончился срок этого консулата, как Цезарь и его деятельность подверглись ожесточенным нападкам. Преторы Домиций Агенобарб и Меммий Гемелл сделали попытку, действуя через сенат, объявить законы, проведенные Цезарем за время его консульства, недействительными. Но оба они были открытыми врагами Цезаря, и, кроме того, их нападки были явно «критикой справа». Может быть, более симптоматично выступление народного трибуна Луция Антистия, который пытался даже привлечь Цезаря к суду. Не исключено, что в этой акции были уже отражены настроения вовсе не сенатских кругов, но определенной части самой римской «демократии», хотя сказать что-нибудь более утвердительное в данном случае невозможно как в силу крайней скудости наших сведений, так и потому, что политическая ориентация трибуна Антистия нам совершенно неясна. Но зато помимо этих отдельных и частных случаев мы имеем гораздо более внушительный по своим масштабам, а также по своему

¹ См. выше, стр. 203.

принципиальному значению пример «реакции разочарования» на консульство Цезаря. Такой реакцией был трибунат Клодия.

* * *

Трибунат Клодия, несомненно, последнее крупное политическое событие рассматриваемого периода. Оно представляет для нас особый интерес, поскольку пребывание Клодия у власти сыграло роковую роль в жизни и во всей дальнейшей политической карьере Цицерона. Но дело не только в этом: движение, возглавляемое Клодием (и выходящее, кстати сказать, за хронологические рамки его трибуната), не получило еще, на наш взгляд, достаточно справедливой оценки.

Первые попытки Клодия добиться трибуната, а в связи с этим перейти в сословие плебеев относятся еще к 60 г. Он начинает предпринимать некоторые шаги вскоре после своего столь шумевшего процесса. Однако вместо того, чтобы избрать обычный путь, т. е. усыновление каким-нибудь плебеем, он пытается добиться решения центуриатных комиций о переводе его в плебей. Эта попытка была поддержана консулом Метеллом Целером, который был женат на сестре Клодия. Однако трибуны наложили запрет. Тогда Клодий публично отрекся от своего патрициата. Но на сей раз и Метелл Целер не признал этот акт достаточным основанием для выставления Клодием своей кандидатуры. Таким образом, в 60 г. он не был и не мог быть избран народным трибуном.

В следующем году, в консулат Цезаря, обстановка для Клодия сложилась более благоприятно. Когда во время процесса Антония (коллега Цицерона по консульству, обвиненный после управления Македонией в вымогательствах) защищавший его Цицерон не удержался от резких высказываний относительно положения дел в государстве и едких намеков на Цезаря, то Цезарь в тот же самый день, по свидетельству Светония, провел в куриатных комициях усыновление Клодия неким плебеем по имени Фонтей¹.

¹ *Suet.*, Jul., 20; ср. *Cass. Dio*, 38, 10.

На состоявшихся затем в октябре 59 г. выборах Клодий был избран народным трибуном.

подавляющее большинство новейших исследователей считает, что Клодий был лишь «орудием Цезаря» или его «агентом-provokатором». Однако, на наш взгляд, это весьма распространенное мнение совершенно необоснованно. И так как оно не подтверждается всей дальнейшей деятельностью Клодия, то сторонники этой концепции вынуждены утверждать, что удаление из Рима Цицерона и Катона было операцией, проведенной Клодием по прямому заданию Цезаря и Помпея.

Но подобное заключение, если только внимательно в нем разобраться, не выдерживает серьезной критики. Какую опасность таило для Цезаря или Помпея пребывание Цицерона в Риме? Какую опасность представлял для них сам Цицерон? Ведь нам достаточно хорошо известно, что Помпей в то время неоднократно заверял Цицерона в своей поддержке и защите¹; Цезарь начал с предложения участвовать в триумvirате, а затем предлагал ряд почетных постов² и, наконец, вместе с Помпеем защиту против Клодия³. Конечно, было бы наивно основываться на всех этих акциях как показателях истинно «хорошего отношения», но во всяком случае они являются бесспорным свидетельством отсутствия враждебного отношения триумvirов к Цицерону, а решающим коррективом служит благоприятная реакция как Помпея, так и Цезаря на возвращение Цицерона, как только этот вопрос встал в порядок дня⁴. Во всяком случае, поскольку Помпей, а особенно Цезарь были достаточно реальными политиками и умели для «пользы дела» отвлекаться от личных симпатий или антипатий, то ясно, что в вопросе об изгнании Цицерона они не были, да и не могли быть инициаторами. Однако в силу определенных политических соображений им пришлось пойти на уступки Клодию, что сделать было не так уж трудно, поскольку в их

¹ *Cic.*, *Att.*, 2, 19, 4; 2, 20, 2; 2, 21, 6; 2, 22, 2; 2, 24, 5; *Q. fr.*, 1, 2, 16.

² *Cic.*, *Att.*, 2, 3, 3; 2, 19, 5; *prov. cons.*, 41.

³ *Cic.*, *Q. fr.*, 1, 2, 16.

⁴ *Cic.*, *Att.*, 3, 13, 1; 3, 14, 1; 3, 15, 1; 3, 18, 1; *Plut.*, *Pomp.*, 49.

политических расчетах Цицерон не занимал теперь почти никакого места.

Что касается Катона, то, бесспорно, взаимоотношения между этим столпом сенатской реакции, с одной стороны, и Помпеем или Цезарем — с другой, были гораздо более напряженными. Но тем не менее что мог дать Помпею, а в особенности Цезарю, который покидал Рим минимум на пять лет, отъезд Катона в недолговременную командировку? Как и в чем это могло повлиять на их положение или на их основные политические расчеты? Конечно, никак и ни в чем, зато в данном случае было не только не трудно, но даже приятно пойти еще на одну уступку.

И это действительно были только уступки — о причине их мы скажем позже, — ибо единственным человеком, который по многим причинам мог быть кровно заинтересован в изгнании и диффамации Цицерона, а также хотя бы в недолговременном устранении из Рима Катона — эвентуального и непримиримого оппозиционера первым же его мероприятиям — был, конечно, сам Клодий. И поэтому он вовсе не «орудие» и не «агент-provокатор» триумвиров, а скорее всего вполне самостоятельная и даже враждебная триумвирам сила, как на это намекал сам Цицерон еще до трибуната Клодия¹ и как это показали конфликты с Помпеем и Цезарем уже во время самого трибуната.

Клодий вступил в свою должность народного трибуна 10 декабря 59 г. и сразу же вслед за этим обратился к народу с предложением четырех законов². Первый из них отменял всякую оплату за ежемесячно раздаваемый беднейшему населению хлеб, второй восстанавливал запрещенные в 64 г. так называемые кварталные коллегии и разрешал основывать новые, третий не допускал в дни комиций наблюдение небесных знамений и, наконец, четвертый ограничивал права цензоров при составлении списков сенаторов, запрещая вычеркивать кого-либо из этих списков, если только тот или иной сенатор не подвергся фор-

¹ См. об отношении триумвиров к Клодию: *Cic., Att.*, 2, 7, 3; об отношении Клодия к триумвирам: *Att.*, 2, 12, 2.

² *Cass. Dio*, 38, 13.

мальному обвинению, которое единогласно признавалось всеми цензорами.

Все эти четыре законопроекта были приняты комициями 3 января 58 г., а слабая попытка интерцессии со стороны трибуна Нинния Квадрата, сторонника Цицерона, была легко отведена Клодием. Он пообещал, что, если не будет оказано сопротивления принятию четырех названных выше законопроектов, он не станет выступать с какими-либо предложениями, направленными против Цицерона, и Нинний по просьбе самого Цицерона отказался от своего намерения.

Однако в самом недалеком будущем, очевидно в феврале 58 г., Клодий выступил с новыми законопроектами. Один из них по существу сводился к вопросу об устранении Катона, хотя это устранение предполагалось провести под видом почетного и ответственного задания. Катону поручалось отправиться на остров Кипр, который по завещанию египетского царя отходил Риму. Поручение мотивировалось безупречной честностью Катона, поскольку речь шла о конфискации крупных сумм и имуществ в пользу римской казны, значительно истощенной в последние годы в результате проведения аграрных законов Цезаря, а затем и хлебного закона самого Клодия.

Второй законопроект наносил давно задуманный удар. Он был направлен против Цицерона, хотя имя его не называлось. В законопроекте говорилось о наложении кары — «лишение воды и огня», т. е. изгнание, — на тех магистратов, которые повинны в казни римских граждан без суда. Направленность закона, конечно, была ясна для всех, и прежде всего для самого Цицерона.

Одновременно с этими двумя законопроектами Клодий выдвинул еще и третий — о провинциях. Консулам назначались новые, более выгодные для них провинции, чем те, которые были намечены сенатом, а именно: Писону — Македония, Габинию же — Киликия (затем замененная на Сирию). Весьма прозрачной целью этих предложений Клодия был своеобразный и в общем весьма беззастенчивый подкуп консулов.

Цицерон после опубликования касающегося его законопроекта впал в полное отчаяние. Он облачился

в траур, униженно просил защиты у Писона и Помпея, которому даже бросился в ноги, но в обоих случаях получил отказ, в первом — со ссылкой на Габиния, во втором — на Цезаря. Одетый в бедную и грязную одежду, он не стеснялся останавливаться на улицах Рима всех, кто попадался ему навстречу, ища сочувствия и поддержки.

Всадники и часть сенаторов также облачились в траур. Была отправлена специальная депутация к консулам. Однако даже Писон, на которого Цицерон возлагал большие надежды и который еще совсем на днях предоставлял ему в сенате слово «на третьем месте» (*tertio loco*), считал теперь, что единственный выход для Цицерона — это добровольный отъезд из Рима. Что касается Габиния, то он даже запретил доступ депутации в сенат, выслал из Рима особенно активного ходатая за Цицерона всадника Элия Ламию, а сенаторам предписал немедленно снять траур. Когда же ряд сторонников Цицерона и депутация, направлявшаяся к Габинию, подверглись нападению вооруженных людей Клодия и когда сам Катон посоветовал Цицерону добровольно уехать из Рима, дабы избежать бесполезного кровопролития, последнему уже ничего не оставалось, как только последовать этому благому совету.

Клодий собрал в цирке Фламиния, за чертой города, сходку, на которой оба консула выступили с осуждением расправы над катилинарцами и были поддержаны Цезарем. Закон, направленный против Цицерона, был принят, очевидно, 20 марта. Одновременно с ним утверждался закон о провинциях, а вскоре после этого и тот, согласно которому Катон направлялся на Кипр. Цицерон покинул Рим, как известно, до принятия решения, затем отбыл Катон и Цезарь; последний только теперь отправлялся в свою провинцию.

Устранение этих трех лиц окончательно развязало руки Клодию. Он развивает бурную деятельность. В день принятия закона, направленного против Цицерона, его дом в Риме был сожжен, его виллы разграблены, и Клодий заявил о своем желании на месте разрушенного дома воздвигнуть храм Свободы. Затем, чтобы превратить добровольное изгнание Цицерона в акт, имеющий юридическое значение и си-

лу, Клодий проводит новый закон, уже открыто направленный против Цицерона. Последний гласил, что именно Цицерон подпадает под более ранний, сформулированный в общем виде закон, что решение сената, на основании которого казнили катилинарцев, было фальшивкой; под страхом смертной казни запрещалось предоставлять убежище изгнаннику в том случае, если он окажется на расстоянии менее 500 миль от Рима, и запрещалось когда-либо в будущем ставить вопрос о пересмотре или отмене закона.

Клодий и его сторонники пользовались в это время безусловной поддержкой широких слоев населения Рима или, как выражается Плутарх, «разнуздавшегося народа»¹. Но Клодий не собирался, тем более в момент своих наивысших успехов, ограничивать поле своей деятельности только Римом. Он начинает активно вмешиваться в дела внешнеполитического характера. Еще в 59 г. он интересовался Арменией и собирался отправиться туда в качестве посла, теперь же он начинает оказывать покровительство отдельным общинам и династам, например Византию, Галлатии, и, наконец, устраивает скандальный побег молодому Тиграну, находившемуся под охраной претора Флавия. Однако эта последняя акция, как и некоторые другие попытки взять под сомнение распоряжения Помпея на Востоке, послужили началом серьезного и длительного конфликта с Помпеем. Клодий открыто шел на этот конфликт, как несколько позже он открыто выступил против Цезаря, призывая кассировать его законы. Все это, наконец, вскрывает истинный характер отношений между Клодием и триумвирами.

Необходимо дать, хотя бы в общих чертах, оценку трибуната, или, говоря шире, движения Клодия. Со времени Моммзена весьма распространен взгляд на Клодия как на анархиста и беспринципного демагога². Так, например, американский историк Хитон в своей работе, посвященной римской «черни», говорит, что Клодий опирался на «бандитские элементы»³.

Примерно такой же точки зрения придерживают-

¹ *Plut., Cic., 33.*

² См. *Т. Моммзен. История Рима, т. III, стр. 248—250.*

³ *J. W. Heaton. Mob Violence in the Late Roman Republik. Urbana (Illinois), 1939.*

ся многие современные исследователи. В отличие от них Эд. Мейер считает, что Клодий, не желая быть только «орудием» в руках триумвиров, имел собственные цели и стремился к достижению власти по образу Гракхов или Сатурнина, но с той разницей, что за этим стремлением не стояло никакой четкой политической идеи или убеждения¹. Пожалуй, наиболее серьезная попытка дать оценку движению Клодия в социальном аспекте принадлежит советскому исследователю Н. А. Машкину². Он указывает на то, что квалификация движения Клодия как анархического ничего не дает для выяснения его сущности. Н. А. Машкин довольно подробно разбирает вопрос о составе «отрядов» Клодия и об участии рабов в его движении. Вывод Н. А. Машкина состоит в том, что движение не имело «освободительно-демократического характера», но было «движением люмпен-пролетарских слоев городского римского населения в условиях кризиса римского государства». Самого Клодия Н. А. Машкин считает беспринципным политиком.

Нам кажется, что с этими выводами едва ли можно полностью согласиться. Движение Клодия, на наш взгляд, имело более широкую социальную основу, чем люмпен-пролетарские слои населения.

«Демократический» характер первых законодательных мероприятий Клодия — в смысле их верности традициям программы популяров — не вызывает каких-либо сомнений. На первое место среди этих мероприятий должен быть поставлен хлебный закон, который был логическим продолжением хлебных законов «великих трибунов», начиная с Гая Гракха. Но не в меньшей степени закон, касающийся квартальных коллегий — этих политических «клубов» римского плебса, — содействовал оживлению антисенатских, или, как принято их называть, «демократических», сил и настроений. Конечно, можно констатировать, что эти законы удовлетворяли политические запросы городского плебейского населения и никак не касались интересов сельского плебса. Но не следует забывать, что законодательные мероприятия Клодия проводились вскоре после принятия аграр-

¹ *Ed. Meyer. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius, S. 87—88.*

² *См. Н. А. Машкин. Принципат Августа, стр. 28—35.*

ных законов Цезаря, реализация которых, безусловно, сняла — хотя и ненадолго — остроту аграрного вопроса. Кроме того, мы имеем пусть очень беглые, но тем не менее достоверные указания, что Клодий вовсе не проявлял равнодушия в определенных конкретных случаях к аграрному вопросу и к интересам сельского плебса. Мы можем сослаться на краткие упоминания Цицерона (речь шла, видимо, о всем известных фактах) относительно земельных конфискаций, проводимых Клодием насильственным путем¹. И наконец, если даже иметь в виду городскую плебс, который в это время играл более существенную и политически более активную роль, чем сельское население, то все же нет никаких серьезных оснований сводить его полностью к клумпен-пролетарским элементам.

Некоторое, хотя, к сожалению, недостаточно четкое, представление о социальной опоре Клодия дает знакомство с социальным составом организованных им «отрядов», численность которых была настолько внушительной, что Цицерон говорит иногда о «войске Клодия»². Организация этих «отрядов», конечно, стояла в тесной связи с восстановлением плебейских коллегий. Восстановлением коллегий, как и созданием новых, руководил некто Секст Клодий, клиент Публия Клодия, которому, кстати, была поручена реализация и хлебного закона. Он был наделен довольно широкими полномочиями. Совершенно естественно, что в состав упомянутых «отрядов» принимались новые получатели хлеба, новые члены коллегий; последние иногда даже возглавляли отдельные отряды. Среди них были, несомненно, ремесленники, большое количество вольноотпущенников, ибо в это время в связи с расширением хлебных раздач сильно возрос отпуск рабов на волю, были в составе «отрядов» также рабы и гладиаторы³. Цицерон даже уверял, что Клодий собирается организовать армию рабов, при помощи которой он хочет овладеть государством и имуществом всех граждан⁴. Но конечно, участие рабов как в «отрядах», так и в движении

¹ *Cic., Mil.*, 74.

² *Cic., Sest.*, 85.

³ *Ibidem.*

⁴ *Cic., Mil.*, 76.

Клодия в целом Цицероном сознательно и даже «злонамеренно» преувеличивалось. Мы не имеем прямых указаний относительно участия в Клодиевых «отрядах» сельского плебса, но то, как описывает Цицерон проводимые Клодием земельные захваты, дает возможность предположить наличие какого-то контакта и с сельским населением.

Все сказанное позволяет прийти к выводу о движении Клодия как о последнем широком движении, проходившем под лозунгами и в традициях популяров. Как и в случае с Катилиной, мы, если говорить о современных данному движению источниках, имеем сведения о Клодии и о всех событиях, связанных с его именем, лишь от его злейшего врага — Цицерона. Поэтому в этих сведениях много наносного, неправдоподобного, извращенного, как извращен и самый облик Клодия. Все обвинения, касающиеся его личной жизни и его личных качеств, настолько трафаретны и настолько часто применялись в Риме друг против друга политическими противниками — как оптиматами, так и популярами, — что они едва ли могут быть приняты всерьез.

В противовес этим традиционным данным есть достаточные основания считать, что в 50-х годах широкое общественное мнение признавало главой популяров скорее Клодия, чем Цезаря, и трибунат Клодия был поэтому своеобразной «демократической реакцией» на разочаровавшую широкие массы деятельность Цезаря во время его консульства.

Изгнание и возвращение. Канун гражданской войны

7 «Брат мой, брат мой, брат мой, — таким троекратным воплем отчаяния начинается одно из писем Цицерона, написанное в дни изгнания и адресованное брату Квинту, — неужели ты мог опасаться, что я под влиянием какого-то гнева отправлю к тебе рабов без письма или даже вовсе не захочу тебя видеть? Мне сердиться на тебя? За что же? Значит, это ты нанес мне удар, твои враги и их ненависть погубили меня, а не наоборот? Нет, это мое прославленное консульство отняло у меня тебя, детей, отечество, достояние. Но я хотел бы, чтобы у тебя оно ничего другого, кроме меня, не отняло». И еще: «Вести эту жизнь дольше не могу. Никакая мудрость, никакое учение не дают столько сил, чтобы выдержать такое страдание»¹.

Недаром Аттик не раз упрекал своего друга в недостатке мужества. Поведение Цицерона в дни изгнания, все его письма свидетельствуют о крайней растерянности, отчаянии, депрессии, хотя поначалу Цицерон, видимо, считал свой отъезд из Рима недолговременным. Он даже надеялся обосноваться где-то на юге Италии, пока не узнал о новом, персонально против него направленном законе Клодия². Тогда возникла идея искать убежища в Сицилии. Однако проконсул Вергилий, управлявший островом и многим в прошлом обязанный Цицерону, отказался его принять. Рассчитывая на встречу с Атиком, Цицерон проводит еще несколько недель на юге Италии, но затем из Брун-

¹ Cic., Q. fr., 1, 3, 1, 5.

² См. выше, стр. 212—213.

дизия отплывает на Балканский полуостров. Греция, и в частности Афины, ему противопоказана: здесь не избежать встреч с изгнанными в свое время катилитарцами. Поэтому Цицерон направляется в Македонию. В двадцатых числах мая он прибывает в Фессалоники, где и обосновывается на сравнительно долгий срок — на полгода.

Письма из Фессалоник, как и более ранние письма с юга Италии, полны отчаяния. Еще в начале апреля Цицерон пишет Аттику из Луканских Нар: «Более я не в силах писать: так я сражен и повергнут»¹. Через два дня оттуда же: «Я влачу самое жалкое существование и тяжко страдаю»². Еще через несколько дней: «Я, мой Помпоний, очень раскаиваюсь в том, что остался жить; в этом ты повлиял на меня больше всего»³. Тот же мотив в письме из Брундизия: «Призывая меня к жизни, ты достигаешь только того, что я не наложу на себя рук, но не в твоей власти другое — чтобы я не раскаивался в своем решении жить»⁴. Правда, в письме жене и детям, написанном в тот же самый день, он утверждает нечто противоположное, восклицая: «О, если бы у меня не было такой жажды жизни!», но общий тон и этого письма достаточно безнадежен; в конце его Цицерон, обращаясь к Теренции, признается: «Однако, поддерживая тебя, я не могу поддержать себя сам!»⁵.

В письмах из Фессалоник к бесконечным жалобам начинают присоединяться соображения о допущенных просчетах, о причинах того, что сам Цицерон называет «падением с высоты». Вскоре по приезде он отправляет письмо Аттику, в котором пишет: «По непоследовательности в моих письмах ты, я думаю, видишь смятение моего духа. Хоть я и поражен невероятным и исключительным несчастьем, однако я взволнован не столько постигшим меня бедствием, сколько воспоминанием о своем заблуждении»⁶. В одном из следующих писем говорится: «Ты так часто и так жестоко упрекаешь меня в том, что я не-

¹ *Cic., Att.*, 3, 2.

² *Cic., Att.*, 3, 5.

³ *Cic., Att.*, 3, 4.

⁴ *Cic., Att.*, 3, 7, 2.

⁵ *Cic., fam.*, 14, 4, 1; 5.

⁶ *Cic., Att.*, 3, 8, 4.

стойк духом. Но скажи, есть ли какое-либо несчастье, которого я был бы лишен в моем бедственном положении? Пал ли кто-нибудь когда-нибудь с такой высоты, такого положения, за такое правое дело, при таких дарованиях, опыте, влиянии, несмотря на защиту всех достойных граждан? Могу ли я забыть, кем я был, не чувствовать, кто я теперь, какого лишен почета, какой славы, каких детей, какого богатства, какого брата?»¹

Основной причиной всех несчастий, всего бедственного положения оказываются теперь не столько действия врагов, сколько недоброжелательство, а иногда и прямое предательство друзей². «Ты часто укоряешь меня в том, — снова пишет он Аттику, — что я так тяжело переношу это свое несчастье; ты должен простить мне это, видя, что я подавлен в такой степени, какой ты ни у кого никогда не видел и о какой никогда не слыхал. Что же касается доходящих до тебя, по твоим словам, слухов, что у меня от горя пострадал рассудок, то я в здравом уме. О если бы он был у меня таким же в час опасности, когда те, кому, как я полагал, мое спасение дороже всего, оказались враждебнейшими и жесточайшими! Как только они увидели, что я колеблюсь в страхе, они подтолкнули меня на мою погибель, употребив при этом всю свою преступность и вероломство»³.

В скором времени эти претензии к тем, кого Цицерон прежде считал своими друзьями, начинают распространяться — конечно, в более смягченном варианте — даже на самого Аттика. Отвечая ему в августе 58 г. сразу на четыре полученных от него письма, Цицерон сначала признается, что недостаточно выполнял в свое время долг и обязанности друга, а кончает тем, что горько упрекает Аттика, который, оказывается, «не уделил никакой доли своей мудрости» для его спасения, но только «смотрел и молчал», как Цицерон, «преданный, обманутый, запутавшийся в кознях, пренебрег всеми средствами для защиты и покинул Италию», когда она якобы уже подымалась ему на помощь⁴.

¹ *Cic., Att.*, 3, 10, 2.

² *Cic., Att.*, 3, 9, 2.

³ *Cic., Att.*, 3, 13, 2.

⁴ *Cic., Att.*, 3, 15, 4; 7.

Таким образом, свой тактический промах Цицерон видит в том, что не следовало первый закон Клодия, который был сформулирован в общем виде, принимать на свой счет, облачаться в траур, искать защиты у народа и добровольно удаляться в изгнание. Нужно было либо вообще избежать опасности, согласившись на предложение Цезаря ехать к нему в качестве легата, либо оказать решительное сопротивление, либо, наконец, пасть с мужеством¹.

Цицерон, как почти все тонко организованные и впечатлительные натуры, «интеллектуалы», был склонен в предвидении какого-либо несчастья преувеличивать его возможные размеры и значение; так, он пророчит себе крах всего дела своей жизни — и об этом уже говорилось выше² — еще тогда, когда для этого нет никаких серьезных оснований, а именно после оправдания Клодия в его процессе. Зато теперь, когда «гром уже грянул», когда карточный дом якобы достигнутого в его консульство «согласия сословий» и «объединения всех достойных» развалился на его же глазах, он обнаруживает удивительное непонимание внутреннего значения событий, ему и в голову не приходит необходимость осознать закономерность и причин, и самой ситуации, наоборот, он все сводит к случайным просчетам, дурным советам, предательству друзей и т. п. Он не только не пытается пересмотреть свои прежние, опровергнутые жизнью концепции и лозунги, но мы знаем, что в написанном вскоре после возвращения в Рим диалоге «О государстве» он стремится дать теоретическое обоснование лозунга «согласие сословий», а в самом последнем своем крупном труде, в трактате «Об обязанностях», снова провозглашает торжество «тоги» над «мечом»³. Изгнание, конечно, его жестоко травмировало, надолго выбило из колеи, но едва ли чему-нибудь в этом смысле практически научило. Он пока схватывает лишь то, что лежит на поверхности, он принимает следствия и всякие внешние проявления за самые причины, он, наконец, оценивает все происходящее сугубо «эгоцентрически», в личном плане

¹ *Cic., Att.*, 2, 18, 3; *fam.*, 14, 3, 1.

² См. стр. 188.

³ Об этом см. выше, стр. 174.

и потому оказывается не в состоянии подняться до понимания задач «высокой политики».

Но за те полгода, которые Цицерон провел в Фессалониках, произошли определенные и довольно существенные изменения в расстановке сил в самом Риме. Так, например, наметилось явное охлаждение между Помпеем и Клодием. Оно проявилось еще в апреле 58 г., после того как Клодий организовал побег Тиграна. Этим охлаждением решили воспользоваться друзья и сторонники Цицерона, и в первую очередь Аттик.

1 июня 58 г. состоялось заседание сената, на котором в отсутствие Клодия было принято решение о возвращении Цицерона. Решение принималось по докладу трибуна Нинния, однако другой трибун, Элий Лиг, наложил на него вето. Тем не менее хлопоты продолжались. Осенью 58 г. только что избранный трибун Сестий, готовя новый законопроект о возвращении Цицерона, сумел согласовать вопрос с Цезарем (на чем, кстати говоря, настаивал Помпей). Вскоре после этого стало известно, что и вновь избранный консул Лентул Спинтер настроен вполне положительно. Более того, его коллега Метелл Непот, который так враждовал с Цицероном в 63 г.¹, теперь благодаря посредничеству Аттика совершенно изменил свое отношение к изгнаннику.

В конце ноября Цицерон переезжает из Фессалоник в Диррахий. Он решается на этот шаг в связи с тем, что в Македонию направился новый наместник, его явный недоброжелатель — проконсул Луций Писсон. Кроме того, — и это соображение играло для Цицерона не последнюю роль — отсюда было значительно ближе к Риму. Однако этот переезд не ускорил возвращения на родину — ждать пришлось еще довольно долго.

Письма этого периода свидетельствуют о том, что угнетенное состояние, в котором Цицерон находился буквально с первого дня своего изгнания, отнюдь не изменилось к лучшему. В Диррахии он все время колеблется между надеждой и отчаянием, живя только теми сведениями — часто весьма противоречивыми, — которые поступают к нему из Рима. Так, например,

¹ См. выше, стр. 177—178.

ему стало известно, что в октябре 58 г. восемь расположенных в его пользу трибунов при согласии и поддержке Помпея снова поставили вопрос о его возвращении. Однако этот законопроект не вполне удовлетворил Цицерона, поскольку в нем ничего не было сказано о возвращении ему имущества. Но и в такой форме законопроект не прошел: кто-то из народных трибунов снова выступил с интерцессией.

Приближался январь 57 г. — срок вступления в свои обязанности вновь избранных консулов. Цицерон — в крайнем возбуждении. Его не успокоил даже визит Атика, который, надо думать, убеждал его в том, что ситуация складывается благоприятно. «После того как ты уехал от меня, — пишет ему Цицерон буквально вдогонку, — мне доставили из Рима письмо, из которого я вижу, что мне придется зачахнуть в моем бедственном положении. Ведь если бы оставалась хоть какая-то надежда на мое избавление, то ты — не в обиду будет тебе сказано — при своей любви ко мне не уехал бы именно в это время»¹. Упрек крайне несправедливый, ибо интересы самого Цицерона требовали, конечно, присутствия Атика в Риме.

1 января 57 г., в первом же заседании сената, проходившем под его руководством, новый консул Лентул Спинтер возбудил вопрос о возвращении Цицерона. Он был поддержан своим коллегой Метеллом. Некоторые участники заседания считали, что достаточно решения самого сената; Помпей настаивал на вынесении вопроса в комиции, дабы их постановлением связать вождей популяров, и прежде всего Клодия. Голосование законопроекта в народном собрании намечалось на 23 января. Однако накануне Клодий занял Форум отрядами вооруженных рабов и гладиаторов; произошли кровавые столкновения, во время которых, как рассказывает Плутарх, были ранены некоторые народные трибуны, а Квинт Цицерон избежал гибели только благодаря тому, что пролежал до ночи, спрятавшись под телами убитых².

Когда Цицерон в Диррахии узнал об январском заседании сената, он, воспрянув духом, написал Ат-

¹ *Cic., Att.*, 3, 25.

² *Plut., Cic.*, 33, ср. *Cic., Sest.*, 76.

тику: «Я намерен дожидаться предложения законопроекта народу, а если будет оказано противодействие, то воспользуюсь суждением сената и скорее расстанусь с жизнью, чем с отечеством»¹, т. е. что он намерен вернуться в Рим даже в том случае, если касающиеся его предложения сената не будут утверждены комициями. Однако это всего лишь недолгая вспышка решимости и надежды: как только он узнает о кровавой стычке на Форуме, мужество его снова покидает. «Из твоего письма и из самого дела, — пишет он Аттику в последнем из дошедших до нас писем, относящемся еще ко времени изгнания, — вижу, что я окончательно погиб»².

Так между надеждой и отчаянием Цицерону предстояло провести еще целых полгода. Но время работало на него. По словам Плутарха, «народ начал охладевать к Клодию»³, и народный трибун Анний Милон даже сделал попытку привлечь его к суду за насильственные действия. Попытка, правда, не удалась, но зато Милон для противодействия «шайке» Клодия тоже окружил себя вооруженным отрядом, состоящим из клиентов, рабов, отпущенников. Его примеру последовал и другой трибун — Сестий. Начались стычки, уличные бои, и на сей раз преимущество оказалось на стороне противников Клодия.

Тогда снова выступил — и теперь гораздо более решительно — сам Помпей. В начале 57 г. он посетил ряд муниципиев и колоний; из некоторых он даже привез постановления в пользу Цицерона. В конце мая состоялось очередное заседание сената. Было принято решение привлечь к участию в собрании, на котором будет рассматриваться вопрос о возвращении Цицерона, всех, кто на территории Италии обладает правом голоса. Было также решено выразить благодарность тем общинам и отдельным лицам, которые дали приют изгнаннику, и, наконец, Цицерону отныне гарантировалась защита всех магистратов.

Тем не менее перед вынесением вопроса на народное собрание текст законопроекта был обсужден и одобрен сенатом (июль 57 г.). После доклада консула

¹ *Cic., Att.*, 3, 26.

² *Cic., Att.*, 3, 27.

³ *Plut., Cic.*, 33.

Лентула выступил Помпей, который и огласил законопроект. Из 417 присутствующих сенаторов только один подал голос против — сам Клодий. Тогда же, видимо, был решен вопрос о восстановлении Цицерона во всех правах и во владении имуществом. Никто не осмелился выступить с интерцессией, тем более что Помпей в своей речи открыто и при общем одобрении заявил о спасении Цицероном государства в 63 г.

Центуриатные комиции состоялись 4 августа 57 г. при огромном стечении народа. Никаких эксцессов против ожидания не произошло, и закон был принят. «Никогда, как сообщают, — писал Плутарх, — народ не голосовал с таким единодушием»¹. В тот же день Цицерон отплыл из Диррахия, а 5 августа он уже высадился в Брундивии. Так окончилось его изгнание, продолжавшееся около 17 месяцев.

Столь долго страдавшее честолюбие Цицерона теперь наконец могло быть полностью удовлетворено. Возвращение в Рим превратилось в настоящее триумфальное шествие. Уже в Брундивии, где Цицерона встретила Туллия, его любимая (и незадолго перед тем овдовевшая) дочь, состоялся торжественный прием. Жители городов и сел, расположенных вдоль Аппиевой дороги, по которой Цицерон возвращался в Рим, целыми семьями выходили приветствовать знаменитого консуляра и оратора.

Не менее восторженный прием был оказан вчерашнему изгнаннику и в самом Риме. 4 сентября у городских ворот его ожидала огромная толпа; при непрекращающихся восторженных кликах, в сопровождении всей этой массы народа Цицерон поднялся на Капитолий, дабы возблагодарить богов за свое возвращение, за восстановление поправленной справедливости. На следующий день, т. е. 5 сентября, он выступил с благодарственной речью в сенате, а 7 сентября — перед народом на Форуме.

В письме к Аттику, который в это время был в Эпире и не мог, к глубокому огорчению Цицерона, насладиться зрелищем его триумфа, он так описывает встречу, оказанную ему на родине: «После почетнейшего приема в Брундивии ко мне на всем моем пути

¹ *Plut., Cic., 33.*

сходились отовсюду посланцы с поздравлениями. Когда же я подъезжал к Риму, не было ни одного более или менее известного человека из любого сословия, который не вышел бы мне навстречу, исключая тех моих врагов, которые не могли ни скрыть, ни отрицать этого обстоятельства. Когда я оказался у Капенских ворот, то увидел, что все ступени храмов заняты людьми из низших слоев плебса. Они выражали мне свои чувства громкими рукоплесканиями; такое же множество народа и рукоплескания сопровождали меня до Капитолия, причем на Форуме и самом Капитолии было невероятное скопление людей»¹.

Цицерон был переполнен чувством гордости и восторга. В своей речи, произнесенной в сенате, он говорил, что его не просто возвратили в отечество, но как бы привезли разукрашенными конями на золоченой колеснице, как и полагается триумфатору. Более того, он утверждал, что во время его изгнания в Риме вместе с ним отсутствовали законы, суды, права магистратов, авторитет сената, свобода и даже обильный урожай. Вот почему, собственно говоря, сенат и призвал его своим решением, народ потребовал, государство умолило, а вся Италия внесла обратно на собственных плечах².

Этот мотив — воспоминание о триумфальном возвращении — будет повторяться еще не раз в других, более поздних речах и выступлениях. Так, в речи «О своем доме» — кстати сказать, сенат принял решение выплатить Цицерону из государственных средств 2 млн. сестерциев на восстановление городского дома и 750 тыс. сестерциев на восстановление его вилл — он, пользуясь случаем, снова рисует картину удивительного согласия всех сословий при решении вопроса о его возвращении, когда он благодаря этим единодушным и чрезвычайно почетным для него решениям словно восходил по ступеням на самое небо³. Небезынтересно отметить, что, чем дальше уходил в прошлое день возвращения, тем ярче становились краски, которыми Цицерон живописал этот знаменательный день и судьбу Италии, с таким нетерпением

¹ *Cic., Att.*, 4, 1, 4—5.

² *Cic., P. red. in sen.*, 28; 34; 39.

³ *Cic., Dom.*, 73—75.

якобы ожидавшей его наступления. В речи, произнесенной им в защиту Сестия, опять-таки излагается история возвращения на родину, причем, в частности, говорится: «Чье отсутствие более остро чувствовал курия, кого оплакивал Форум, кого не хватало трибунам? С моим отъездом все стало вдруг заброшенным, диким, безмолвным, все преисполнилось горя и печали»¹.

Не удивительно, что при такой aberrации вся история изгнания и возвращения интерпретируется теперь Цицероном по-новому. Если даже в те месяцы, что Цицерон провел в Фессалониках или Диррахии, он не был особенно склонен приписывать все случившееся своим собственным ошибкам, то ныне получается, что ошибок как бы и вовсе не было, наоборот, его добровольное удаление из Рима, его изгнание есть не что иное, как акт величайшей политической мудрости, предусмотрительности и самопожертвования. Он удалился из Рима только потому, чтобы не дать повода к гражданской войне, не быть причиной гибели многих людей, предпочтя, по его словам, «чтобы честные мужи оплакивали мою участь, а не отчаивались в своей собственной»².

Что касается приверженности к старым лозунгам и концепциям, то Цицерон здесь снова проявляет постоянство, поистине заслуживающее лучшего применения. Если, как говорилось выше³, даже годы изгнания в этом смысле его ничему не научили, то триумфальное возвращение могло, конечно, лишь содействовать укреплению прежних иллюзий и заблуждений. И действительно, мы только что убедились, что подготовку и проведение закона, касающегося его возвращения, он рассматривает как проявление (или возрождение) согласия сословий, а в речи, посвященной вопросу о его доме, снова возникает уже давно знакомая нам «концепция тоги»: «Дважды я спасал государство — когда я, консул, носящий тогу, победил вооруженных людей и когда я, частный человек, отступил перед вооруженными консулами»⁴.

¹ *Cic.*, *Sest.*, 128; см. также 129—131.

² *Cic.*, *P. red. in sen.*, 33—34.

³ См. стр. 220.

⁴ *Cic.*, *Dom.*, 99.

Таково было умонастроение Цицерона после возвращения из изгнания. Однако первые же дни пребывания в Риме могли довольно наглядно показать ему, что он не учитывал изменения общей обстановки, а следовательно, и своего собственного положения. Он больше не был центральной фигурой римской политической жизни, отныне ему отводилась лишь второстепенная роль. Кроме того, буквально через два-три дня после возвращения ему уже пришлось обороняться от новых атак Клодия, который сначала натравил на него толпу, уверяя, что дороговизна и нехватка хлеба вызваны возвращением Цицерона, а еще через некоторое время организовал форменное на него нападение на одной из главных улиц Рима. Правда, и Цицерон рискнул на ответную акцию: выбрав время, когда Клодия не было в городе, он в сопровождении большой свиты друзей и сторонников поднялся на Капитолий и уничтожил доски, на которых были записаны и выставлены для всеобщего обозрения указы и постановления народных трибунов, в том числе и те законы, где речь шла об изгнании Цицерона¹.

Но все это лишь малозначащие подробности. Общее же изменение обстановки заключалось в том, что политическая борьба в Риме из обычной и «законной» формы, из стадии прений и дебатов — как в сенате, так и на Форуме — переросла в регулярные уличные столкновения вооруженных отрядов, которыми руководили то Клодий, то его противники Милон и Сестий. Такая форма борьбы была, конечно, глубоко чужда Цицерону, претила ему, ибо он, по его собственным словам, всегда предпочитал лечить dietой, избегая хирургического вмешательства².

* * *

Весной 56 г. на севере Италии, в городе Луке, состоялась встреча триумвиров. Она была для них крайне желательна, пожалуй, даже необходима, ибо тройственный союз переживал некий кризис. Во-первых, произошло очередное усиление сенатских кругов и

¹ *Plut., Cic.*, 34.

² *Cic., Att.*, 4, 3, 3.

группировок: действия Милона и его отрядов, сближение с сенатом Помпея и получение им чрезвычайных полномочий по снабжению Рима продовольствием, возвращение из изгнания Цицерона. Кроме того, за последнее время ослабели связи между самими членами триумvirата: снова ухудшились взаимоотношения Помпея и Красса, впервые наметилось некоторое охлаждение между Цезарем и Помпеем.

Это охлаждение усиливалось по мере роста популярности самого Цезаря. Дела его в Галлии шли блестяще. Еще в 58 г. он одержал крупную победу над гельветами (около г. Бибракты), затем выступил против вождя германского племени свевов Ариовиста, которого в свое время призвало на помощь галльское племя секванов. Ариовист потерпел сокрушительное поражение и с жалкими остатками своего войска вынужден был бежать за Рейн.

Весной 57 г. Цезарь начинает борьбу против самого могущественного галльского племени — против белгов. Сопrotивление белгов было столь упорным, что римские легионы не раз попадали в крайне опасное и рискованное положение. И все же в этой войне Цезарь одержал победу. Помимо чисто военных успехов он умел прекрасно использовать разобщенность, а иногда прямую вражду между различными галльскими племенами, привлекая на свою сторону соперничавших друг с другом представителей галльской племенной знати.

Не забывал Цезарь и римских дел, римских связей. Когда он стоял на зимних квартирах в своей провинции (т. е. в Цизальпийской Галлии), к нему приезжало из Рима немало посетителей, и он чрезвычайно охотно откликался на различные просьбы. «Так он поступал в течение всей войны, — пишет Плутарх, — либо побеждал врагов оружием сограждан, либо овладевал самими согражданами при помощи денег, захваченных у неприятеля. А Помпей ничего не замечал»¹.

Успехи Цезаря в Галлии произвели в Риме такое сильное впечатление, что сенат назначил по этому поводу пятнадцатидневное благодарственное молебствие и празднование. Это произошло вскоре после воз-

¹ *Plut., Caes., 20.*

вращения Цицерона, т. е. еще до конца 57 г. К этому времени покорение Галлии фактически было завершено.

В следующем 56 г. и состоялось, как уже сказано, свидание триумвиров в Луке. Оно было организовано скорее всего по инициативе Цезаря и проходило в торжественной обстановке. В Луку съехалось около 200 сенаторов, много магистратов и промагистратов, одних только ликторов собралось 120 человек. Здесь были приняты важные решения: Помпей и Красс намечались консулами на 55 г., затем они получали на пятилетний срок управление провинциями (Помпей — Испанией, а Красс — Сирией). Полномочия Цезаря в Галлии продлевались еще на пять лет; после этого ему тоже гарантировалось консульство. Однако все эти решения, направленные как будто на укрепление тройственного союза, привели в ближайшее же время к совершенно неожиданным и даже прямо противоположным результатам.

Положение в Риме оставалось напряженным. Уличные стычки между отрядами Клодия и Милона не прекращались. Клодий открыто выступал против Помпея и Цицерона. Поведение Красса было двусмысленным. Незадолго до свидания триумвиров в Луке произошел следующий инцидент.

Клодий, избранный на 56 г. эдилом, решил привлечь к суду Милона, обвинив его в насилии. Помпей, который только что потерпел поражение в сенате, где ему было отказано в разрешении на проектируемый им поход в Египет, пытался выступить в защиту Милона. Однако попытка оказалась неудачной. Он еле закончил речь, прерываемый криками и даже бранью, а когда поднялся Клодий и, обращаясь к толпе, стал спрашивать: «Кто морит людей голодом?» — клодианцы хором отвечали: «Помпей!» Или на вопрос: «Кто хочет идти войной на Александрию?» — снова кричали: «Помпей!» В ответ на это милонианцы, или «наши», как называет их Цицерон¹, разразились не менее громкими криками, а под конец произошла очередная вооруженная стычка между противниками.

Вскоре после этого Цицерон выступил в защиту

¹ Cic., Q. fr., 2, 3, 2.

Публия Сестия, трибуна 57 г., содействовавшего в свое время его возвращению из изгнания. Сестий был привлечен к суду и обвинен в насильственных действиях не без участия Клодия. Этих двух причин было более чем достаточно, чтобы Цицерон горячо взялся за защиту. Процесс окончился удачно, Сестия оправдали. Дошедшая до нас речь Цицерона представляет собой, видимо, значительно переработанный вариант речи произнесенной. Здесь снова подробно излагается история его изгнания и возвращения, кроме того, значительная часть сохранившейся речи посвящена «теоретическому» определению понятий «оптиматы» и «популяры», о чем уже говорилось выше¹.

Само собой разумеется, что речь в защиту Сестия содержала яростные нападки на Клодия. В этом же духе была использована и другая возможность: процесс Марка Целия Руфа, обвинявшегося, в частности, в попытке отравить сестру Клодия — знаменитую Клодию, широко известную в Риме своими любовными историями и воспетую под именем Лесбии одним из ее восторженных поклонников, поэтом Катуллом. В своей защитной речи Цицерон снова сводил старые счеты с Клодием, но на сей раз досталось и его сестре.

В ответ на все эти выпады Клодий попытался обратить против Цицерона прорицание жрецов-гаруспиков. Дело заключалось в следующем. Еще в начале 56 г. в сенат стали поступать сообщения о каком-то странном, необъяснимом шуме, который был слышен в разных местах на территории Лациума. Запрошенные о причинах и значении этого загадочного явления жрецы-гаруспики — а в их обязанности входило назвать средства, которыми можно было умиротворить гнев богов, — дали ответ, что боги гневаются на небрежность, проявленную при организации общественных игр, на осквернение священных мест, на кощунство при жертвоприношениях. Клодий заявил, что гаруспики, говоря об осквернении священных мест, имели в виду незаконное снятие религиозного запрета с того земельного участка, на котором находился разрушенный им дом Цицерона в Риме.

¹ См. стр. 133—139.

Подобный выпад Цицерон не мог оставить без ответа. Он выступил в сенате со специальной речью, в которой развил свое собственное понимание прорицаний гаруспиков. По его мнению, гнев богов был направлен персонально против Клодия, ибо именно его следует обвинять в небрежной организации общественных игр (как эдила!), в кощунстве и святотатстве (преступление в день праздника в честь Доброй Богини!) и, наконец, в раздувании раздоров среди оптиматов и нанесении ущерба государству.

Однако Клодий подкреплял свои словесные выпады такими реальными и ощутимыми действиями, которые были совершенно недоступны самому Цицерону. Так, после речи о прорицаниях гаруспиков Клодий со своей «шайкой» сделал попытку — и уже не первую! — разрушить вновь воздвигаемый дом Цицерона, и только противодействие другой «шайки», т. е. отрядов Милона, помешало этому намерению.

В этой сложной для него ситуации Цицерон вынужден был искать все большей опоры и все более тесного сближения не только с самим Помпеем, но через него — в особенности после свидания в Луке — и с Цезарем. Поэтому, когда в сенате обсуждался вопрос о назначении провинций консулам 55 г., Цицерон выступил с речью, в которой он стремился обосновать два противоречащих друг другу положения: с одной стороны, доказать необходимость продления полномочий Цезаря в Галлии, с другой — добиться отозвания своих старых врагов — консулов 58 г. Габиния и Писона из их провинций (т. е. из Сирии и Македонии). Значительная часть речи «О консульских провинциях» посвящена объяснению, вернее, оправданию отношения Цицерона к Цезарю, причем изменение этого отношения мотивируется отказом от личных симпатий или антипатий во имя защиты интересов государства. Подчеркивается, что и сам сенат изменил отношение к Цезарю, оценив государственное значение его побед в Галлии¹. В конце речи Цицерон с гордостью говорит о том, что никакие милости и никакие козни не смогли отвлечь его от преданности оптиматам и что он «предпочел принять любой удар судьбы, подвергнуться насилию и неспра-

¹ *Cic.*, *prov. cons.*, 25.

ведливости, лишь бы не отступать от священных для меня взглядов и не отклоняться от своего пути»¹.

Сенат продлил полномочия Цезаря; что касается Писона и Габиния, то первый был заменен, ибо Македонию превратили в преторскую провинцию, Габиний же оставался проконсулом Сирии до тех пор, пока она не была назначена Крассу (на 54 г.). Таким образом, программа, намеченная Цицероном в его речи, была полностью реализована.

Тем временем приближались консульские выборы на 55 г. В соответствии с договоренностью в Луке консулат был обещан Помпею и Крассу. Однако обе эти кандидатуры встретили сильное сопротивление сената. Выборы откладывались со дня на день, и 55 год начался без вновь избранных магистратов. Выборные комиции, хотя и с большим опозданием (т. е. уже в самом 55 г.), все же состоялись, однако они прошли довольно необычно. Помпей и Красс были избраны консулами, собственно говоря, только при поддержке вооруженной силы: сын Красса, легат Цезаря, привел в народное собрание большой отряд солдат для голосования за отца и за Помпея.

Новое консульство Красса и Помпея ничем особенным не примечательно. В основном они стремились к осуществлению тех пунктов лукского соглашения, которые должны были обеспечить их положение на ближайшие годы. Именно в это время полномочия Цезаря были продлены на второе пятилетие, Крассу была предоставлена Сирия, а следовательно, и санкционирована война против парфян, к которой он так стремился, а Помпею — провинция «Африка» и обе Испании (т. е. «Ближняя» и «Дальняя»). Красс, жаждущий военной славы, отправился в свою провинцию даже до истечения срока консулата, Помпей же остался в Италии и управлял провинциями только через своих легатов. Очевидно, в период своего консулата он освятил и торжественно открыл построенный им театр — первый каменный театр в Риме, — причем при открытии были проведены гимнастические состязания, травля диких зверей, когда было выпущено 500 львов, и даже показана битва со слонами — зре-

¹ *Cic., prov. cons.*, 41.

лице, которое, по словам Плутарха, особенно поразило римлян¹.

Тем не менее единство и прочность тройственного союза находились под серьезной угрозой. Особенно очевидным это стало в ближайшие два года. И в 54 и в 53 гг. уличные беспорядки и вооруженные столкновения не прекращались. Подкуп во время предвыборных кампаний принял такие размеры, что буквально каждому кандидату на высшие должности угрожал судебный процесс. В городе росла анархия, 53 год снова начался без магистратов. Кроме того, за это время произошли следующие, хотя и не равноценные по своему значению, но имевшие достаточно роковые для единства триумвиров события: в 54 г. умерла от родов дочь Цезаря и жена Помпея Юлия, в 53 г. бесславно погиб в Парфии завлеченный в глубь страны и потерпевший сокрушительное поражение при Каррах (Месопотамия) Красс. Это, кетати говоря, было первое серьезное столкновение римлян с Парфянской державой и первая крупная военная неудача Рима за последние десятилетия. И наконец, несмотря на новые успехи Цезаря в его провинции — борьбу с германскими племенами и переход через Рейн, а также чрезвычайно эффектный (хотя и малоэффективный!) поход в Британию, — и здесь наблюдается резкое изменение ситуации: после отдельных и разрозненных антиримских выступлений вспыхивает великое общегалльское восстание, которое ставит под угрозу все предшествующие победы римского оружия. Все эти события фактически расстроили и привели затем к полному краху тройственный союз.

Каково же было в эти годы положение Цицерона? Оно по существу не изменилось, оставаясь по-прежнему и неустойчивым и второстепенным. Изменилось лишь то, что Цицерон наконец начинает сам это осознавать. «Простимся со справедливыми и честными правилами! Трудно поверить, до чего вероломны гавари... Обманутый, оставленный, брошенный ими, я почувствовал это на себе»². В следующем письме формулировки еще более определены: «Меня же, если я говорю о государственных делах то, что следует,

¹ *Plut.*, *Pomp.*, 52.

² *Cic.*, *Att.*, 4, 5, 1.

считают безумцем, если то, что требуется, — рабом, а если молчу — то побежденным и пленником... Итак, быть мне *спутником*, мне, который не захотел быть предводителем?»¹

Даже знаменитое письмо к Лукцею, в котором он требует, чтобы тот посвятил описанию пресловутых событий «от начала заговора и до возвращения из изгнания» специальную монографию, а затем с подкупающей прямоотой, почти наивностью спрашивает «прославлять все это сильнее, чем ты, быть может, намерен»², свидетельствует в конечном счете лишь о том, насколько неуверенно чувствовал себя Цицерон в настоящем, перенося центр тяжести на заботы о славе своего имени в будущем.

Подобные мотивы пронизывают многие письма — конечно, наиболее доверительные — на протяжении тех лет, что предшествовали отъезду Цицерона в Киликию. Он говорит о всевластии триумвиров, о потере им — впрочем, как и всеми другими, — независимости, об изменении положения сената, судов, всего государства³. С 54 г. все чаще и чаще возникает перед его глазами призрак диктатуры. «В Риме положение следующее, — пишет он брату летом 54 г., — есть надежда, что соберутся комиции, но неопределенная, есть подозрение, что готовится диктатура, также неопределенное; на форуме полная тишина, но скорее стареющего, чем отдыхающего государства; мои высказывания в сенате таковы, что другие соглашаются со мною больше, чем я сам»⁴. В конце года и на сей раз Аттику: «Вот тебе другие новости: дело идет к междувластью и даже пахнет диктатурой; разговор во всяком случае много»⁵.

Но не следует думать, что Цицерон, оттесненный за эти годы в политической жизни на второстепенные роли, пребывал в бездействии и даже упадке. Он не мог вовсе отойти от политики и продолжал, как это видно из его писем, живо интересоваться новостями и всеми нюансами политической обстановки. Затем он усиленно трудился в эти годы над своими

¹ *Cic., Att.*, 4, 6, 2.

² *Cic., fam.*, 5, 12, 3—4.

³ *Cic., fam.*, 1, 8, 3—4; ср. напр., *Q. fr.*, 3, 4, 2.

⁴ *Cic.*, *Q. fr.*, 2, 13, 4.

⁵ *Cic.*, *Att.*, 4, 18, 3; ср. 4, 19, 1; *Q. fr.*, 3, 6, 4.

теоретическими произведениями и, наконец, весьма активно занимался адвокатской практикой. Что касается его литературной деятельности, то еще в 56 г. он начал работать над стихотворной поэмой «О моем времени», которая содержала три книги и была, видимо, продолжением другого эпического произведения — «О моем консульстве». В 55 г. Цицерон завершил трактат по истории ораторского искусства («Об ораторе»); в 54 г. приступил к работе над знаменитым диалогом «О государстве», а несколько позднее (видимо, в 52 г.) — над диалогом «О законах». Наряду с этим — непрерывная судебная практика. Так, в августе 54 г. он пишет брату Квинту: «Никогда я не разрывался в такой степени из-за дел и по судам, притом в самое тяжелое время года, в сильнейшую жару»¹. Подобный же мотив звучит в письме, датированном осенью того же года: «Знай, что не бывает дня, когда бы я не защищал обвиняемого»². Перечислять все процессы, в которых Цицерон в эти годы принимал участие, нет ни нужды, ни необходимости, тем более что многие речи этого периода нам совершенно неизвестны. Из сохранившихся же речей можно отметить речь против Писона и речи в защиту Скавра и Планкия.

Речь против Писона представляет собой как бы образцовую для римских политических нравов инвективу. В ней дан обширный, почти исчерпывающий набор типичных оскорбительных и даже бранных выражений³. С точки же зрения содержания она сводится к прославлению консулата Цицерона и его триумфального возвращения из изгнания.

Но далеко не всегда мог теперь Цицерон обвинять тех, кого находил заслуживающим обвинения, и защищать тех, кого считал нуждающимся в защите. Об этом нагляднее всего свидетельствуют, пожалуй, такие факты, как история его ссоры, а затем примирения с Крассом, защита Ватиния и, наконец, процесс Габиния.

Причиной инцидента с Крассом были следующие обстоятельства. В сенат поступила жалоба сирийских

¹ *Cic.*, Q. fr., 2, 15, 1.

² *Cic.*, Q. fr., 3, 3, 1.

³ *M. Gelzer. Cicero*, S. 182.

откупщиков на своего наместника — проконсула Габиния. Поскольку Габиний был одним из консулов 58 г., санкционировавших изгнание Цицерона, то последний, конечно, не упустил случая обрушиться на своего старого врага. Сначала против Габиния выступил и Красс. Но затем под влиянием Помпея — всем было известно, что Габиний его преданнейший сторонник и клевет, — Красс резко изменил свои позиции. Это и послужило причиной острой словесной перепалки между Крассом и Цицероном; их отношения издавна носили характер плохо скрываемой неприязни. Теперь эта неприязнь проступила наружу. Однако ненадолго: под давлением Помпея и даже Цезаря (в письменной форме!) Цицерону, уже один раз испытавшему, к чему может привести хотя бы только отсутствие поддержки этих влиятельнейших людей, пришлось пойти на уступки и примириться с Крассом перед его отъездом в провинцию. Затем, как и полагается, он пишет Крассу в Сирию весьма любезное письмо, заверяя его в своей искренней приязни и преданности, что не мешает ему в другом письме, в письме, адресованном Аттику и написанном почти одновременно, восклицать, имея в виду Красса: «О, негодяй!»¹.

В еще большей степени довелось Цицерону ощущать себя марионеткой в руках триумвиров, когда он не смог устоять перед Цезарем и дал согласие защищать Ватиния. В свое время он, наоборот, громил этого ничтожного прихлебателя Цезаря, ибо тот осмелился выступить свидетелем против Сестия. Теперь Ватиний был обвинен в подкупе избирателей (он избирался претором в 55 г.). Цицерон, защищая его, добился успеха, но эта защита чрезвычайно подорвала репутацию самого Цицерона в сенатских кругах. Об этом можно судить по его письму к Лентулу Спинтеру, в котором он весьма многословно, но отнюдь не весьма убедительно объясняет и оправдывает свои действия².

И наконец, процесс Габиния в декабре 54 г. (за злоупотребления в провинции). Еще в октябре и даже в ноябре этого года Цицерон в письмах к брату го-

¹ Cic., fam., 5, 8. 1—5; ep. Att., 4, 13, 2.

² Cic., fam., 1, 9.

ворит о полной для него неприемлемости защиты своего старого врага, о «вечном позоре», о «гибели», а всего через несколько дней, снова поддавшись нажиму Помпея и Цезаря, выступает в качестве защитника Габиния, причем, как он сам свидетельствует об этом, защищает его «с величайшим усердием»¹. Столь неожиданные, крутые повороты приводят к тому, что именно с этого времени в сенатских «кулуарах» за Цицероном закрепляется весьма малопочетное, но, увы, заслуженное прозвище — «перебежчик».

Однако следует вернуться к характеристике общего положения в Риме. В конце 53 г. в связи с предстоящими консульскими выборами вновь разгорелась политическая борьба, причем борющиеся стороны пользовались, как это теперь было принято, не только деньгами (т. е. подкупам), но и оружием. Претендентов на консулат было трое, один из них — Милон. Что касается Клодия, то на 52 г. он выставил свою кандидатуру в преторы. Им, видимо, выдвигалась новая демократическая программа, о которой полностью мы, к сожалению, судить не можем. Из отрывочных данных источников можно извлечь лишь более или менее достоверные сведения о том, что готовился закон о голосовании отпущенников. До сих пор отпущенники, получавшие при отпуске на волю права римского гражданства, тем не менее были не вполне полноправны: их приписывали только к городским трибам, где они и должны были голосовать. По законопроекту Клодия им предоставлялось теперь право голосовать (и быть приписанными) как в городских, так и сельских трибах, в результате чего для отпущенников открывалась гораздо более широкая возможность оказывать влияние на общий исход выборов. Законопроект Клодия приводил Цицерона в ужас и он утверждал — как всегда, с огромным преувеличением! — что «дома у него уже вырезаны на медных досках законы, которые целиком отдают нас нашим рабам»².

52 год, как и предыдущие, начался без высших магистратов. Попытка провести консульские выборы окончилась свалкой, и оба консула истекшего

¹ *Cic., Rab.*, 19; 32, *ср. Q. fr.*, 3, 4, 3; 3, 5, 5; 3, 9, 1.

² *Cic., Mil.*, 87.

года были ранены. Напряжение достигло высшей точки. 18 января 52 г. недалеко от Рима, на Аппиевой дороге, произошла случайная встреча двух врагов: Клодия и Милона. Она описана несколькими древними авторами, так что мы знаем о ней довольно подробно.

Клодий, возвращавшийся в Рим из Ариция, ехал верхом в сопровождении двух-трех друзей и примерно тридцати рабов, вооруженных мечами. Милон, наоборот, направлявшийся из Рима, ехал в повозке с женой, причем за ним следовала большая толпа рабов (по некоторым сведениям — до 300 человек!), среди которых находились и гладиаторы. Именно кто-то из них затеял ссору с рабами Клодия, а когда тот подъехал узнать, из-за чего возник шум, ему нанесли удар кинжалом (по другим сведениям — копьем) в спину. Произошла свалка. Раненого Клодия отнесли в придорожную харчевню. Сюда же явился со своими людьми Милон, и они по его приказу добились истекавшего кровью Клодия.

Слух об этом убийстве быстро распространился по Риму и вызвал серьезные волнения. Труп Клодия был отнесен на Форум, выставлен на рострах; здесь состоялась народная сходка и выступили с речами народные трибуны. Затем толпа перенесла тело в Гостилиеву курию (здание, где обычно происходили заседания сената); из скамей, кресел, подмостков был сложен огромный костер, на котором сожгли труп Клодия, — заодно сгорело и здание самой курии.

Волнения в Риме продолжались несколько дней. Они вспыхнули с новой силой, когда в город вернулся осмелевший Милон. В этом движении принимали участие и рабы, хотя Аппиан, как это ему свойственно, уверяет, что рабы лишь воспользовались беспорядками в городе, дабы предаться грабежам и насилиям¹.

Конечно, в этих условиях выборные комиции не могли состояться. Милон, однако, имел смелость не отказываться от своих притязаний на консульство и тратил на это огромные суммы. Так, например, по некоторым данным, он роздал в трибах по тысяче ассов на каждого голосующего. Тем не менее ему не удалось

¹ *App.*, b. c., 2, 22.

привлечь общественное мнение на свою сторону: на девятый день после убийства Клодия толпа, собравшаяся на Форуме, пыталась поджечь его дом.

Сенат решил перейти к чрезвычайным мерам. Сначала особые полномочия были вручены трибунам и Помпею (как проконсулу), затем, поскольку все чаще и чаще раздавались голоса о необходимости диктатуры и называлось имя того же Помпея, сенат по хитроумному предложению Бибула провозгласил Помпея консулом «без коллеги», что и было по существу диктатурой, но в более смягченной форме.

Вскоре был привлечен к суду Милон. На четвертый день судебного разбирательства состоялось выступление Цицерона в защиту обвиняемого. Так как сенат боялся новых эксцессов во время суда, то Помпею было поручено и председательство, и проведение мер, обеспечивающих безопасность. Помпей окружил Форум войсками, а Милон посоветовал своему не всегда мужественному защитнику прибыть на суд в закрытых носилках. Тем не менее, как об этом красочно рассказывает Плутарх, Цицерон, «выйдя из носилок и увидев Помпея, сидевшего на возвышении, словно посреди военного лагеря, увидев сверкающий оружием Форум, растерялся и едва смог приступить к речи — голос его прерывался, руки и ноги дрожали»¹. Защита не удалась, Милон был обвинен и вынужден удалиться в изгнание; его имущество распродано для уплаты огромных долгов. Что касается речи Цицерона, то дошедший до нас текст представляет собой переработанный и отредактированный вариант.

Единоличное консульство Помпея не могло не сблизить его с сенатом и оптиматами, с другой же стороны, не могло не осложнить отношений с Цезарем. Был проведен ряд законов: усилены наказания за подкупы, приняты новые правила при выборах на высшие должности и при распределении провинций. Некоторые пункты этих законов могли быть использованы против Цезаря. Неожиданно один из пунктов закона о провинциях коснулся и Цицерона. Поскольку данный закон гласил, что никто в течение пяти лет после истечения срока консулата (или претуры) не мог теперь получать в управление провинцию,

¹ *Plut., Cic.*, 35.

сенатом было принято решение распределить провинции между теми из бывших магистратов, которые провинциями вообще не управляли. К числу таких магистратов принадлежал и Цицерон.

В феврале 51 г. состоялось решение сената направить Цицерона проконсулом в провинцию Киликия. В самом конце апреля он покидает Рим, причем незадолго до отъезда публикует шесть книг своего знаменитого диалога «О государстве». Путешествие в Киликию длилось долго: сначала Цицерон объезжает все свои усадьбы в Италии (а их было восемь!), встречается с Помпеем, около трех недель проводит в Брундизии, задерживается на десять дней в Афинах, в двадцатых числах июля прибывает в Эфес и только 31 июля — в Лаодикею, первый город своей провинции. И сразу же пишет Аттику: «Трудно поверить, как мне противны мои обязанности и какое недостаточное поле деятельности находит здесь хорошо известная тебе моя душевная склонность...» А несколькими строками ниже он признается, что уже тоскует «по месту, где я был бы на виду, по Форуму, по Риму, по дому, по вас тоскую я!»¹. Таково было настроение Цицерона буквально в первые же дни фактического вступления в его новую должность правителя провинции.

Однако, несмотря на такое отнюдь не вдохновляющее начало, проконсулат Цицерона — одна из наиболее удачных страниц в летописи его политической деятельности. Он проявил большую энергию, справедливость и снисходительность по отношению к подчиненным, отменил излишние расходы городов, связанные с содержанием наместников и отправлением благодарственных посольств в Рим, облегчил и уменьшил налоговый гнет. Особенное удивление в провинции вызвало его личное бескорыстие, его умеренность. «В его доме, — пишет Плутарх, — не было привратника, и ни один человек не видел Цицерона лежащим праздно: с первыми лучами солнца он уже стоял или расхаживал у дверей своей спальни, приветствуя посетителей»². Впрочем, добиться репутации справедливого и мягкого правителя не составляло особого

¹ Cic., Att., 5, 15, 1.

² Plut., Cic., 36.

труда: слишком мало были избалованы провинциалы хорошим отношением к ним римских наместников. Буквально продолжая только что приведенную фразу, Плутарх не без некоторого удивления, а быть может, и недоверия сообщает о Цицероне: «Рассказывают, что он никого не высек розгами, ни с кого не сорвал платья, в гневе никогда не бранился, не накладывал унижительных и позорных наказаний»¹.

Цицерону удалось за время его пребывания в провинции приобрести даже славу полководца. Не исключено, что этот неожиданный успех мог быть связан с тем обстоятельством, что одним из его легатов был Квинт Цицерон, который до того служил несколько лет в Галлии под началом Цезаря и приобрел, по-видимому, немалый военный опыт.

Сначала речь шла об угрозе войны с парфянами. Они переправились через Евфрат и могли вторгнуться на территорию Сирии и Киликии. Однако этого не случилось, и Цицерон начал военные действия против горных племен Амана. Он одержал над ними крупную победу недалеко от Исса, что напомнило ему о знаменитом сражении Александра Македонского с Дарием. В результате этих успехов он был провозглашен своими войсками императором, т. е. получил право на триумф. После того он еще покорил в так называемой свободной Киликии довольно сильную крепость Пинденисс.

И тем не менее, как только истек срок его полномочий, он немедленно, даже не дождавшись появления преемника, покидает провинцию и устремляется в Рим. В конце ноября 50 г. Цицерон высаживается в Брундизии и уже с первых дней пребывания на родной земле охвачен глубокой тревогой, предвидя потрясения гражданской войны. На юге Италии он дважды встречается с Помпеем и пытается склонить его к примирению или хотя бы к компромиссу с Цезарем, но безуспешно.

4 января 49 г. — Цицерон под стенами Рима. Он не вступает в город, поскольку претендует на триумф, а может быть, и потому, чтобы под этим благовидным предлогом уклониться от участия в заседаниях сената, где он должен был бы уже открыто принять

¹ *Plut., Cic.*, 36.

сторону либо Цезаря, либо Помпея. Но такие колебания не могли долго продолжаться: ближайшие события делали выбор неотвратимым и неизбежным.

* * *

Итак, за период с 55 по 51 г. (т. е. до отъезда в Киликию) Цицерон работал над тремя теоретическими трактатами: «Об ораторе» («De oratore»), «О государстве» («De republica») и «О законах» («De legibus»). Все три труда дошли до нас, хотя степень их сохранности далеко не одинакова.

Трактат «Об ораторе», посвященный теории красноречия, был закончен осенью 55 г. Цицерон сообщает об этом в одном из своих писем Аттику¹. Существующий текст сохранился в двух группах рукописей, из которых лучшая восходит к весьма древнему кодексу, найденному в 1422 г. и затем снова пропавшему.

Трактат представляет собой диалог, написанный в общей манере диалогов Платона и Аристотеля. Действие происходит осенью 91 г. на тускульской вилле Лициния Красса. Главные участники диалога — сам Лициний Красс и Марк Антоний, оба знаменитые ораторы и консуляры. Кроме того, в диалоге принимают участие несколько других видных ораторов и законовевов.

В первой из трех книг трактата речь идет об ораторе, его качествах и основных требованиях к нему, во второй — об отборе и расположении риторического материала, в третьей — о стиле, о форме изложения. Что касается источников Цицерона в этом трактате, то в общем он следует учению и взглядам представителей Академии, в частности, по мнению некоторых ученых, Филону из Ларисы.

Главная особенность трактата заключается в том, что он отнюдь не «учебное пособие», подобное более раннему труду Цицерона «De inventione», и хотя в трактате «Об ораторе» определенное внимание уделяется технике красноречия, но техника имеет в данном случае лишь подсобное значение, основное — образ человека, способного (и достойного) осуществлять

¹ Cic., Att., 4, 13, 2.

важнейшую государственную функцию: быть оратором¹.

Отсюда те высокие требования, которые Цицерон предъявляет к оратору. Мы знаем, что еще в год своего консулата, в речи за Мурену, Цицерон сравнивал и сопоставлял деятельность оратора с деятельностью полководца². Теперь основное внимание обращено на следующие условия. Оратор прежде всего должен быть философски образованным человеком, затем для него необходимо знание юриспруденции и истории. Перед этими основными условиями отступают на второй план такие тоже требуемые от оратора качества, как темперамент, такт, чутье и, наконец, владение определенной суммой технических приемов³.

Трактат «Об ораторе» представляет особый и выдающийся интерес для историков, поскольку в нем Цицерон, пожалуй, наиболее полно и вместе с тем наиболее ярко излагает свое отношение к истории. Это отношение возникает как некий вывод из основной для автора посылки: может ли оратор писать историю? Ответ звучит, конечно, положительно, более того, подчеркивается то обстоятельство, что именно голосом оратора история приобщается к бессмертию. Сама же история панегирически характеризуется как «свидетель времен, свет истины, бессмертие памяти, наставница жизни, вестница прошлого»⁴.

Несколько ниже, как ответ на такой же вопрос, приводится обширный экскурс, посвященный развитию римской историографии и сравнению римских анналистов с греческими историками. Однако происходит все же некая метаморфоза. Сам вопрос фактически формулируется теперь уже по-иному, не так, как раньше, — может ли оратор «писать историю», — но скорее таким образом: можно ли вообще заниматься историей, не будучи оратором, не обладая соответствующими данными и подготовкой? Все последующее изложение и призвано доказать, что история развивается и совершенствуется в зависимости от развития риторики, красноречия. Если римские анналисты

¹ K. Büchner, Cicero. Bestand und Wandel seiner geistigen Welt. Heidelberg, 1964, S. 200.

² См. выше, стр. 141—142, 164.

³ Cic., orat., 1, 41; 44; 53—54; 2, 190.

⁴ Cic., orat., 2, 36.

по сравнению с греческими авторами примитивны, неумелы и даже скучны, то это лишь потому, что они еще не овладели в полной мере искусством речи. Но ведь и греки находились в былые времена на таком же низком уровне¹.

Итак, история есть не что иное, как раздел ораторского искусства, только, к сожалению, у римлян недостаточно еще развитый. Но ее никоим образом нельзя сближать с поэзией, поскольку главная задача поэзии — доставлять людям удовольствие, в историческом же повествовании все должно быть направлено на то, чтобы сообщать им правду. Поэтому здесь действуют совершенно различные законы. И затем Цицерон дает следующую весьма примечательную формулировку основных «законов истории»: «...кто же не знает, что первый закон истории в том, чтобы не сметь сказать никакой лжи, затем — не сметь умолчать ни о какой правде и чтобы написанное не вызывало никакого подозрения ни в пристрастии, ни во враждебности»².

Говоря об этих важнейших «законах истории», Цицерон дает ряд существенных указаний или наставлений как историку, так и оратору. Ведь материалом для них обоих служит нечто общее: факты и слова. Изложение фактов требует прежде всего точной локализации во времени, описания места действия. Кроме того, когда речь идет о значительных и важных событиях, то читатель (или слушатель) хочет выяснить сначала намерения, затем действия и, наконец, следствия, и потому историк (оратор) обязан удовлетворять возникающий интерес в определенной последовательности. Он должен начинать с изложения своей точки зрения на намерения действующих лиц; говоря же о действиях, он обязан осветить не только то, что было сделано (или сказано), но и как было сделано, а переходя к следствиям, необходимо вскрыть и все причины, как случайные и безотчетные, так и предусмотренные разумом. Нельзя также удовлетворяться только рассказами о деяниях выдающихся личностей; следует обрисовать их жизнь, их характеры.

¹ *Cic., orat.*, 2, 51—55.

² *Cic., orat.*, 2, 55; 62.

Что же касается самой манеры изложения, т. е. уже не «фактов», но «слов», то эта манера должна быть спокойной и непринужденной, поток красноречия — плавным, без суровости судебного разбирательства и без непоколебимости судебного приговора. К сожалению, об этом нигде, ни в каких руководствах ораторам ничего не говорится, так же как и по поводу многих других — неглавных, но все же необходимых — качеств оратора, например умения убеждать, утешать, учить, предупреждать¹.

Эти «наставления» Цицерона чрезвычайно интересны. Они интересны и важны хотя бы уже потому, что позволяют взять под сомнение тот почти общепринятый взгляд, согласно которому римским историкам был чужд так называемый прагматический подход Полибия. Их занимало якобы лишь освещение фактической стороны событий; анализу внутренних связей и причин римская историография, дескать, не уделяла почти никакого внимания. В виде исключения упоминается обычно лишь Семпроний Азеллион, анналист, живший во времена Гракхов. В предисловии к своему труду он писал: «Недостаточно изложить только то, что было сделано, но еще следует показать, с какой целью и по какой причине это было совершено»². Однако подобное заявление, если учесть вышеприведенные мысли и слова Цицерона, уже не представляется столь необычным и исключительным.

Таковы наиболее интересные и «актуальные», с нашей точки зрения, положения, развиваемые Цицероном в трактате «Об ораторе». Мы не ставили своей задачей дать более или менее подробный пересказ содержания всего трактата. Это и ненужно и невозможно. Так же мы будем поступать и в отношении других теоретических произведений Цицерона этих лет.

Трактат «О государстве» был начат в 54 г. и опубликован, по всей вероятности, в 51 г., незадолго до отъезда Цицерона в Киликию. За ним последовал трактат «О законах». Цицерон в данном случае подражал примеру Платона, который, как известно, дополнил свою «Политику» (очерк идеального государства) специальным и написанным с более «практи-

¹ *Cic., orat.*, 2, 63—64.

² *Gell.*, 5, 18, 8—9.

ческих» позиций трудом «Законы». Работа Цицерона над его новым трактатом, начатая, видимо, в 52 г., едва ли была доведена до конца. И хотя Цицерон, как это явствует из его писем¹, собирался продолжить изучение подобных вопросов, трактат «О законах» так и остался незавершенным. Во всяком случае Цицерон сам его не публиковал: перечисляя в одном из своих произведений (в 44 г.) свои философские работы, он об этом трактате даже не упоминает².

Интересна судьба рукописи наиболее, пожалуй, знаменитого трактата Цицерона — «О государстве». Текст этого диалога до начала прошлого столетия считался утраченным и был известен только по отдельным цитатам и упоминаниям о нем у древних авторов, если не иметь в виду большого отрывка, которым заканчивался диалог в целом и который назывался «Сновидение Сципиона». Этот своеобразный фрагмент был сохранен для нас грамматиком V в. Макробием, написавшим к нему комментарий.

В эпоху Возрождения ценители и поклонники античности, начиная с Петрарки, разыскивали это сочинение Цицерона во всех книгохранилищах Европы, ездили с этой целью даже в Польшу, однако все попытки долгое время оставались безрезультатными. Только в начале XIX в. ученый, кардинал Анджело Май, префект Ватиканской библиотеки, нашел палимпсест (т. е. рукопись на пергамене, с которого был стерт первоначальный текст и написан новый), содержащий значительную часть первой и второй книг трактата, а также отрывки из третьей, четвертой и пятой книг; из текста шестой книги палимпсест не сохранил ни одного отрывка. В 1822 г. Май впервые издал рукопись, включив в нее фрагменты и цитаты, приводимые древними авторами и снабдив издание своими комментариями.

Сочинение Цицерона «О государстве» пользовалось довольно широкой известностью у современников. Так, например, один из корреспондентов Цицерона, Марк Целий Руф, писал ему в Киликию в середине 51 г.: «Твои книги о государстве высоко ценятся всеми»³. Но еще более популярным этот трактат ста-

¹ *Cic., fam.*, 9, 2, 5.

² *Cic., div.*, 2, 1.

³ *Cic., fam.*, 8, 1, 4.

новится в последующее время; этим и объясняется множество ссылок на него и цитат, сохранившихся в сочинениях древних авторов, начиная с Сенеки и Плиния Старшего. Интересно отметить, что многие положения трактата охотно использовались так называемыми отцами церкви, т. е. христианскими писателями, в особенности Лактанцием, и автором знаменитого в средние века труда «О граде божьем» Аврелием Августином. Эти два автора не только цитируют Цицерона, но и нередко пересказывают отдельные места и рассуждения из трактата.

Сочинение Цицерона «О государстве» написано им — опять-таки следуя примеру Платона — в форме диалога. Место действия — загородная усадьба Публия Сципиона Африканского Младшего, время действия — дни так называемых Латинских празднеств 129 г. до н. э. Главным действующим лицом диалога является сам Сципион; кроме него в диалоге принимают участие некоторые его друзья.

Работая над своим произведением, Цицерон не раз менял его замысел и построение. Он сам говорит об этом в одном из писем к своему брату Квинту. Первоначальный план, согласно которому в диалоге выступали лица, перечисленные выше, он по совету одного из своих друзей хотел изменить и «осовременить», сделав участниками диалога самого себя и своего брата. Но в конечном итоге все же вернулся к прежнему плану: диалог ведется в ту эпоху, когда римское государство, по мнению Цицерона, процветало.

Общая структура трактата следующая: он состоит из шести книг — по две книги на каждый день беседы, которая, таким образом, длится три дня. Каждый день посвящен обсуждению определенного вопроса: книги первая и вторая — вопросу о наилучшем государственном устройстве, книги третья и четвертая — философскому обоснованию понятия государства (исходя из идеи справедливости) и, наконец, книги пятая и шестая — вопросу о наилучшем государственном деятеле. Как уже было отмечено, весь трактат завершается неким апофеозом — сновидением Сципиона Младшего, во время которого ему является знаменитый победитель Ганнибала Сципион Африканский Старший. Последний предсказывает приемному внуку блестящую судьбу и вместе с тем объясняет ему, что

людям, которые верно служили отечеству, уготовано бессмертие и вечное блаженство.

Не составляет особого труда определить источники, которые использовал Цицерон в трактате «О государстве». Они перечисляются самим автором. Так, упоминаемая в одном из своих более поздних произведений интересующий нас трактат, Цицерон говорит о таких источниках, как Платон, Аристотель, Феофраст (и вообще школа перипатетиков)¹, в самом же трактате помимо многократных упоминаний имени Платона можно найти ссылки на Полибия и Панэтия². Как в свое время правильно отметил немецкий исследователь В. Шур, трактат «О государстве» объединяет в одно целое политические теории Средней Стои с практическим опытом римского консула³.

Трактат «О законах» сохранился в двух главных кодексах (списках), восходящих к IX и X вв. Как уже было указано, это произведение Цицерона, служившее как бы дополнением к диалогу «О государстве», осталось незаконченным. К тем соображениям, которые приводились выше как доказательства незаконченности трактата (отъезд Цицерона в Киликию, упоминание о намерении снова взяться за эту тему в письме к Варрону от 46 г. и, наконец, отсутствие названия трактата в перечне философских произведений, составленном самим Цицероном), можно добавить еще следующий аргумент: диалоги, которые Цицерон издавал сам, он обычно снабжал предисловием; данный трактат его не имеет.

Трактат «О законах» написан также в форме диалога, который, однако, происходит в современной Цицерону обстановке. Участники диалога — сам Цицерон, его брат Квинт и друг Цицерона Тит Помпоний Атик. До нас дошли три книги трактата, но так как у Макробия есть упоминание о пятой книге, то некоторые исследователи предполагают, что все произведение по аналогии с трактатом «О государстве» состояло из шести книг. Наиболее обработанной и законченной представляется первая книга диалога, дошедшая до нас в хорошей сохранности, хотя и в ней встречаются лакуны; во второй и третьей книгах мно-

¹ *Cic., div.*, 2. 1. 3.

² *Cic., rep.*, 1. 34.

³ *W. Schur. Sallust als Historiker. Stuttgart, 1934, S. 42 u. a.*

гое производит впечатление первоначальных набросков.

Первая книга трактата содержит рассуждения о естественном праве, вторая — о «праве божественном», третья — о магистратах. Законы, изложенные во второй и третьей книгах, переданы архаизированным языком, воспроизводящим колорит старины; о содержании книг, не дошедших до нас, судить трудно, хотя на этот счет в литературе высказывались различные предположения.

Источниками Цицерона в трактате «О законах» были Платон и Хрисипп, один из наиболее плодотворных писателей стоической школы, автор сочинения, которое тоже называлось «О законах». Из представителей Средней Стои несомненно влияние Панэтия и в какой-то мере Антиоха Аскалонского (известного, кстати сказать, еще и тем, что он пытался согласовать учение Стои с Академией).

Таковы в общих чертах состояние двух интересующих нас памятников, их структура и, наконец, краткий обзор источников, использованных Цицероном при работе над этими трактатами, которые представляют собой по авторскому замыслу единое целое и, пожалуй, могут считаться наиболее ярким выражением политико-философских теорий, имевших хождение среди наиболее образованной, «интеллигентной» и умеренно консервативной части господствующих слоев Рима.

Мы не имеем возможности касаться всего круга проблем, затрагиваемых Цицероном в его философских диалогах. Поэтому рассмотрим лишь те вопросы, которые представляются нам наиболее важными для выяснения политико-философских воззрений самого Цицерона, а именно: теорию наилучшего государственного устройства и рассуждение о государственном деятеле (диалог «О государстве») и теорию естественного права (диалог «О законах»).

Все теории государства в античную эпоху, как это было однажды справедливо отмечено, развивались по существу в довольно ограниченных пределах и сводились к двум основным вопросам: о государственных формах и о лучшей из этих форм. Ответом на эти вопросы, как бы венчающим развитие политико-философских воззрений, было учение о смешанной форме

государственного устройства¹. Проникновение этого учения в Рим связано с усилением эллинистических влияний и, в частности, с деятельностью Полибия. Полибий же, несомненно, был одним из основных источников Цицерона в первой книге трактата «О государстве». Не случайно изложение теории смешанного устройства ведется устами именно Сципиона, в кружке которого и состоял Полибий.

Сципион начинает свой экскурс с упоминания о правиле, которым, по его мнению, следует руководствоваться при обсуждении любого вопроса. «Если насчет названия предмета исследования все согласны, то надо разъяснить, что именно обозначают этим названием; если насчет этого тоже согласятся, то только тогда будет дозволено приступить к беседе; ибо никогда нельзя будет понять свойства предмета исследования, если сначала не поймут, что он собой представляет»².

После этого более чем предусмотрительного замечания Сципион переходит к определению государства. Он говорит, что государство (т. е. *res publica*) есть не что иное, как «дело народа» (*res populi*)³. Затем кратко излагается причина возникновения государства (врожденная потребность людей жить совместно) и дается определение его сущности (совокупность людей, связанных общностью права и интересов). После этого Сципион приступает к перечислению основных форм государственного устройства. Он отмечает три простых формы: монархию, аристократию и демократию; ни одну из этих форм он не считает совершенной. Главный и основной недостаток заключается в том, что каждая из этих форм, взятая в отдельности, неустойчива и легко вырождается в соответствующую ей извращенную форму. Так возникают круговороты сменяющих друг друга государственных форм, от чего застрахована лишь некая четвертая форма, которая как бы смешана из трех названных выше⁴.

Однако определения этой наиболее устойчивой формы пока не дается. Другой участник диалога, Ле-

¹ *K. Büchner*. Die römische Republik im römischen Staatsdenken. Freiburg in Breisgau, 1947, S. 5.

² *Cic.*, *rep.*, 1, 38.

³ *Cic.*, *rep.*, 1, 39.

⁴ *Cic.*, *rep.*, 1, 45.

лий, перебивает Цицерона и просит его сообщить, какую из трех названных простых форм он все же считает наилучшей. Ответ на этот вопрос дает Цицерону возможность изложить взгляды сторонников каждой из государственных форм, и только на повторный вопрос Лелия он высказывает свою точку зрения и говорит, что если необходимо выбрать одну из «чистых» форм, то он предпочел бы царскую власть¹.

Затем Цицерон ссылается на различные примеры, пытаясь убедить Лелия в правильности этой мысли, и лишь в самом конце первой книги диалога дает развернутое определение смешанного государственного устройства и отмечает его преимущества. Это устройство должно объединять элементы трех вышеназванных простых форм таким образом, «чтобы в государстве было нечто выдающееся и царственное, чтобы некая часть власти была уделена и вручена авторитету первенствующих людей, а некоторые дела были предоставлены суждению и воле народа». Преимуществами этого смешанного устройства следует считать, во-первых, «так сказать, великое равенство; во-вторых, прочность, так как нет оснований для переворота или вырождения там, где каждый занимает подобающее ему место»².

Таково в общих чертах учение Цицерона о наилучшем государственном строе, изложенное устами Цицерона. Отметим ту любопытную деталь, что из простых форм он — хотя и с определенными оговорками — предпочитает царскую власть. Этот момент в какой-то мере подводит нас к следующей основной проблеме — к учению Цицерона о наилучшем государственном деятеле.

Поскольку высказывания о государственном деятеле в тех книгах диалога, которые посвящены именно этому вопросу, т. е. в пятой и шестой книгах, чрезвычайно фрагментарны или содержатся в наименее точных экскурсах (заимствованиях у других авторов), они, конечно, не могут дать нам четкого представления о концепции Цицерона (если в данном случае вообще можно говорить о более или менее разработанной концепции). Все же некоторые намеки, некоторые терминологические детали, а главным образом предпочте-

¹ *Cic.*, *rep.*, 1, 54.

² *Cic.*, *rep.*, 1, 69.

ние, отдаваемое Цицероном царской власти, по сравнению с другими «чистыми» формами приводили многих исследователей к выводу, что Цицерон в своем трактате пропагандировал монархический идеал государственного деятеля.

По нашему мнению, монархическое толкование Цицеронова идеала едва ли состоятельно. Нам представляется наиболее приемлемой точка зрения, сравнительно недавно высказанная И. Фогтом. По его мнению, Цицерон имел в виду, конечно, не монархию, как таковую, но некую форму «аристократического руководства», которая еще в далеком прошлом римского государства (а «государство предков» — идеал Цицерона) не раз в случае надобности воплощалась в руководстве персональном¹.

И действительно, Цицерон в согласии с традиционной римской точкой зрения, выраженной в стихе Эния: «Древний уклад и мужи — вот римской державы опора», считает, что процветание государства обязано взаимодействию именно этих двух факторов. Следовательно, для восстановления былого процветания государства нужна прежде всего нравственная реформа; но она, очевидно, может быть проведена только каким-то руководящим деятелем, способным выполнить такую задачу в силу своих гражданских и нравственных достоинств. Подобного реформатора Цицерон и называет «правителем государства» (*rector rei publicae* или *rector civitatis*).

На основании пятой и шестой книг диалога «О государстве» можно убедиться в том, что Цицерон, употребляя термин *rector*, всегда имел в виду «аристократа-реформатора» — Сципиона, Л. Эмилия Павла, Катона Старшего, Гракха-отца и т. п., а в конечном счете примерял к этому идеалу государственного деятеля даже самого себя². Все это достаточно определенно свидетельствует о том, что монархический оттенок никак не приложим к интересующему нас термину.

В трактате «О государстве» перечисляются лишь качества и обязанности ректора, но отнюдь не его права. Цицерон требует от политического деятеля благоразумия, торжества разума над низменными стра-

¹ J. Vogt. Ciceros Glaube an Rom. Darmstadt, 1963, S. 56 u. a.

² Cic., Att., 6, 2, 9; 7, 3, 2; ср. Man., 52.

стями, таких достоинств, как мудрость, справедливость, воздержанность, красноречие и даже знание сочинений греческих авторов.

Какие же задачи призван решать этот политический деятель, в каких случаях и каким образом он должен вмешиваться в ход государственных дел? Ответ на этот вопрос содержится в одной из речей Цицерона, где он определяет свою собственную норму поведения как государственного деятеля: «Я выполнил свои обязанности консула, ничего не совершив без совета сената, ничего — без одобрения римского народа, на рострах всегда защищая курию, в сенате — народ, объединяя народ с первенствовавшими людьми, всадническое сословие — с сенатом»¹. Цицерон так действовал, будучи консулом, но если государственные учреждения или магистраты оказываются не на высоте, то именно в этот момент и должен выступить «лучший гражданин» (он может быть и частным лицом, а не обязательно магистратом) в качестве «ректора» и охранителя государства.

Перейдем теперь к рассмотрению последней из интересующих нас проблем — к проблеме естественного права. Она в свое время разрабатывалась еще софистами. Затем эта проблема привлекла к себе внимание стоиков, но, как уже было указано выше², если и можно говорить о влиянии классических представителей стоической школы на Цицерона (в частности, о влиянии Хрисиппа), то подобное влияние едва ли было непосредственным. Ближе всего Цицерон был связан с философскими течениями II—I вв. до н. э. (так называемый период эклектизма).

Определение «истинного закона» как некоего правильного положения, соответствующего природе, распространяющегося на всех людей, постоянного и вечного, которое призывает к исполнению долга, приказывая, и отпугивает от преступления, запрещая, дано еще в трактате «О государстве»³. Начиная же свое рассуждение в диалоге «О законах», Цицерон прежде всего говорит о необходимости охватить вопрос в целом, т. е. сначала выяснить самую природу права, а затем перейти к рассмотрению законов, на основании

¹ *Cic.*, *Pis.*, 3, 7.

² См. стр. 249.

³ *Cic.*, *rep.*, 3, 33.

которых государство управляется, в том числе и к рассмотрению так называемых гражданских прав.

Затем следует определение: «Закон... есть заложенный в природе высший разум, велящий нам совершать то, что следует совершать, и запрещающий противоположное». Разум этот, когда он проникает в человека и укрепляется в нем, и есть закон. Следовательно, понятие права следует выводить из закона; он — «мерило права и несправедливости». Что касается писаных законов — а обычно люди только их и считают законами, — то такое толкование практически приемлемо, однако при установлении права следует исходить из того высшего закона, который, будучи общим для всех времен, возник раньше, чем любые писанные законы, раньше, чем возникло какое бы то ни было государство¹.

Далее Цицерон, подчеркивая преемственность между обоими своими трактатами, говорит, что все законы необходимо сообразовать с тем государственным устройством, превосходство которого было доказано Сципионом. После этого он переходит к рассмотрению вопроса о законах как главной связи между людьми и божеством. «Так как лучше разума нет ничего и он присущ и человеку, и божеству, то первая связь между человеком и божеством — в разуме». Но разум есть закон; следовательно, люди связаны с богами также и законом. А все те, кто связан между собой общими правами и законами, представляют единую общину (*civitas*). Поэтому весь мир можно рассматривать как единую общину богов и людей².

И наконец, в трактате проводится еще одна важная мысль. Сначала ее в общей форме высказывает Аттик: «Во-первых, мы снабжены и украшены как бы дарами богов; во-вторых, у людей существует лишь одно равное для всех и общее правило жизни, и все они связаны, так сказать, природным чувством снисходительности и благожелательности, а также и общностью права». Таким образом, чувство социальной общности, влечение людей друг к другу тоже заложены в самой природе и тесно связаны с понятием справедливости. «Справедливости вообще не существует, если она не основана на природе, а та, которая устанавливается

¹ *Cic., leg.*, 1, 18—19.

² *Cic., leg.*, 1, 23.

в расчете на пользу, уничтожается из соображений другой пользы». Более того, если не считать природу основанием права и законов, то все доблести: благородство, любовь к отчизне, чувство долга, желание служить ближнему, чувство благодарности — все это уничтожается, ибо подобные чувства возникли и могли возникнуть лишь потому, что «мы, по природе своей, склонны любить людей, а это и есть основа права».

Итак, основа права не мнения людей, но природа, не писанные законы, созданные людьми, но природный, естественный закон, который одновременно есть высший разум, справедливость и который служит связующей нитью между людьми и богами. И только руководствуясь им, люди способны отличать право от бесправия, честное от позорного, доброе от злого и стремиться к праву и к тому, что честно и справедливо, ради самих этих доблестей. Ибо нет на свете ничего более несправедливого, чем желание награды или платы за справедливость¹.

Таковы основные положения теории естественного права, развиваемые Цицероном в трактате «О законах». Как сам характер этих идей, так и непосредственные указания автора свидетельствуют о том, что данный трактат — логическое развитие и дополнение диалога «О государстве». Если же иметь в виду основные принципиальные положения этого первого трактата, т. е. учение о наилучшем государственном устройстве и учение о государственном деятеле, то все эти, взятые вместе, отправные посыпки политико-философских воззрений Цицерона можно рассматривать как базу, фундамент, на котором возведено единое здание обоих диалогов.

В заключение следовало бы остановиться на вопросе, который тесно связан со всем предыдущим изложением. В каком соотношении находятся теоретические построения Цицерона с его практическими политическими позициями? Существует ли вообще такая связь?

Касаясь этого вопроса, мы, очевидно, должны вернуться к основным политическим лозунгам Цицерона. Здесь мы имеем в виду прежде всего лозунг «согласие сословий», верность которому Цицерон

¹ Cic., leg., 1, 35; 44; 48—49.

сохранял до конца своей жизни и политической деятельности (но, как мы знаем, не с самого ее начала). Недаром во второй книге диалога «О государстве» дается чрезвычайно поэтичное сравнение гармонии в области музыки и пения с гармонией сословий: «... так и государство, с чувством меры составленное путем сочетания высших, низших и средних сословий... стройно звучит благодаря согласованию даже несходных начал»¹.

Нас интересует сейчас реальный смысл лозунга, который провозглашал и отстаивал Цицерон в самой различной политической обстановке. Речь идет не о выяснении такого, быть может интригующего, но все же малоуловимого момента, как внутренняя убежденность Цицерона в правоте лозунга, т. е. искренность его веры в якобы постоянно существующее единение всех сословий. Это в конце концов момент второстепенный. Важнее другое. Объективный смысл и политическая сила лозунга состояли, видимо, в том, что в условиях римской действительности, в условиях напряженной борьбы политических группировок и их главарей, наконец, в условиях гражданской войны он мог звучать как лозунг «надпартийный», поднимающий над «частными» интересами и распрями, во имя интересов «отечества» в целом. Конечно, — и это нам хорошо известно — понятие отечества для Цицерона отождествлялось с понятием «сенатской республики», но это отнюдь не снижало политической привлекательности лозунга в глазах его современников. Кроме того, называя Цицерона сторонником «сенатской республики», мы все же не считаем его выразителем интересов той выродившейся сенатской олигархии, которая занимала наиболее крайние, реакционные позиции. Ведь в его понимании «сенатская республика» — это строй, существовавший во «времена предков», в эпоху расцвета римского государства, когда с руководящей ролью сената (и магистратов) разумно сочетались элементы «демократии», т. е. было осуществлено смешанное государственное устройство.

Таким образом, если уж говорить о Цицероне как «выразителе», то он скорее представлял интересы и запросы умеренно консервативных и «интеллигентных»

¹ Cic., rep., 2, 69.

кругов римского господствующего класса. Его основной пропагандистский лозунг имел достаточно четко выраженный политический смысл и направление. Учение же о наилучшем государственном устройстве (главным образом в той его части, где речь идет о смешении некоторых элементов «простых форм»), как и учение о естественном праве (в той его части, где подчеркивается идея социальной общности и естественного стремления людей друг к другу), служило как бы теоретическим обоснованием пропагандистских лозунгов, которые использовались Цицероном в его повседневной политической практике.

Гражданская война. Диктатура Цезаря

8

В самом конце 50 г. Цезарь с весьма незначительной частью своих войск — всего один легион, 300 всадников, вспомогательные отряды — находился в Цизальпийской Галлии, на границе Италии, в том последнем городе, на который еще распространялась его власть проконсула, — в Равенне. Срок его полномочий истекал, а общее положение — как, впрочем, и ближайшие перспективы — было крайне сложным и неясным.

С одной стороны, позиции Цезаря безусловно укрепились. Галлия была окончательно покорена. В ходе этой борьбы Цезарь проявил выдающуюся энергию, военный и дипломатический талант. Не говоря уже о его походе за Рейн, во владения германцев, и о двух весьма эффектных экспедициях в Британию, наиболее громкую и заслуженную славу полководца принесла ему длительная, упорная борьба с антиримским восстанием, охватившим буквально всю Галлию. Оно началось в 52 г. под руководством вождя племени арвернов Верцингеторикса. Римские легионы, разбросанные по стране, оказались в тяжелом положении. Нападение Цезаря на Герговию, где укрепился Верцингеторикс, окончилось неудачей. После этого от римлян отпали даже их наиболее верные союзники — племя эдуев.

Только в конце 52 г. произошел переворот в пользу римлян. Верцингеторикс вынужден был отступить к городу Алезия, Цезарь немедленно последовал за ним и обложил город. Галльское ополчение пыталось выручить своего вождя, но его нападение на хорошо укрепленные позиции Цезаря не дало результатов, а голод при-

нудил осажденных к сдаче. Союз галльских племен распался. Верцингеторикс был взят в плен и отправлен в Рим, однако окончательное покорение восставших потребовало еще около года борьбы.

Завоевание Галлии имело огромное значение. По подсчетам, приводимым Плутархом, Цезарь «за неполные десять лет войны в Галлии взял штурмом более восьмисот городов, покорил триста племен, сражался с тремя миллионами врагов, из которых один миллион уничтожил на поле боя и столько же захватил в плен»¹. Если даже сведения Плутарха значительно преувеличены, то все же резонанс всех этих побед и походов в Риме был очень велик и очень повышал личный авторитет Цезаря. Кроме того, бесспорным, а возможно, и главным его выигрышем было приобретение опытной, закаленной в боях и преданной своему полководцу армии.

И все же положение Цезаря было далеко не бесспорным. Ситуация, сложившаяся в Риме, не сулила ему благоприятных перспектив. В сенате в это время длительно и бурно обсуждался вопрос о том, чтобы послать ему преемника. Дипломатическая борьба, разгоревшаяся вокруг этого вопроса, началась еще в 51 г. и продолжалась фактически весь 50 г. Цезарь желал сохранить свое наместничество вплоть до избрания его консулом — как это и было когда-то решено на совещании в Луке — и добивался права заочного выдвижения своей кандидатуры. Распустить войска и вернуться в Рим в качестве частного лица, как требовал обычай, — это значило повторить столь хорошо памятный ему опыт Помпея. Цезарь, однако, обладал способностью извлекать уроки если и не из истории, то хотя бы из недавнего прошлого.

Он шел и готов был идти на некоторые уступки, но все же до известного предела. Так, например, он был согласен распустить большую часть своих войск и передать новому наместнику Трансальпийскую Галлию, решительно настаивая на том, чтобы сохранить за собой до вступления в консульство Галлию Цизальпийскую и хотя бы два легиона. Сенат под давлением наиболее ярых противников Цезаря не желал идти на встречу этому предложению. Тогда народный трибун

¹ *Plut., Caes., 15.*

50 г. Гай Курион, по слухам, подкупленный Цезарем, выдвинул требование, чтобы оба полководца, т. е. Помпей и Цезарь, сдали свои провинции и войска. Только таким путем, утверждал Курион, может быть установлен прочный мир в государстве, ибо Помпей и Цезарь — враги, и успокоение наступит лишь тогда, когда они оба будут лишены власти и превратятся в частных лиц. Предложение Куриона, хотя фактически оно было выгоднее Цезарю, поскольку победа над Галлией дала ему огромные средства и небывалую популярность, тем не менее подкупало своей видимой справедливостью и объективностью. Поэтому результат обсуждения этого вопроса в сенате оказался довольно неожиданным: подавляющее большинство сенаторов поддержало проект Куриона. Однако консул Клавдий, дабы воспрепятствовать принятию решения, закрыл заседание, воскликнув: «Побеждайте, чтобы получить Цезаря деспотом!»¹.

Столь непримиримая позиция противников Цезаря, и в частности самого Помпея, в значительной мере была основана на неправильной оценке соотношения сил, а иногда и на прямой дезинформации. Так, например, усиленно циркулировал слух, будто солдаты Цезаря, изнуренные бесконечными походами, тоскующие по дому, сразу же встанут на сторону Помпея, как только перейдут через Альпы. Когда в конце 50 г. Помпей, находившийся в Неаполе, заболел, к нему стали поступать со всех концов Италии выражения сочувствия, что было истолковано им как свидетельство его популярности и прочности положения. Этим, очевидно, объясняется и тот факт, что, считая войну неизбежной, он тем не менее всерьез к ней еще не готовился.

1 января 49 г. приступили к исполнению своих обязанностей консулы Корнелий Лентул и Клавдий Марцелл. Оба они были непримиримыми противниками Цезаря. Последний обратился к сенату с новым посланием, в котором, перечислив все свои заслуги перед государством, утверждал, что сенат не может лишить его права, дарованного ему римским народом, — помогать консулата, не сдавая провинцию и войска. Одновременно он заявлял о своей готовности добровольно

¹ App., b. c., 2, 30.

сложить все полномочия, но при условии, что тоже самое будет сделано Помпеем.

Вернувшийся 4 января из Киликии Цицерон напрасно искал возможностей примирения. «Когда я пожелал и, как полагаю, мог добиться этого, — писал он 12 января своему другу Тируну, — мне воспрепятствовали намерения определенных людей, ибо сторонники войны имеются как на одной, так и на другой стороне»¹. И хотя Цицерон был не одинок и даже в самом сенате, как мы видели, многие предпочитали купить мир и спокойствие ценой некоторых уступок, примирительные предложения Цезаря снова не прошли. Более того, было принято решение о передаче провинций Цезаря Домицию Агенобарбу, главное командование в предстоящей неизбежной войне вручалось Помпею, по всей Италии объявлялся набор войск. Сторонники Цезаря, трибуны Марк Антоний и Квинт Кассий, пытались наложить вето на эти решения, однако им было предложено немедленно удалиться из сената, дабы не подвергаться оскорблениям. Оба трибуна в тот же день тайно, в одежде рабов, бежали из Рима, чем и дали Цезарю вполне благовидный предлог вступить за их права.

Обычно из рассказа о знаменитом переходе Цезаря через Рубикон, когда он произнес историческую фразу: «Жребий брошен!», создается впечатление, что этот отчаянно смелый шаг был предпринят крайне решительно, без всяких колебаний. Конечно, это не так. Цезарь и готовился к войне, и страшился ее; он пытался избежать войны вплоть до последнего момента. Об этом свидетельствует прежде всего его многомесячный «торг» с сенатом, его готовность идти на довольно существенные уступки, наконец, его поведение перед самым переходом Рубикона. Светоний уверяет, что Цезарь, колеблясь, сказал: «Еще не поздно вернуться; но стоит перейти этот мостик и все будет решать оружие» — и только неожиданные и благоприятные предзнаменования подвинули его на этот шаг². Другие древние авторы дают несколько иные варианты «исторических фраз», но почти все они в той или иной форме упоминают о колебаниях Цезаря. Так что если уж

¹ *Cic., fam.*, 16, 11, 2.

² *Suet., Jul.*, 31—32.

говорить о решительности, то скорее не *до*, а *после* перехода через Рубикон, после начала военных действий, т. е. речь должна идти не столько о решительности политика, сколько о решительности воина, полководца.

В этом смысле Цезарь оказался верен своей обычной и испытанной тактике: действовал быстро, смело, неожиданно. После перехода через Рубикон продвижение его войск по территории Италии было стремительным. В североиталийских городах он по существу не встретил сколь-нибудь серьезного сопротивления.

Когда известие о выступлении Цезаря дошло до Рима, там началась настоящая паника. Передавались самые невероятные слухи об огромной армии, которую он ведет с собой. У Помпея не было войск, главные его силы находились в Испании, проводимый набор еще не дал ощутимых результатов. Поэтому он принял решение покинуть Рим и призвал последовать его примеру всех, кому дороги родина и свобода. В страхе перед ожидаемыми проскрипциями с ним бежали оба консула, многие сенаторы, даже те, кто никогда не выступал против Цезаря. Цицерон, как проконсул, оказался в числе тех, на кого сенат возложил реализацию решения о чрезвычайном положении. Уже одно это обстоятельство предопределяло его принадлежность к сторонникам Помпея. По поводу доставшегося ему поручения он, однако, писал Аттику следующее: «Я стою во главе спокойного дела. Помпей хочет, чтобы над частью Кампании и морским побережьем я был наблюдателем, который ведал бы набором и важнейшими делами»¹.

С момента бегства Помпея из Рима Цицерон весьма скептически относился ко всем его действиям, считая, что «наш Помпей ничего не сделал разумно, ничего храбро, наконец, ничего, что не противоречило бы моим советам и моему авторитету»². Он сам «выкормил» Цезаря, возвеличил его и вооружил против государства. В данное время он пребывает в состоянии растерянности, для сопротивления Цезарю не хватает сил: «Мы позорно не подготовлены как в отношении солдат, так и денег»³. Но, понимая все это, Цицерон тем

¹ *Cic., Att.*, 7, 11, 5.

² *Cic., Att.*, 8, 3, 3.

³ *Cic., Att.*, 7, 15, 7.

не менее считает необходимым поддержать Помпея и связать «свою судьбу с его судьбой». Одновременно он надеется сохранить хорошие или, как он сам выражается, «дружеские» отношения с Цезарем¹. Он не столько колеблется, сколько сознает «межеумочный» характер своего положения и даже иронизирует над самим собой: «Мне известно, от кого мне следует бежать, но не известно — к кому!»²

Действительно, пока Цезарь не вступил в Рим, а Помпей еще находился на территории Италии, ситуация для Цицерона во многом оставалась неясной, и он не терял надежды на примирение. Так, например, он придавал большое значение тому факту, что Лабиев, один из наиболее видных легатов Цезаря, покинул его и перешел на сторону сената. Ему стали также известны новые попытки Цезаря вступить в переговоры³, а еще через некоторое время Цезарь, сначала через общих друзей, а затем и лично, обратился к Цицерону, рассчитывая на него как на посредника. Цицерон, видимо после довольно длительных раздумий и колебаний, ответил Цезарю специальным письмом⁴, которое, однако, оказалось запоздавшим: всего за два дня до того, как письмо было отправлено, Помпей с имеющимися в его распоряжении войсками оставил Брундизий и переправился на Балканский полуостров. Вопрос о посредничестве терял теперь какое-либо реальное значение.

После бегства Помпея из Италии Цезарь вступает в Рим. Вместо ожидаемых расправ и проскрипций он выдвигает лозунг милосердия. Пленники получают свободу, с оставшимися в городе сенаторами он обходится чрезвычайно мягко. Единственный акт насилия, допущенный Цезарем в это время, состоял в том, что он, несмотря на протесты трибуна Метелла, велел взломать двери помещения, в котором хранилась государственная казна. Метеллу он пригрозил казнью, подчеркнув, что ему труднее сказать об этом, чем сделать⁵.

И хотя Цезарь пробыл в Риме на сей раз всего

¹ *Cic., Att.*, 8, 3, 2.

² *Cic., Att.*, 8, 7, 2.

³ *Cic., Att.*, 7, 15, 2—3; *fam.*, 16, 12, 3—4.

⁴ *Cic., Att.*, 9, 11^a.

⁵ *Plut., Caes.*, 35.

несколько дней, он успевает встретиться и переговорить с Цицероном. Встреча происходила где-то за пределами города, так как Цицерон не желал вернуться в Рим. Цезарь указывал на то, что подобное поведение может быть истолковано как осуждение его действий. Цицерон проявил неожиданную твердость, и расставание вышло довольно холодным: Цезарь заявил, что ему придется, очевидно, прибегнуть к советам других лиц, поскольку он едва ли может рассчитывать на Цицерона¹.

После этого Цезарь направляется в Испанию. Очевидно, именно в это время у Цицерона созревает решение уехать из Италии, несмотря на то что сначала от приближенных Цезаря, а затем и от него самого он получает достаточно ясные предупреждения не становиться на подобный путь². Более того, Цицерон в это время даже тешит себя мыслью об организации восстания в Кампании; к нему обращаются центурионы трех находящихся в Помпеях когорт, желая «предоставить в мое распоряжение себя и город»³. Но подобные авантюры были, конечно, не в духе Цицерона, и он, поразмыслив, уклоняется от встречи с центурионами, для чего даже уезжает из своей усадьбы. В самом начале июня 49 г. он, обойдя прямой запрет Цезаря, тайно покидает Италию и оказывается наконец в лагере Помпея.

Испанская кампания Цезаря заняла июль—август 49 г. На территории Испании было сосредоточено семь легионов Помпея. Несмотря на кратковременность военных действий, кампания оказалась очень напряженной. Она закончилась капитуляцией помпеянских войск при Илерде. После этого Цезарь снова возвращается в Рим. Здесь его провозглашают диктатором, но пребывает он в этой должности всего одиннадцать дней: он складывает с себя диктаторские полномочия, поскольку избирается консулом на 48 г. В январе этого же года Цезарь с шестью легионами пехоты и несколькими отрядами конницы высаживается на западном побережье Балканского полуострова, в районе Аполлонии.

Положение Цезаря в начале балканской кампании

¹ *Cic.*, Att., 9, 18, 1.

² *Cic.*, Att., 9, 9^a; fam., 8, 16; Att., 10, 8^b.

³ *Cic.*, Att., 10, 16, 4.

было крайне рискованным. Военные силы Помпея превосходили Цезаревы войска чуть ли не вдвое, но главное преимущество заключалось даже не в этом: на стороне Помпея был почти весь римский флот, что давало ему возможность полностью контролировать балканское побережье и бесперебойно снабжать свою армию. Только медлительностью и странной нерешительностью, вообще говоря несвойственной Помпею, можно объяснить тот факт, что он не использовал столь благоприятный момент для нападения на Цезаря.

Зато Цезарь, как только ему удалось получить подкрепления, приступил к самым решительным действиям. Произошло сражение у Диррахия, в котором военное счастье склонилось, однако, на сторону Помпея. Войско Цезаря потерпело довольно серьезное поражение, но Помпей не сумел развить свой успех. Недаром позднее Цезарь признавался в том, что «война могла бы быть в этот день закончена, если бы враги имели во главе человека, умеющего побеждать»¹.

После сражения при Диррахии в лагере Помпея все воспрянуло духом, царило ликование. Сам Помпей писал письма чужеземным царям, городам и полководцам в тоне победителя. Многие считали, что уже следует переправляться в Италию, посылали в Рим друзей и слуг, чтобы заранее купить дома вблизи Форума в расчете на занятие высших должностей. Как рассказывает Плутарх, три видных помпеянца — Спинтер, Домиций и Сципион — яростно спорили между собой из-за должности верховного жреца, которую занимал в то время Цезарь².

Что касается Цицерона, то, насколько нам известно, он принадлежал к немногочисленным скептикам, сомневающимся даже после Диррахия в конечном успехе всего предприятия. «Он не скрывал своего раскаяния, — пишет Плутарх, — но, ставя ни во что приготовления Помпея, порицая все его планы, осыпая язвительными шутками союзников, расхаживал по лагерю всегда угрюмый, без тени улыбки на устах, вызывая, однако, неуместный и ненужный смех своими остроумиями»³.

¹ *App.*, b. c., 2, 62, ср. *Plut.*, *Caes.*, 39.

² *Plut.*, *Pomp.*, 67.

³ *Plut.*, *Cic.*, 38.

От времени пребывания Цицерона в лагере Помпея до нас дошло шесть писем (все они относятся к 48 г.). Они посвящены в основном хозяйственным делам и работам. В это же время Цицерон сам получает письмо от своего зятя и сторонника Цезаря — Долабеллы, в котором последний настойчиво советует ему удалиться в Афины или в какой-либо иной город, не затронутый войной.

В июне 48 г. происходит знаменитое сражение при Фарсале (Фессалия). Несмотря на численное превосходство, войско Помпея в этом сражении было разгромлено, лагерь взят, самому Помпею пришлось спастись бегством. Он бежал сначала на остров Лесбос, где находились его жена и сын, а затем в Египет. Здесь при высадке с корабля, на глазах у своих близких он был предательски убит.

После битвы при Фарсале и бегства Помпея Катон, который оставался в Диррахии во главе еще многочисленного войска и сильного флота, высказал намерение передать верховное командование Цицерону, ибо он как бывший консул и император имел перед ним законное преимущество. Однако Цицерон не только отказался от этой чести, но и выразил желание вообще покинуть ряды воюющих, за что чуть не был убит Помпеем Младшим, считавшим такое поведение предательством. Цицерона спас от смерти тот же Катон, который затем отпустил его из лагеря. После этого Цицерон со своим братом Квинтом удалился в Патры. Здесь его застало новое письмо Долабеллы. В письме говорилось, что Цезарь разрешает ему прибыть в Италию. На основании этого разрешения Цицерон в октябре 48 г. высадился в Брундизии, где теперь ему и предстояло пробыть почти целый год в ожидании возвращения Цезаря.

Между тем события гражданской войны продолжали развиваться. Цезарь последовал за Помпеем в Египет и через несколько дней после его смерти высадился с небольшим отрядом в гавани Александрии. Здесь ему была услужливо поднесена голова Помпея, что, однако, вовсе не расположило его в пользу египтян.

Цезарь весьма решительно вмешивается во внутренние дела Египта. Он взыскивает огромные суммы, которые ему был должен недавно умерший египетский

царь Птолемей Авлет, принимает участие в династической борьбе, разгоревшейся между наследниками покойного царя — Птолемеем Дионисом и его сестрой Клеопатрой. Он решительно поддерживает Клеопатру, которая становится его любовницей. Примирив ее с братом, Цезарь добивается того, что Клеопатру провозглашают царицей Египта (совместно с Птолемеем).

Столь бесцеремонные действия римского полководца вызвали сильное недовольство в египетских придворных кругах. Вспыхивает восстание против римлян, известное в истории под именем Александрийской войны. Положение Цезаря и его отряда, пока не подошло подкрепление из Сирии, было весьма критическим. Цезарю в ходе борьбы с восставшими пришлось приказать сжечь стоявший в гавани флот; пламя перекинулось в город, и во время пожара погибла знаменитая Александрийская библиотека. Когда восстание было подавлено, а войско изменившего Цезарю Птолемея Диониса разбито в дельте Нила, единодержавная власть над Египтом была вручена Клеопатре.

Однако и после победы в Александрийской войне Цезарь еще не смог возвратиться в Рим. Во время его пребывания в Египте оживились старые противники римского государства. Сын Митридата VI Фарнак начал военные действия в Малой Азии, и ему удалось захватить Вифинию. С необычайной по тем временам быстротой Цезарь устремился через Сирию в Понт и вступил в войну с Фарнаком. Вся кампания продолжалась пять дней. Фарнак был разгромлен, и Цезарь послал в Рим знаменитое донесение, состоявшее всего из трех слов: пришел, повидал, победил (*veni, vidi, vici*).

Только после этого похода Цезарь получил возможность вернуться в Италию. В конце сентября 47 г. он высадился в Таренте и оттуда направился сухим путем в Брундизий. Здесь его с нетерпением ожидал Цицерон, понимая, что от этой встречи зависит вся его дальнейшая судьба. Год, проведенный Цицероном в Брундизии, был нелегким. И хотя он, как проконсул и император, до сих пор не распускал свою ликторскую свиту, на самом же деле его положение мало чем отличалось от столь хорошо памятного ему положения бесправного изгнанника. Письма из Брундизия снова полны жалоб, слез, стенаний, как некогда письма из

Фессалоник и Диррахия. Ко всем горестям прибавилась острая размолвка с братом, огорчения и страх из-за зятя Долабеллы, который, будучи трибуном 47 г., выступил с предложением кассации долгов, что привело к волнениям в Риме. В последних своих письмах из Брундизия Цицерон уверяет, что он больше не в состоянии выносить даже климат этого города.

Когда 25 сентября ожидалось прибытие Цезаря в Брундизий, Цицерон вышел его встречать. Вот как описывает Плутарх это свидание: «Цицерон двинулся ему навстречу, не столько отчаиваясь в спасении, сколько стыдясь на глазах у многих подвергать испытанию великодушие своего победоносного врага. Однако ни словом, ни делом не пришлось ему унизить свое достоинство. Едва лишь Цезарь увидел Цицерона, который шел далеко впереди остальных встречавших, он соскочил с коня, приветствовал его и довольно долго беседовал с ним одним, шагая рядом. С тех пор Цезарь относился к Цицерону с неизменным уважением и дружелюбием»¹.

После этой встречи Цицерон безбоязненно отправился в Рим, куда он и прибыл в октябре 47 г. Прежде чем вступить в город, он наконец распустил ликторов, которых, несмотря на то что уже не раз подвергался из-за них насмешкам, сохранил с 51 г., тщетно рассчитывая на так и не состоявшийся триумф.

* * *

Возвратившись в Рим после победы над Фарнаком, Цезарь пробыл здесь около трех месяцев (с сентября по декабрь 47 г.). Состояние дел в Риме требовало его присутствия. Еще в 48 г. претор Целий Руф в отсутствие Цезаря внес законопроект о кассации всех долгов (в том числе и задолженности по квартирной плате). Когда цезарианский сенат отрешил его от должности, он отправился на юг Италии, где пытался вместе с вернувшимся из изгнания Милоном поднять восстание. Попытка эта окончилась неудачей, Целий и Милон были убиты.

Тем не менее народный трибун 47 г., цезарианец и зять Цицерона Долабелла, как уже упоминалось, ри-

¹ *Plut., Cic., 39.*

скнул возобновить законопроект Целия Руфа. Это привело к новым волнениям в Риме. Долговой вопрос, видимо, был все же настолько актуален, что Цезарь теперь оказался вынужденным пойти хотя бы на частичную, но все же реализацию программы Целия—Долабеллы. Была отменена задолженность по квартирной плате за один год. Положение должников облегчалось тем, что выплаченные уже проценты засчитывались в счет долга. Однако спокойствие не было полностью восстановлено: Цезарю пришлось еще иметь дело с серьезным выступлением, даже бунтом солдат, которым не уплатили вовремя обещанное вознаграждение. Бунт удалось ликвидировать благодаря личному вмешательству Цезаря, и в частности благодаря тому, что, обещав солдатам требуемое ими увольнение, он стал уже называть их квиридами, т. е. гражданами, а не воинами.

За свое трехмесячное пребывание в Риме Цезарь проводит еще ряд наиболее срочных мер. Почти все они имеют отношение к работе государственного аппарата. Так, например, число преторов увеличивается с 8 до 10, увеличивается также число эдилов, квесторов и даже понтификов и авгуров. Появившиеся таким образом вакансии заполняются в основном креатурами Цезаря. В этих же целях было проведено и пополнение сената новыми членами.

1 декабря 47 г. Цезарь с шестью легионами отправляется на новый театр военных действий — в Африку, где приверженцы Помпея и сената сумели сосредоточить довольно крупные военные силы. Командовал ими весьма бездарный полководец, носящий, впрочем, громкое имя — Метелл Сципион, но идейным вождем всего враждебного Цезарю лагеря был его старый и непримиримый враг Катон.

Первое время действия войск Цезаря на территории Африки были неудачны, но его противники снова, как это уже случилось после Диррахия, не сумели развить свой успех. Исход африканской кампании решился битвой при Тапсе (46 г.). Помпеянцы были разбиты наголову. Катон, который находился в то время в Утике, покончил жизнь самоубийством. В июле 46 г. Цезарь возвращается в Рим. С этого момента начинается фактически единоличное правление Цезаря, продолжавшееся около двух лет.

Цезарь прежде всего был озабочен тем, чтобы вопреки вновь распространившимся в городе паническим слухам произвести благоприятное впечатление и повлиять определенным образом на общественное мнение. Он выступил перед сенатом и народом, подчеркивая отсутствие каких-либо тиранических намерений и свои заботы об улучшении благосостояния народа за счет покоренных им земель. Цезарь последовательно и настойчиво проводил — как и в первые дни гражданской войны — политику «мягкосердечия и снисходительности» (*clementia et beneficia*).

В августе 46 г. Цезарь отпраздновал пышный четверной триумф: за победы над Галлией, Египтом, Понтом и Африкой. Празднества длились четыре дня (еще один день был специально выделен для отдыха). Общая сумма продемонстрированных во время триумфа сокровищ достигала огромной цифры — 65 тыс. талантов. Из этих средств Цезарь и стал сразу после триумфа расплачиваться со своим войском, причем проявил необыкновенную щедрость. Каждый рядовой воин получил 5000 аттических драхм, каждый центурион — вдвое больше, трибуны и начальники конницы — вчетверо. Всем жителям Рима было выдано по 400 сестерциев каждому и, кроме того хлеба, который полагался по хлебному закону, еще по 10 модиев зерна и по 10 фунтов масла. Для народа было устроено грандиозное угощение на 22 тыс. столов, а также зрелища, игры, в которых принимали участие пехотинцы, конница и даже боевые слоны. Согласно обету, данному перед Фарсалом, Цезарь воздвиг храм в честь Венеры Прародительницы и устроил вокруг храма священный участок — форум Юлия. Празднества были великолепны, но когда вскоре после них, как рассказывают Алпиан и Плутарх, была произведена перепись населения, то оказалось, что в результате междоусобных войн численность его уменьшилась более чем вдвое¹.

Каковы были наиболее существенные реформы и внутривластные мероприятия, проведенные Цезарем после битвы при Тапсе? После триумфа, празднеств и распределения наград Цезарь приступил к наделению ветеранов землей, причем эта сложная операция проводилась в соответствии с той программой,

¹ *App.*, b. c., 2, 102; *Plut.*, *Caes.*, 55.

которую он сам изложил, по свидетельству Аппиана, еще в 47 г. перед бунтующими солдатами. «Я всем дам землю, и не так, как Сулла, отнимая ее у прежних владельцев и поселяя ограбленных рядом с ограбившими, чтобы они пребывали в вечной вражде друг с другом, но раздам вам землю общественную и мою собственную, а если нужно, то еще и прикуплю»¹.

Для выполнения этого обещания в различные области Италии были направлены специальные уполномоченные, и в отдельных случаях нам даже известны места дислокации Цезаревых ветеранов. Так, например, солдаты 7-го и 8-го легионов были расселены в Кампании.

Затем Цезарь организует проведение всеобщего ценза. Одним из подготовительных актов было, по всей вероятности, принятие муниципального закона (хотя датировка этого закона вызывает в современной литературе существенные разногласия). Содержание закона касалось в основном вопросов городского управления и устройства (применительно не только к италийским, но и к провинциальным городам). Кроме того, в тексте закона имелись предписания по благоустройству самого Рима, что как бы ставило «вечный город», «столицу империи» на один уровень со всеми остальными муниципальными городами.

При Цезаре происходит весьма существенное ограничение контингента людей, получающих хлеб от государства, — с 320 тыс. до 150 тыс. человек. Городской претор должен был ежегодно пополнять при помощи жеребьевки освобождающиеся (в результате смерти) вакансии, однако строго в пределах тех же 150 тыс. человек.

Некоторые древние авторы ставят возможность подобного снижения контингента лиц, получающих даровой хлеб, в непосредственную связь с переписью, проведенной после триумфа. Другие говорят, что с целью пополнения уменьшившейся цифры населения был издан указ, запрещающий гражданам старше 20 (и моложе 40) лет и не связанным военной службой находиться вне Италии дольше трех лет, а также лишавший права выезда за границу детей сенаторов (за исключением тех, кто числился в свите магистратов).

¹ *App.*, b. c., 2, 94; ср. *Suet.*, Jul., 38.

В качестве верховного понтифика Цезарь издал эдикт о роспуске восстановленных в свое время Клодием коллегий (за исключением древнейших), что имело, конечно, не только религиозное, но и политическое значение, поскольку эти коллегии были средоточием плебса и очагами демократической агитации. Кроме того, Цезарь провел знаменитую реформу календаря. Был введен солнечный год, насчитывающий 365 дней; добавочный месяц уничтожился, вместо него каждые четыре года стали добавлять один день.

Цезарю принадлежит попытка упорядочить и ускорить судопроизводство, а также восстановить твердый порядок в смысле соблюдения сроков при отправлении магистратур. Обе эти области государственной жизни пришли в заметное расстройство в годы гражданской войны. В качестве цензора Цезарь произвел пополнение сената. По отношению же к комициям он поступал следующим образом: кроме кандидатов на консульство, из претендентов на остальные должности половина избиралась народом, а другая половина — самим Цезарем, ибо он рассылал по трибам рекомендательные письма и таким образом проводил своих ставленников.

Можно упомянуть и законы Цезаря против роскоши. Запрещалось употреблять носилки, пурпуровые одежды, жемчуга. Регулировалась даже продажа гастрономических товаров на рынках. Не допускалась чрезмерная роскошь надгробных памятников, обилие колонн облагалось штрафом.

Наконец, следует сказать несколько слов о намеченных, но не осуществленных планах и проектах Цезаря, хотя они относятся к более позднему времени. Цезарь собирался выстроить грандиозный храм в честь Марса, засыпав для этого озеро, а около Тарпейской скалы соорудить огромный театр. Он намеревался издать свод законов, открыть греческие и римские библиотеки, поручив это дело Марку Варрону. Он хотел также осушить помптинские болота, спустить воду Фунцинского озера, исправить дорогу, идущую от Адриатического моря через Апеннины до Тибра, прокопать Истмийский перешеек.

Такова была в общих чертах внутривнутриполитическая, реформаторская деятельность Цезаря (включая и неосуществленные проекты). Поражает необычайная ин-

тенсивность и разносторонний характер этой деятельности. И хотя республиканский государственный аппарат продолжал существовать и функционировать и даже был как бы усовершенствован некоторыми реформами Цезаря, тем не менее усиление единоличного характера руководства не вызывает сомнений.

После Тапса сенат вынес решение о сорокадневных молебствиях в честь победы и определил ряд почетных прав и привилегий Цезаря. Но помимо подобного рода почестей, имевших в значительной мере внешнее, «декоративное» значение, Цезарь был теперь провозглашен диктатором на десятилетний срок с правом иметь свиту из 72 ликторов (по 24 ликтора за две прежние и за нынешнюю диктатуру!) и ему вручалась на двойной (т. е. на трехлетний!) срок цензорская власть, неограниченный по существу контроль над составом сената и даже над частной жизнью граждан. Следует помнить, что Цезарь еще с 48 г. обладал трибунскими полномочиями и неоднократно избирался консулом. А если забежать вперед и учесть все те почести и знаки власти, которые были присвоены ему позже (в 45 г.), после окончательной победы над помпеядцами, — десятилетнее консульство (от чего он, кстати говоря, решительно отказался), титулы императора (как постоянное *praepotens*!), отца отечества и освободителя, то станет ясным всеобъемлющий и вместе с тем экстраординарный характер его власти. Вопрос о власти Цезаря неоднократно и с давних пор дебатировался в научной литературе. Несмотря на частные расхождения и нюансы в оценке отдельных его полномочий или почетных титулов, единоличный, неограниченный по существу характер этой власти как будто никогда не вызывал сомнений.

Он был достаточно ясен и для самих современников. Еще в 49 г. Цицерон писал Аттику, что в случае победы Цезаря он предвидит «царскую власть, невыносимую не только для римлянина, но даже для какого-нибудь перса»¹, после же битвы при Тапсе сосредоточение «всей власти» в одних руках, равно как и «утрата свободы в государстве», для него уже свершившийся и бесспорный факт².

¹ *Cic., Att.*, 10, 8, 2.

² *Cic., fam.*, 9, 16, 3.

Каково же, однако, было положение самого Цицерона в годы единовластия Цезаря, в частности после того милостивого приема, который оказал ему диктатор, возвращаясь в Италию? Цицерон, как уже упоминалось, сразу же отправился в Рим; судя по его письмам, он оставался там вплоть до окончания африканской войны. Возможно, что на сей раз его пребывание в Риме было до известной степени вынужденным: поскольку в 49 г. он использовал во зло данное ему Цезарем разрешение жить в своих поместьях, т. е. изменил и бежал к Помпею, то ныне, дабы не возбуждать никакого подозрения, он оставался намеренно на виду — в самом городе¹.

Тем не менее настроение его было далеко не радужным. В письмах этого периода он горько сетует на то, что жизнь потеряла для него всякий интерес и радость — стоит ли стремиться к ее продлению? Он не видит никаких перспектив для себя ни в области политической, ни в области судебной деятельности². Иной раз он пытается даже шутить над собой, но шутки получаются довольно горькими. Так, например, он говорит, что стал эпикурейцем, т. е. забросил свою деятельность для государства, обдумывание речей для сената, подготовку для выступлений в процессах³. Он мечтает снова вернуться к своим «старым друзьям» — книгам, он надеется, если не будет возражений со стороны Цезаря, посвятить себя целиком научным занятиям⁴.

Однако постепенно, по мере того как в нем укрепляется чувство личной безопасности, Цицерон становится значительно спокойнее и даже умиротвореннее. Победу Цезаря в африканской войне он встречает почти благожелательно: успех противоположного лагеря сулил ему теперь куда более неприятные последствия. И хотя после возвращения Цезаря в Рим Цицерон предпочитает большую часть года проводить в своем тускульском поместье, все же временами он наезжает в город и даже иногда принимает участие в заседаниях сената.

Однако образ его жизни, даже когда он находится в городе, заметно изменился. Вот как он описывает

¹ *M. Gelzer. Cicero. S. 264.*

² *Cic., fam., 9, 20, 1.*

³ *Ibidem.*

⁴ *Cic., fam., 7, 33, 2.*

свою жизнь в Риме в одном из писем (август 46 г.): «Такова, следовательно, теперь моя жизнь: утром я приветствую дома многих честных мужей, хотя и печальных, а также нынешних радостных победителей, которые, правда, относятся ко мне очень предупредительно, ласково, любезно. Как только приветствия отхлынут, зарываюсь в литературные занятия: или пишу, или читаю, даже приходят послушать меня словно ученого человека, так как все же я немного учнее, чем они; затем остальное время отдается заботе о теле и здоровье. Отечество я уже оплакал, причем сильнее и дольше, чем любая мать своего единственного сына»¹.

Еще в древности высказывалось мнение, что время вынужденного обращения Цицерона к научной и литературной деятельности надо считать «счастливейшим»². И действительно, нельзя пройти без удивления и даже восхищения мимо того необычайного по силе (и эффективности!) творческого подъема, который овладевает Цицероном в эти столь безрадостные для него годы. Ибо на протяжении 46—45 гг. им были созданы два крупных трактата по теории и истории ораторского искусства, а также многие философские произведения. Кроме того, в эти же годы он трижды выступает с речами перед Цезарем, каждый раз с призывом проявить мягкосердечие и снисходительность (*clementia et beneficia*) по отношению к бывшим политическим противникам.

Оба трактата, посвященные ораторскому искусству — «Брут» и «Оратор», — написаны в 46 г. Первый из них снова представляет собой по форме диалог, в котором принимают участие сам Цицерон и его друзья Марк Юний Брут и Тит Помпоний Аттик. Время действия может быть определено довольно точно, поскольку из диалога ясно, что сражение при Тапсе еще не состоялось, следовательно, речь должна идти о ранней весне 46 г.

В «Бруте» излагается история римского красноречия, прослеженная от его истоков и вплоть до времени самого Цицерона. Отсюда построение диалога. После вступления дается краткий обзор ораторского

¹ *Cic., fam.*, 9, 20, 3.

² *Quintil., inst. or.*, 12, 11, 7.

искусства в Греции; история же римского красноречия, персонифицированная в лице его наиболее выдающихся представителей, излагается уже подробно и в хронологической последовательности, по сменяющим друг друга «эпохам»¹.

Цицерон скорбит об упадке красноречия в Риме в связи с началом гражданской войны, причем именно тогда, когда оно достигло своего наивысшего развития². Попутно рисуется идеал оратора и снова, как и в предыдущем трактате — «Об ораторе», выдвигается требование универсального образования, т. е. достаточно основательного знакомства с философией, правом, историей³. Совершенно ясно, что Цицерон считает себя вполне отвечающим этим требованиям: в длинной цепи римских ораторов и политических деятелей, олицетворяющих собой развитие красноречия, он — последнее, завершающее звено.

Политические тенденции трактата не оставляют сомнений. Уже в самом начале говорится о том, сколь счастлив его великий соперник Гортензий, ибо он умер в 50 г., до начала гражданской войны, и не пережил гибели республики⁴. Современное же положение римского государства характеризуется как «ночь республики»⁵, кроме того, в трактате не раз — устами Брута и самого Цицерона — упоминаются и получают хвалебную оценку такие сторонники старой «оптиматской» республики и вместе с тем заклятые враги Цезаря, как Катон, Метелл Сципион, Марк Марцелл⁶.

Диалог «Брут» пронизан полемикой против враждебного Цицерону направления в ораторском искусстве, а именно аттицизма (или неоаттиков). Выступая против этого стиля красноречия и ополчаясь на его сторонников, Цицерон говорит: «Они желают быть Гиперидами и Лисиями, почему не Катонами? Их радует, им доставляет наслаждение, заявляют они, аттический строй речи. Прекрасно, пусть они его заим-

¹ *K. Büchner. Cicero, S. 327—328.*

² *Cic., Brut., 161; 296; 324.*

³ *Cic., Brut., 322.*

⁴ *Cic., Brut., 4—6.*

⁵ *Cic., Brut., 330.*

⁶ *Cic., Brut., 118; 242; 248—251.*

ствуют, однако не только скелет, но и кровь»¹. Что касается самого Цицерона, то он давно избрал для себя в качестве образца отнюдь не Лисия, а Демосфена — наиболее разностороннего оратора древности, который в равной мере владел всеми «стилями»². Вообще истинно аттический строй речи вовсе не в том, чтобы говорить «просто, кратко и сухо», как к этому призывают новые поклонники этого стиля, но чтобы воздействовать на слушателя так, как воздействовали в свое время Перикл, Гиперид, Эсхин и Демосфен³.

Если «Брут» — произведение главным образом исторического характера, то другой трактат, «Оратор», имеет явно выраженный теоретический уклон. Эти два трактата различаются и по форме: «Оратор» написан уже не в виде диалога, но представляет собой как бы развернутое послание Бруту, в котором обсуждаются различные проблемы ораторского мастерства.

Трактат «Оратор» вышел в свет, видимо, летом 46 г. Он был написан по просьбе Брута, который находился в это время в Галлии (в качестве наместника) и уговаривал Цицерона высказать свою точку зрения относительно «лучшего рода красноречия»⁴.

Трактат «Оратор» как бы обобщает и суммирует теоретический (и практический) опыт автора. Основная цель трактата — обрисовать идеал оратора и, следовательно, определить «лучший род красноречия». Подробно рассматриваются три «типа», или «стиля», ораторского искусства: «простой», «средний», «высокий» — и утверждается, что истинный мастер, каким и был, например, Демосфен, должен в равной мере владеть всеми тремя «типами» красноречия.

Несомненно, таким «римским Демосфеном» Цицерон считал самого себя. Поэтому он ссылается на слова одного из своих предшественников, оратора Марка Антония, который знал «многих умело говоривших, но ни одного настоящего оратора»⁵. Кто же, по мнению Цицерона, может быть назван «настоящим оратором»? Только тот, «кто умеет говорить о незначитель-

¹ *Cic.*, *Brut.*, 67—68.

² *Cic.*, *Brut.*, 35.

³ *Cic.*, *Brut.*, 290.

⁴ *Cic.*, *fam.*, 12, 17, 2; *Att.*, 14, 20, 3.

⁵ *Cic.*, *Orat.*, 18.

ных вещах просто, о возвышенных с достоинством, о тех, что как бы лежат по середине, с должной умеренностью»¹. Судя по тем неоднократным и разнообразным примерам собственного красноречия, которые в разных местах трактата приводятся Цицероном, можно — без особого риска впасть в ошибку — утверждать, что он считал себя удовлетворяющим всем этим им же самим выдвинутым требованиям, а следовательно, вполне достойным того, чтобы называться «настоящим оратором».

В трактате рассматриваются многие другие — и часто весьма специфические — проблемы ораторского искусства: подбор и расположение материала, способы выражения, построение периодов и, наконец, проблемы ритма и метра. Последнему вопросу Цицерон уделяет немалое внимание — это и был тот самый вопрос, вокруг которого разгорелись наиболее острые споры между ним и его противниками — аттикистами, отвергавшими столь искусственные, с их точки зрения, риторические приемы.

Что касается политических высказываний и намеков в трактате «Оратор», то они встречаются значительно реже, чем в предыдущем диалоге, и выражены не столь резко. Пожалуй, только в одном месте, где Цицерон хочет объяснить тем из своих почитателей, которые не понимают, как человек, о достоинствах которого сенат и народ вынесли столько постановлений, может заниматься изучением теории красноречия², он оправдывает себя, говоря, что предпочитает научные занятия безделью, поскольку Форум ему все равно больше недоступен и его государственная карьера пришла к концу³.

Однако, говоря об этом, Цицерон не совсем искренен. Как всегда, когда он оказывался не по своей воле в стороне от государственных дел, в его душе боролись различные чувства: разочарование, обида, стремление «отряхнуть прах от ног своих» и удалиться в идиллически тихий угол, куда не доходят ни интриги, ни треволения Великого Города и где ждут его те единственные друзья, которые не изменяют и не преда-

¹ *Cic., Orat.*, 100.

² *Cic., Orat.*, 140.

³ *Cic., Orat.*, 148.

ют — книги, — с честолюбивыми надеждами, что еще далеко не все потеряно, что без него не обойдутся и что без него нет ни судов, ни общественной жизни, ни свободы, нет, наконец, самой республики. Вот почему даже теперь, в годы единовластия Цезаря, когда его политическая роль и влияние были, как он сам понимал, сведены почти к нулю, он все же не мог удержаться полностью в стороне от политики. Три речи, произнесенные им в эти годы в защиту бывших противников Цезаря, имеют хотя и весьма специфический, особый, но все же явно политический характер. Иногда их относят к разряду так называемых эпидиктических речей, т. е. речей торжественных, «парадных», содержащих к тому же некоторые элементы поучения.

Речи за Марцелла и Лигария были произнесены в 46 г., за Дейотара — в 45 г. Последнюю из этих речей — речь в защиту тетрарха Галатии, обвиненного в подготовке покушения на жизнь Цезаря, — сам Цицерон ставил не очень высоко, хотя, будучи опубликованной, она имела большой успех. Когда же разбиралось дело Лигария, помпеянца, находившегося в это время в Африке на положении изгнанника, то защита его Цицероном оказалась весьма удачной. Плутарх сообщает об этой защите весьма красочные подробности: «Цезарь сказал друзьям: «Почему бы и не послушать Цицерона после столь долгого перерыва? Тем более что это дело уже решенное: Лигарий — негодяй и мой враг». Но Цицерон с первых же слов взволновал своих слушателей до глубины души, речь текла дальше, на редкость прекрасная, поражающая своей страстью и разнообразием ее оттенков. Цезарь часто менялся в лице, выдавая те чувства, которые им владели, а когда под конец оратор заговорил о Фарсале, вздрогнул всем телом и выронил из рук какие-то записи. Покоренный красноречием, он был вынужден простить Лигарию его вину»¹.

Если судить об этой речи Цицерона по тому тексту, который был опубликован и дошел до нас, то трудно понять, в чем заключалось ее столь неотразимое действие. Речь составлена весьма искусно, содержит немало комплиментов Цезарю и обращений к его доброте и мягкосердечию (*clementia et beneficia*), но общее

¹ *Plut., Cic., 39.*

впечатление, производимое речью, Плутарх явно преувеличивает. Не исключено, конечно, что воздействие живого слова было совершенно иным, да и речь могла подвергнуться обработке и «приглаживанию». Так, например, в дошедшем до нас тексте упоминание о Фарсале содержится вовсе не в конце речи, как утверждал Плутарх, а в начале ее¹.

Пожалуй, из всех трех речей наибольший интерес представляет первая — речь за Марцелла. В ней, кстати говоря, наиболее ярко выражен эпидиктический момент. Это, видимо, объясняется тем, что благодарственная речь — а выступление Цицерона перед Цезарем носило именно такой характер — требовала определенной приподнятости, торжественности стиля.

Марк Клавдий Марцелл был одним из наиболее непримиримых противников Цезаря. Как консул 51 г., он добивался срочного отзыва Цезаря из Галлии, возражал против заочного выдвижения его кандидатуры в консулы, резко выступал против дарования прав римского гражданства жителям основанных Цезарем (в Цизальпийской Галлии) колоний. После разгрома помпеянцев он удалился в изгнание и жил в Митиленах на Лесбосе.

Сам Марцелл с просьбой о помиловании к Цезарю не обращался. Но зато об этом хлопотал Цицерон, все время убеждавший изгнанника вернуться в Рим, а также его приверженцы и родственники, например его двоюродный брат Гай Марцелл (консул 50 г.), женатый на внучатой племяннице Цезаря Октавии. В заседании сената (видимо, в сентябре 46 г.) Л. Писон, тесть Цезаря, поднял вопрос о помиловании изгнанника, а Гай Марцелл бросился Цезарю в ноги. Все сенаторы встали и присоединились к его просьбе. Цезарь, высказав свое огорчение по поводу тех действий, которые Марцелл в свое время предпринимал против него, тем не менее заявил, что идет навстречу просьбам сената и готов помиловать своего старого врага. Этот великодушный поступок произвел большое впечатление и был причиной благодарственной речи Цицерона.

Речь Цицерона давно привлекала к себе внимание в научной литературе. Ей придавал большое значение

¹ *Cic., Lig.*, 9.

еще Эд. Мейер в своей не раз упоминавшейся работе о монархии Цезаря. Считая, что в это время Цезарь уже не мог положиться на свое прежнее окружение и потому искал контактов с респектабельными и консервативными элементами государства, даже бывшими помпеянцами, Эд. Мейер рассматривает помилование Марцелла как крупное событие. В речи же Цицерона проявляется, по его мнению, надежда на то, что Цезарь может оказаться не столь уж далеким от идеала истинного вождя республики (*princeps civitatis*), образ которого был нарисован Цицероном в его трактате «О государстве»¹.

Эд. Мейер считает также, что Цицеронова речь за Марцелла есть нечто подобное известным письмам Саллюстия к Цезарю. Эти письма — одно из них было написано, видимо, в конце 50 г., другое после битвы при Тапсе — представляют собой политическую брошюру, в которой автор дает ряд советов Цезарю, выдвигает проекты реформ «по обновлению сената и народа».

Как и у Саллюстия, подчеркивает Эд. Мейер, в речи за Марцелла к благодарности тесно примыкает напоминание о том, что по окончании гражданской войны выдвигается другая и еще более великая задача: восстановление государства, восстановление республики. Цезарь должен выполнить и эту задачу; средства же выполнения оказываются теми самыми, какие предлагает в своих письмах Саллюстий. Это упорядочение судов, восстановление кредита, обуздание излишеств и разврата, забота о грядущем поколении и, наконец, скрепление суровыми законами всего того, что распалось и развалилось за время войны, т. е., говоря иными словами, программа нравственного возрождения государства и народа².

Чрезвычайно поучительно наблюдать, пишет Эд. Мейер, как Цицерон и Саллюстий, отправляясь по существу от совершенно противоположных установок, приходят к столь одинаковым выводам, что их цели можно с полным основанием считать идентичными. Истинная демократия, т. е. господство суверенного демоса, пол-

¹ *Ed. Meyer. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius, S. 406—407.*

² *Ibid., S. 407.*

ностью исключается для обоих; насущной задачей следует считать регенерацию римского народа при помощи нравственного и социального законодательства; римское государство оба мыслят лишь в форме сенатского господства, ибо сенат — единственный полномочный представитель римского народа, *populi Romani*¹.

К изложенным выводам хотелось бы еще добавить, что в речи Цицерона содержится не просто «напоминание» Цезарю о необходимости заняться восстановлением государственного строя, но, по существу говоря, весь внутренний пафос речи сводится к подобным призывам. Речь основана на двух принципиально важных для автора моментах: на выражении благодарности Цезарю за проявленное им великодушие и на призывах к тому же Цезарю заняться упорядочением государственных дел, пришедших в расстройство в результате гражданской войны.

Что касается примеров выражения благодарности, то достаточно самого беглого знакомства с речью, чтобы убедиться в их многочисленности. Но и обращения к Цезарю по поводу положения дел в государстве пронизывают всю речь. Уже в самом ее начале высказано убеждение, что Цезарь интересы государства и авторитет сената (точнее, senatorского сословия) ставит выше своих личных огорчений или подозрений². Несколько далее оратор уже непосредственно обращается к Цезарю, говоря о восстановлении государственного строя. В первый раз такое обращение встречается именно при изложении (говоря словами Эд. Мейера) программы нравственной регенерации сената и народа³. Но затем неоднократно и с возрастающей настойчивостью Цицерон подчеркивает важность этой задачи: «Таков твой жребий — тебе придется потрудиться над тем, чтобы восстановить государственный строй и затем самому наслаждаться им в тишине и спокойствии»⁴. Или: «Потомки наверняка будут поражены, слыша или читая о твоей деятельности как полководца, правителя провинций, о Рейне, Океане, Ниле, о бесчис-

¹ *Ed. Meyer. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*, S. 409—410.

² *Cic., Marc.*, 3.

³ *Cic., Marc.*, 23.

⁴ *Cic., Marc.*, 27.

ленных сражениях, невероятных победах, о памятниках, о празднествах и играх, о твоих триумфах. Но если этот Город не будет укреплен твоими заботами и установлениями, то твое имя будет только блуждать по градам и весям, но постоянного местопребывания и определенного обиталища иметь не будет»¹. Далее утверждается, что и среди будущих поколений возникнут большие разногласия при оценке деятельности Цезаря, если только эта деятельность не увенчается тем, что он окончательно потушит пожар гражданской войны².

Таким образом, вопрос об упорядочении государственного строя после потрясений войны действительно занимает большое место в речи за Марцелла. Кроме того, в этой речи, как показал Эд. Мейер, изложена некая программа «нравственной регенерации государства и народа», совпадающая якобы с проектами реформ Саллюстия в его письмах к Цезарю.

Не будем в данном случае останавливаться на тех частных расхождениях между Цицероном и Саллюстием, на которые не обратил достаточного внимания Эд. Мейер, тем более что в отношении обоих авторов к проблеме «нравственной регенерации» действительно есть много и сходных черт (в особенности если иметь в виду более позднее письмо Саллюстия к Цезарю). Важнее сейчас выяснить вопрос о том, насколько практическая деятельность Цезаря соответствовала тем проектам, тем предложениям, которые были сформулированы Цицероном и Саллюстием.

На наш взгляд, нет достаточных оснований говорить о подобном соответствии. Скорее всего речь должна идти о двух различных вариантах восстановления государства после потрясений гражданской войны. Цицерон и Саллюстий, с одной стороны, и Цезарь — с другой, руководствовались именно этой задачей, с той, однако, существенной разницей, что перед первыми двумя она стояла сугубо теоретически и они выступали в роли советчиков-консультантов, тогда как перед Цезарем эта же задача вставала как насущная, практическая необходимость.

¹ *Cic.*, *Marc.*, 28—29.

² *Cic.*, *Marc.*, 29.

Каков же оказался вариант, избранный Цезарем? Как понимал он задачу восстановления государства? Какой избрал он путь, насколько учитывал окружающую обстановку и сложившееся соотношение сил?

Нам представляется, что Цезарь, как правило, действовал, исходя из нужд текущего момента и реально существующей обстановки. Когда после сражения при Тапсе он вернулся в Рим в качестве победителя и решающий этап гражданской войны был по существу уже завершен, то естественно, что первой и неотложной задачей, которая встала перед ним, была задача удовлетворения нужд и требований его солдат. Отсюда политика земельных наделений, щедрые награды. Непосредственно после этого следовало подсчитать «потери», и не только среди тех, кто погиб на полях сражений, но и среди мирного гражданского населения. Эта обширная проблема распадалась в свою очередь на ряд более частных задач и вопросов. Проведенный ценз, как уже отмечалось, показал катастрофическую убыль общего числа граждан. Отсюда такие мероприятия, как законы против эмиграции и муниципальный закон. Однако это были скорее сдерживающие, негативные меры, а отнюдь не позитивное решение вопроса. Поэтому следует иметь в виду довольно активную деятельность Цезаря по выводу колоний и распространению гражданских прав. Кроме того, общая задача «подсчета потерь» — а следовательно, и наличных сил! — требовала какого-то решения вопроса о городском люмпен-пролетариате. С попыткой Цезаря решить этот вопрос и связано сокращение контингента лиц, получавших даровой хлеб. И наконец, перед Цезарем стояла задача восстановления нормально — и к тому же налаженного в интересах самого Цезаря — функционирования государственного аппарата. К этой области следует отнести такие мероприятия, как пополнение сената, законы об увеличении числа магистратов, закон о провинциях, новый «порядок» взаимоотношений между диктатором и комициями. Задачу восстановления государственного аппарата нельзя рассматривать изолированно от другой стороны той же проблемы — стремления найти новую, достаточно надежную социальную опору. Последним стремлением и была обусловлена Цезарева «политика милосердия».

Таков был, на наш взгляд, путь (или «вариант»), избранный Цезарем для восстановления государственного строя, поколебленного гражданской войной. Этот путь явно не совпадал и с утопическими проектами Саллюстия, и с программой «нравственной регенерации государства и народа», изложенной Цицероном в его речи за Марцелла. Удовлетворение требований армии, укрепление и «восстановление» римского гражданства, четкая работа государственного аппарата и его приспособление к новым, изменившимся условиям — таков «вариант» Цезаря, отличавшийся от названных выше проектов и реформ, как отличается практический план, продиктованный всей конкретной обстановкой, от теоретических, оторванных от злободневных нужд и задач ««кабинетных» измышлений».

* * *

В декабре 46 г. Цезарь выехал из Рима на последний, но отнюдь для него не новый театр военных действий — в Испанию. Здесь создалось довольно серьезное положение. Некоторые командиры войск, находившихся в Испании, — а Помпей здесь издавна имел большое количество сторонников — вошли в сношения с помпеянами в Африке, откуда вскоре прибыли сыновья Помпея — Гней Помпей, которому было передано верховное командование, а затем и Секст Помпей. Местные племена лузитанов и кельтиберов присоединились к помпеянам, и под знаменами Гнея Помпея собрались значительные силы — до 13 легионов. Легаты Цезаря оказались не в состоянии самостоятельно справиться со столь серьезным противником. Таким образом, Цезарю пришлось лично отправиться в Испанию.

Однако перед отъездом из Рима он провел ряд необходимых мер по организации управления провинциями и самим Римом. Во все провинции были назначены наместники (на 45 г.); в самом же Риме, не располагая временем для проведения выборных комиций, Цезарь вступил на несколько иной путь. Будучи облечен властью диктатора (в третий раз) и консула (также в третий раз), он назначил начальником конницы, т. е. своим заместителем, М. Эмилия Лепида, кстати сказать, тоже бывшего консулом. Ему он придал

коллегию из восьми городских префектов (в ранге преторов). Были проведены выборы народных трибунов, и, видимо, уже после того, как Цезарь отбыл в Испанию, прошли и центуриатные собрания (под председательством Лепида), на которых Цезарь в четвертый раз избирается консулом, причем «без коллеги».

Война в Испании оказалась тяжелой и ожесточенной, силы противников были примерно равны. Решительное сражение произошло 17 марта 45 г., около города Мунда. Исход боя долгое время оставался неясным, а временами успех даже склонялся на сторону помпеянцев. Цезарю пришлось личным примером, участием в бою воодушевлять своих воинов. Недаром впоследствии он говорил, что ему в этом сражении пришлось бороться не за победу, как обычно, но впервые за собственную жизнь¹. К вечеру сражение было выиграно.

Вскоре Цезарю сдались Кордова и Гиспал. Много видных помпеянцев погибло в ходе войны, некоторые покончили жизнь самоубийством. Гней Помпей был захвачен во время бегства и убит, а его голова показана народу в Гиспале. Его младшему брату Сексту удалось скрыться. После битвы при Мунде Цезарь задержался в Испании на довольно значительный срок и вернулся в Рим только в октябре 45 г.

Победа при Мунде, когда весть о ней достигла Рима, внушила, по свидетельству Аппиана, такой страх перед Цезарем и создала ему такую славу, какой никто и никогда не имел до него². Этими же причинами он объясняет и небывалый характер почестей, оказанных Цезарю. Так, например, сенат назначил пятидесятидневное молебствие в честь победы, освободителя, о чем уже говорилось выше³. Кроме того, сенат даровал Цезарю право появляться на всех играх в одянии триумфатора, в лавровом венке, а также носить высокие красные сапоги, которые, по преданию, носили когда-то цари Альба-Лонги. Дни его побед были объявлены праздничными днями. Цезарю

¹ *Cass. Dio*, 43, 37; *App.*, b. c., 2, 104; *Plut.*, *Caes.*, 56; *Suet.*, *Jul.*, 36.

² *App.*, b. c., 2, 106.

³ См. стр. 273.

воздвигались статуи в храме Квирина и среди изображений царей на Капитолии. Все это уже были такие почести, которые до сих пор в Риме не оказывались ни одному смертному¹.

Вскоре Цезарь отпраздновал новый (пятый) триумф. Им было дано два угощения народу; первое из них показалось самому Цезарю слишком бедным, и он повторил его еще раз через четыре дня. Однако эти празднества (а Цезарь разрешил отпраздновать триумф еще двум своим легатам) произвели на жителей Рима далеко не радостное впечатление: ведь речь шла не о победе над чужеземными народами или властелинами, но над своими же согражданами.

Вскоре после триумфа Цезарь сложил с себя звание консула «без коллеги» и провел выборы новых консулов на оставшиеся три месяца 45 г. На эти же три месяца вместо городских префектов были избраны, по всей вероятности обычным порядком, преторы и квесторы (в соответствии с законом Цезаря о магистратах). Таким образом, положение государства как будто полностью нормализовалось: последняя кампания гражданской войны была победоносно закончена, видимые враги сокрушены, управление Римом и провинциями все более входило в упорядоченную колею, сам же Цезарь, окруженный неслыханными до того в Риме божескими почестями, пребывал на вершине славы и могущества.

Именно отсюда берет свои истоки мифологизация личности Цезаря, представление о нем как о гении и сверхчеловеке. Это представление начало складываться еще у современников, хотя справедливость требует отметить, что их суждения (как и ближайших потомков) были куда сдержаннее и реалистичнее, чем неумеренные восторги новейших историков.

Истинным апологетом Цезаря оказался Моммзен. Созданный им образ гениального исторического деятеля продолжает оказывать влияние на западноевропейскую историографию по сей день. Это не значит, конечно, что все последующие, и в частности современные, исследователи безоговорочно присоединяются к Моммзену, но почти все воздают должное «неотразимой» силе его характеристик, а те, кто пытался (или

¹ *Suet.*, Jul., 76.

пытается) дать какую-то иную оценку личности и деятельности Цезаря, все равно даже в своей полемике вынуждены отталкиваться от образа, столь ярко обрисованного Моммзеном.

Цезарь для Моммзена — беспримерный творческий гений, первый и единственный император, идеальный монарх. Он — великий полководец, оратор, писатель, но все эти свойства имеют второстепенное значение, всего этого Цезарь достиг только потому, что был прежде всего и в полном смысле слова государственным человеком. Основная же его особенность как государственного человека и деятеля — полнейшая гармония. Поэтому ему и удавалось то, что было недоступно всем другим правителям, — сплочение под своей властью самых разнородных элементов и «коалиций», т. е. проведение надсословной, надклассовой политики, результатом которой было возрождение римской и эллинской «наций»¹. Хорошо известно, что на моммзеновскую оценку Цезаря, грешащую, кстати сказать, достаточно ярко выраженным телеологизмом, оказали большое влияние события революции 1848 г., и эта оценка в какой-то мере отражала чаяния и надежды немецкой либеральной буржуазии, мечтавшей об объединении Германии под властью надклассового и демократического (!) монарха.

В данном случае нет никакой возможности, да и нужды рассматривать всю, поистине необозримую, литературу о Цезаре. Можно лишь отметить, что в историографии последних лет наблюдается существование двух тенденций. Одна из них характеризуется стремлением к трезвым, умеренным и по возможности объективным выводам с учетом социальных отношений в римском обществе I в. до н. э. Наряду с этим направлением возрождается и другое — апологетическое, с сильным уклоном в телеологию.

Так, например, один из наиболее маститых и авторитетных историков ФРГ, И. Фохт, пишет, что законодательство Цезаря еще во время его консулата преследовало далеко идущие государственные цели и задачи. Поэтому консулат Цезаря — важнейшая веха в истории Рима. В результате же победы при Фарсале Цезарь получил то, к чему давно его вела жажда вла-

¹ См. Т. Моммзен. История Рима, т. III, стр. 381.

сти, — все римское государство. Его законодательная деятельность в Италии и провинциях доказывает, что полное переустройство государства и общества было сознательной целью Цезаря¹.

В одной из последних работ, посвященных Цезарю, в книге, В. Эренберга, которая так и называется — «Конечные цели Цезаря», автор сначала высказывает намерение судить о предмете своего исследования только на основании фактов. Однако его конечные выводы едва ли покоятся на чисто фактической основе. Так, Эренберг считает, что Цезарь «с проницательностью гения» пытался предвосхитить развитие двух-трех ближайших столетий. Конечная его цель — быть не эллинистическим или римским царем, но «властителем империи» на особый лад. Цезарь уже подходил к той форме правления, которая «материализовалась» значительно позже и которая, сочетая римско-эллинистические элементы с ориентальными, вылилась в «не-что новое». Цезарю и было суждено стать первым истинным императором, т. е. «властителем империи»².

Таковы некоторые, наиболее характерные оценки личности и деятельности Цезаря в современной историографии. Суммируя все сказанное, мы можем прийти к следующим выводам. Какие бы то ни было соображения о «провиденциальном» характере деятельности Цезаря должны быть решительно отвергнуты. Анализ внутренней политики Цезаря, его реформ свидетельствует о том, что он в этой области руководствовался, как правило, близлежащими задачами, вытекавшими из конкретной политической обстановки. В целом и даже в «перспективе» круг этих задач был обусловлен общей и вполне конкретной целью восстановления государственного строя, расшатанного за годы гражданской войны.

Ставил ли перед собой Цезарь тоже как «цель» создание «империи», думал ли он о себе как о монархе, о царе? На первую часть этого вопроса следует ответить только отрицательно. Конечно, перед его умственным взором никогда не возникала концепция «демократической» монархии или «принципата» или монархии

¹ J. Vogt. *Römische Geschichte*, Bd I. Freiburg, 1955, S. 272.

² V. Ehrenberg. *Caesar's Final Aims*. — *Harvard Studies in Classical Philology*, 68, 1964, p. 149—150, 160.

эллинистического типа, ибо все это лишь ретроспективные конструкции новейших историков. Более того, в практике политической деятельности перед Цезарем не возникала, да и не могла возникнуть какая бы то ни было отвлеченная «кабинетная» концепция государства. Расхождение его реформ с проектами Саллюстия или программой Цицерона убеждают нас в этом наиболее наглядным образом.

Цезарь с его долголетним опытом политической деятельности был сформировавшимся мастером интриг, комбинаций, борьбы. Он был вождем популяров, под конец своей карьеры вдруг оказавшимся в роли, в положении главы государства. Это уже совсем другие масштабы. Потому, как государственный деятель, он за два года своей единоличной власти еще не смог и не сумел по-настоящему развернуться, оставшись в этом смысле лишь «зачинателем», лишь талантливым дилетантом. Во всяком случае бесспорно то, что не он создал политическую систему, характеризующую собой государственный строй так называемой ранней империи. Наиболее объективная оценка государственной деятельности Цезаря и ее исторического значения возможна лишь в сопоставлении с той политической системой, которая сложилась при Августе и которая именуется обычно принципатом Августа.

Значительно труднее ответить на вопрос о намерениях и стремлениях Цезаря, связанных с царским венцом. По всей вероятности, Цезарь — пусть даже с определенными колебаниями — все же примерялся к этой новой роли и не исключал возможности подобного варианта. Но во-первых, подобное стремление отнюдь не равнозначно наличию идеи (или концепции) «империи», если под последней разуместь некое теоретическое построение. Во-вторых, вопрос о стремлении Цезаря к царской короне связан, на наш взгляд, с гораздо более существенным для историка вопросом о социальной опоре Цезаря и о том сложном, своеобразном и даже парадоксальном положении, которое создалось после битвы при Мунде.

Парадоксальность положения заключалась в том, что позиции Цезаря как главы государства в такой момент, когда он находился на вершине славы и видимого могущества, когда гражданская война была

победоносно завершена, оказались не укрепившимися, а, наоборот, существенно ослабленными. Каким же образом это произошло?

После окончания испанской войны и последовавшего за ней триумфа армия, конечно, была распущена. Но в условиях римской политической действительности того времени лишь армия и могла быть единственно надежной социальной опорой не только как наиболее весомая материальная сила, но и как наиболее консолидированная в политическом отношении организация. Новые фракции господствующего класса, т. е. муниципальная аристократия, богатые отпущенники, посаженные на землю ветераны, в то время еще только «набирали силу» и не могли служить достаточно прочной опорой. Предпринятое Цезарем пополнение сената, при котором действительно в состав сената были включены и ветераны и вольноотпущенники, а число сенаторов доведено до 900, конечно, следует рассматривать как малоудовлетворительный паллиатив. Именно потому Цезарю приходилось лавировать между этими *homines novi* и представителями староримских родов, заигрывая с последними и всячески стараясь привлечь их на свою сторону, в особенности после окончания гражданской войны. Неизменной основой экономического и политического влияния «староримлян» оставалось по-прежнему крупное землевладение.

Демократические слои населения, как в этом можно было убедиться еще на примере движения Катилины, не представляли собой организованной силы. Кроме того, ряд мер, проведенных Цезарем — закрытие коллегий, сокращение хлебных раздач и т. п., — никак не мог увеличить в последние годы его авторитет в кругах популяров и в среде городского плебса. Более того, только-только намечавшаяся в то время оппозиция режиму Цезаря, переросшая затем в заговор, питалась в значительной мере именно этими «демократическими» кругами.

И наконец, монархические «замашки» Цезаря, то ли существовавшие на самом деле, то ли всего лишь приписывавшиеся ему общей молвой — в данном случае это не имеет значения, — оттолкнули от него не только бывших противников и республиканцев, которые одно время готовы были пойти на примирение, но даже личных приверженцев. Таким образом, создалась

парадоксальная ситуация: всемогущий диктатор, достигший, казалось бы, вершин власти и почета, на самом деле оказался в политической изоляции, а возникший и успешно реализованный заговор был по существу закономерным проявлением слабости установленного им режима.

Но все же это были нечувствительные пока изменения, постепенно идущие процессы. Сейчас, когда Цезарь отправился на войну в Испанию, в Риме царил выжидательный и даже в значительной мере индифферентный настрой. Никто уже не верил, что борьба идет за восстановление республики, но лишь за власть между претендентами¹. Вскоре после отъезда Цезаря из Рима Цицерон высказал в своих письмах ту мысль, что война едва ли будет продолжительной и что хотя причины, побудившие противников взяться за оружие, довольно различны, но большого различия между победой той или иной стороны он не видит². Правда, в некоторых других письмах он скорее желал победы Цезарю, ибо в противном случае ожидал от Гнея Помпея всего самого худшего³.

Зима 46/45 г. была для Цицерона полна семейных переживаний и несчастий. Во-первых, его любимая дочь Туллия развелась со своим мужем Долабеллой. Вскоре после этого сам Цицерон решился на развод с Теренцией, с которой прожил тридцать лет. Стойкая античная версия⁴ объясняет этот поступок желанием Цицерона поправить новым браком свои сильно пошатнувшиеся денежные дела. Во всяком случае эти вопросы занимали его весьма активно. Нам известно, что одно время речь шла о таких кандидатурах, как, например, Помпея, вдова Фавста Суллы или сестра Гирция. В конечном счете Цицерон остановил свой выбор на молодой и богатой Публилии, опекуном которой он был, а теперь получал право распоряжаться ее весьма солидным состоянием (как приданым). Женитьба шестидесятилетнего знаменитого оратора и консулара на совершенно молоденькой девушке произвела сенсацию в «светских кругах» Рима.

¹ *Ed. Meyer. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*, S. 431.

² *Cic., fam.*, 6. 4. 1.

³ *Cic., fam.*, 6. 1. 2; ср. 15. 19. 4.

⁴ *Cass. Dio*, 46, 18, 3; *Plut., Cic.*, 41.

В начале 45 г. Цицерон живет в Риме, занимаясь научными штудиями и ожидая разрешения от бремени своей дочери Туллии. После того как она родила сына, Цицерон увез ее в тускульское поместье, но здесь примерно в середине февраля Туллия умирает. Смерть горячо любимой дочери, к которой Цицерон продолжал относиться как к маленькой девочке (хотя ей исполнилось 34 года и она уже три раза была замужем), оказалась для него тяжелейшим ударом. Его душевное состояние в эти месяцы можно сравнить лишь с тем полным упадком сил, разочарованием в жизни и депрессией, которую он испытывал во время изгнания. Но тогда в нем подспудно теплилась надежда на то, что политическая обстановка может измениться, теперь же не было и этого утешения¹.

К нему поступали многочисленные соболезнования и выражения сочувствия, в том числе и от самого Цезаря из Испании². Однако долгое время он оставался безутешным и собирался даже воздвигнуть святилище в честь своей Туллии. В какой-то мере со смертью дочери было, очевидно, связано и его растущее недоброжелательство, даже отвращение к молодой жене: он подозревал, что ее вовсе не огорчила смерть Туллии. Когда Публилия хотела его навестить в астурийской вилле, он с ужасом бежал от нее в поместье Аттика. Вскоре неудачный брак был расторгнут.

После возвращения Цезаря из Испании Цицерону приходится менять свой образ жизни. Об уединении, о жизни Лаэрта, как он сам ее называл³, больше не могло быть и речи. В конце года ему пришлось принимать в своем поместье самого Цезаря (с огромной свитой). Но большую часть времени он проводит теперь в Риме, снова участвуя в заседаниях сената. Когда Цезарь отдал распоряжение восстановить статуи Помпея, Цицерон выступил с похвальным словом, сказав, что Цезарь таким образом укрепил свои собственные⁴.

Как бы то ни было, но истекавший год оказался — и об этом уже говорилось⁵ — необычайно плодотворным: половина философских трудов Цицерона была

¹ *M. Gelzer. Cicero, S. 291.*

² *Cic., Att., 13, 20, 1.*

³ *Plut., Cic., 40.*

⁴ *Plut., Cic., 40; Caes., 57; Suet., Jul., 75.*

⁵ См. стр. 275.

опубликована именно в 45 г. К ним прежде всего относятся три не дошедших до нас, но чрезвычайно важных труда: «Похвальное слово Катону», «Утешение» и «Гортензий».

Свой панегирик Катону Цицерон опубликовал, видимо, сразу же после отъезда Цезаря в Испанию, хотя сочинение было окончено значительно раньше. Он него ничего не сохранилось, кроме одной цитаты, в которой дается следующая оценка: в отличие от большинства людей Катон был более велик в действительности, чем по слухам¹.

Выход в свет этого произведения Цицерона произвел подлинную сенсацию. Во-первых, появился ряд сочинений подобного же рода: М. Брута, М. Фадия Галла, Мунатия. Кроме того, на Цицеронова «Катона» откликнулся сам Цезарь: несмотря на всю свою занятость военными действиями в Испании, он тем не менее нашел время, чтобы написать специальный труд (в двух книгах!), названный им «Антикатон»². В этом сочинении, к сожалению тоже не сохранившемся, Цезарь стремился развенчать образ «несгибаемого республиканца»; он оспаривал многие приписываемые ему достоинства и даже обвинял Катона в пристрастии к вину — в пьянстве. К Цицерону Цезарь отнесся с максимальным пиететом: сравнивая его с собой, с «солдатом», превозносил как стилиста; как оратора ставил в один ряд с Периклом, как политического деятеля — с Фераменом³. Насколько нам известно, Цицерон был весьма польщен этими оценками.

«Утешение» — небольшой философский трактат, который был написан в связи со смертью дочери; закончен в марте (или апреле) 45 г. От него сохранилось несколько фрагментов, главным образом у христианского писателя Лактанция, по ряду вопросов спорившего с Цицероном. Очевидно, основные идеи, вызвавшие возражения Лактанция, были заимствованы Цицероном из знаменитого в свое время сочинения представителя старой академической школы Крантора (IV в. до н. э.).

Так, Цицерон утверждал, что жизнь потеряла для него всякую цену. И вообще что такое жизнь? Люди

¹ *Macrob.*, 6, 2, 33.

² *Suet.*, Jul., 56.

³ *Plut.*, Cic., 39; *Caes.*, 3.

рождаются для того, чтобы своей жизнью искупить ошибки прошлого существования. Лучше совсем не родиться на свет или, если ты уж рожден, как можно раньше умереть. Правда, наряду с этими пессимистическими соображениями проскальзывает мысль о том, что «правильно» прожитая жизнь поднимает человека до уровня богов, дает бессмертие его душе. Вот почему, кстати сказать, Цицерон считал возможным посвятить алтарь бессмертной душе своей Туллии.

Третьим не дошедшим до нас трактатом был «Гортензий», диалог, начатый, возможно, еще в 46 г., но законченный после «Утешения». Действие диалога разворачивается на тускульской вилле Лукулла в 60-х годах; участники диалога — Цицерон, Гортензий, Лукулл и Катул. Основное содержание и цель диалога — подчеркнуть значение философии, поощрить ее изучение. В знаменитом перечне своих философских произведений Цицерон ставит диалог «Гортензий» на первое место¹.

Довольно большое количество сохранившихся фрагментов дает возможность составить некоторое представление об общем ходе диалога. После того как Катул высказывается о поэзии, Лукулл — об истории, выступает Гортензий. Он, как оратор, произносит хвалебное слово искусству речи и довольно пренебрежительно отзывается о философии, говоря, что великие римляне едва ли руководствовались в своих деяниях ее принципами. Защитником философии и философского образования, которое одно только и может направить на путь истины и добродетели, выступает сам Цицерон.

В некоторых местах диалога ощущается влияние Аристотеля, и прежде всего в подчеркивании значения философии. Диалог «Гортензий» произвел огромное впечатление на юношу Августина, в дальнейшем одного из наиболее знаменитых христианских писателей и отцов церкви. Он, кстати, упоминает о том, что диалог Цицерона использовался в его время (т. е. в IV в. н. э.) как учебное пособие, как введение в изучение философии.

В течение весны и лета 45 г. Цицерон написал четыре философских трактата; это «Академические исследования», «О границах добра и зла», «Тускуланские

¹ Cic., div., 2, 1.

диспуты» и «О природе богов». Мы вынуждены ограничиться лишь самым общим обзором этих произведений.

Трактат «Академические исследования» неоднократно перерабатывался. В первом своем варианте это произведение состояло из двух книг, которые по имени участников беседы назывались «Катул» и «Лукулл». В последнем варианте трактат включал четыре книги и отличался более подробным изложением. Изменился и состав собеседников: теперь участниками обсуждения были М. Теренций Варрон, Т. Помпоний Атик и сам Цицерон. Сочинение в целом было посвящено Варрону.

От первого варианта этого произведения до нас дошла вторая книга (т. е. «Лукулл»), от последнего — начальная часть первой книги и отрывки остальных. После того введения в философию, которое было дано в «Гортензии», перед Цицероном стояла им же самим сформулированная задача: дать общее изложение греческой философии на латинском языке¹. Поэтому в своем новом трактате он уделяет основное внимание коренной философской проблеме — проблеме познания. Его интересует та борьба мнений, которая развернулась вокруг этой проблемы между двумя крупными представителями академической школы: Филоном из Ларисы и одним из наиболее известных его учеников — Антиохом Аскалонским. Антиох отошел от своего учителя, и основным пунктом расхождений был именно вопрос о возможности познания. Скептическое направление, представители так называемой новой Академии — Карнеад, Аркесилай, Филон — отрицали эту возможность; Карнеад даже уверял, что мудрец должен лишь «считать за», а вовсе не «знать», как к тому стремился Антиох². Сам Цицерон в основном поддерживал точку зрения «новой Академии», точку зрения Филона.

Летом 45 г. Цицерон завершил работу над другим философским трактатом — «О границах добра и зла». Он состоит из пяти книг, но делится по существу на три раздела, или на три диалога. Первый диалог (в нем участвуют Л. Манлий Торкват и сам Цицерон) посвя-

¹ *Cic.*, acad. post., 1, 3.

² *Cic.*, acad. post., 1, 59.

щен изложению и опровержению эпикурейского учения о высшем благе (кн. I—II), второй — изложению и опровержению учения стоиков (кн. III—IV). Участники второго диалога — Катон Утический и Цицерон. И наконец, третий диалог (кн. V) посвящен встрече в Афинах Цицерона, его брата Квинта, М. Пупия Писона, Луция и Атика.

В первой книге трактата Манлий Торкват излагает эпикурейскую доктрину. Он ограничивается учением о наслаждении. Это учение зиждется на непосредственности чувств, на телесном здоровье, на душевной радости и боли. Нравственные достоинства — порождения духовной радости и всегда сопутствуют ей¹. Во второй книге диалога Цицерон полемизирует с Торкватом. Он старается показать, что учение Эпикура не выдерживает критики с точки зрения внутренней логики, полно противоречий, а знаменитое предсмертное письмо Эпикура, как и его завещание, совершенно не соответствует всему его учению².

Диалог, развивающийся в третьей и четвертой книгах, происходит в библиотеке тускульской виллы М. Лициния Лукулла. Один из главных участников диалога, Катон, излагает основные положения стоической доктрины, и прежде всего утверждение: высшим благом следует считать лишь благо нравственное, т. е. добродетель, а кроме добродетели, ничто не может признаваться благом³. Именно на это положение и обрушивается Цицерон, высказывая затем удивление по поводу того, что такой выдающийся государственный деятель, как Катон, способен всерьез относиться к Зенону с его смехотворными парадоксами. Кстати, Зенон свое учение о высшем добре и зле заимствовал у академика Полемона, а что касается учения о государстве и законах, то оно, как известно, было разработано Платоном и его учениками⁴.

И наконец, в пятой книге главное действующее лицо М. Пупий Писон дает исторический обзор учения академиков и перипатетиков о высшем благе. В итоге высказывается мнение, что для достижения спокойствия и счастья следует обладать четырьмя классиче-

¹ *Cic.*, fin., 1, 30—32.

² *Cic.*, fin., 2, 96—99; 101—103.

³ *Cic.*, fin., 3, 10—11.

⁴ *Cic.*, fin., 4, 61.

скими добродетелями (мужество, умеренность, разум, справедливость), но для полного счастья нужны еще здоровье и такие внешние блага, как друзья, дети, богатство, почетные должности¹.

Следующий философский трактат — «Тускуланские диспуты» — Цицерон закончил, очевидно, осенью 45 г. Его литературная форма отлична от предыдущих произведений. Трактат, состоящий из пяти книг, построен по образцу докладов или лекций перед слушателями. «Лектор» отвечает на вопросы, поставленные этими слушателями или даже им самим, часто опровергая выдвинутые для обсуждения основные тезисы. Подобная форма диспутов использовалась уже и Филоном, и Карнеадом (сам Цицерон именует эту форму греческим термином «школа»).

Основная проблема — кстати сказать, затрагиваемая еще в предыдущем трактате — проблема «эвдемонии», т. е. счастливой жизни и способов ее достижения. В первой книге обсуждается вопрос о том, должно ли считать смерть «злом». На это следует ответ, что еще Платон говорил о бессмертии души и о ее «блаженстве» после смерти². Эта мысль была особенно близка Цицерону после смерти Туллии.

Во второй книге разбирается вопрос о стойкости при телесных страданиях и о том, можно ли считать боль наибольшим «злом»³. Ответ, конечно, дается отрицательный, подтверждаемый примерами из жизни героев и философов, а в конце книги проводится мысль, что если боль невыносима, то истинный философ знает, как следует ему поступать: всегда остается открытой возможность уйти из этой жизни⁴.

В третьей и четвертой книгах трактата весьма близкие друг другу проблемы: о средствах облегчить горе, о подавлении аффектов, о том, может ли мудрец быть свободным от всего того, что мешает спокойствию и ясности духа. И наконец, в последней, пятой книге речь снова идет об основном вопросе: достаточно ли одной только добродетели для достижения «эвдемонии»? На основании своего собственного житейского

¹ *Cic.*, *fin.*, 5, 67; 81.

² *Cic.*, *Tusc.*, 1, 24—25.

³ *Cic.*, *Tusc.*, 2, 14.

⁴ *Cic.*, *Tusc.*, 2, 67.

опыта Цицерон явно сомневается в правильности этого положения стоиков. Затем говорится о том, что философия для него с давних лет — самое надежное убежище от всех житейских бурь и невзгод¹.

Последний из перечисленных выше трактатов Цицерона — «О природе богов» — был завершен, по всей вероятности, в самом конце 45 г. Он посвящен — как, впрочем, и предыдущий — Марку Бруту. Трактат написан снова в привычной форме диалога и состоит из трех книг. Участники диалога: Аврелий Котта, консул 75 г., хозяин дома, в котором происходит беседа, Гай Веллей, Луцилий Бальб и сам Цицерон, который скорее играет роль слушателя.

Три главных участника диалога именуются принципсами (т. е. в данном случае достаточно авторитетными представителями) трех философских школ: Веллей — эпикурейской, Бальб — стоической и Котта — академической. Последний, кстати сказать, как и Цицерон, — ученик и последователь Филона.

В первой книге диалога Веллей развивает основные положения эпикурейской теологии: существование богов, их облик, число, бессмертие, «образ» жизни и действительности. Он язвительно критикует Платона и стоиков, т. е. идеалистов. Котта кратко ему возражает, находя явные противоречия и несуразности в представлении Эпикура о богах. Под конец он солидаризуется с Панетием, который считал, что Эпикур вообще отрицает существование богов².

Во второй книге излагается стоическое учение о богах. В качестве оратора выступает Бальб. Он выделяет в своем изложении четыре основных момента: 1) то, что боги есть, 2) их свойства, 3) управление миром, 4) забота о людях. Вся эта стоическая теология подвергается (в третьей книге трактата) подробному критическому разбору Котты. Он высказывает сомнение и в одухотворенности мира, и в стоических доказательствах существования богов, и даже по поводу заботы богов о людях, которая никак не подтверждается благоденствием негодяев и незаслуженными бедствиями людей достойных³. В заключение Котта заявляет, что

¹ *Cic.*, *Tusc.*, 5, 2—5.

² *Cic.*, *nat. deor.*, 1, 110; 121—123.

³ *Cic.*, *nat. deor.*, 3, 23; 39 sqq.; 65 sqq.

он вовсе не пытался и не пытается отрицать самое существование богов — его дело лишь указать на всю сложность проблемы¹. И действительно, речь Котты сильна главным образом своей негативной стороной. Таков чисто скептический итог этого диалога Цицерона.

Из того, что говорилось выше об эпикурейском учении, нетрудно сделать вывод о резко отрицательном отношении Цицерона к этой философской системе. Чем же это объясняется?

На наш взгляд, можно указать две основные причины. Во-первых, Цицерону была всегда глубоко чужда материалистическая основа эпикурейской философии; во-вторых, популярность и довольно широкое распространение некоторых положений эпикуреизма в среде римского городского плебса тоже, вероятно, укрепляли негативное отношение Цицерона к этому учению.

¹ Cic., nat. deor., 3, 93.

От мартовских ид до второго триумвирата

9 В день мартовских ид, т. е. 15 марта 44 г., Юлий Цезарь был убит заговорщиками перед открытием очередного заседания сената. В числе заговорщиков находились не только видные помпеянцы и старые враги Цезаря, но и те, кто был им прощен, приближен и обласкан, те, кто считались теперь его сторонниками. К этой категории следует прежде всего отнести самих главарей заговора — Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина.

Цицерон не был среди заговорщиков, не был даже посвящен в задуманное дело, однако его отношение к Цезарю как тирану и его скорбь по поводу гибели республики были настолько хорошо известны заговорщикам, что Брут, подняв окровавленный кинжал, воскликнул: «Цицерон!» — и поздравил его с восстановлением свободы. Так во всяком случае изображал впоследствии эту сцену Марк Антоний¹. По другим сведениям, убийцы Цезаря выкрикивали это же имя, выбежав на Форум².

В день убийства Цицерон отправил краткую записку одному из заговорщиков, некоему Минуцию Басилу, которая начиналась словами: «Поздравляю тебя и радуюсь за себя!»³ В тот же вечер он поднялся на Капитолий, где находились руководители заговора, окруженные своими приверженцами. Он выдвинул идею созыва сената преторами здесь же, на Капитолии, дабы народ сразу понял, кому будет теперь принадлежать

¹ *Cic.*, *Phil.*, 2, 28; 30.

² *Cass. Dio.*, 44, 20, 4.

³ *Cic.*, *fam.*, 6, 15.

руководство государством. Однако проект не имел успеха: большинство присутствующих, в том числе и сами сенаторы, считали необходимым вступить в переговоры с консулом 44 г. Марком Антонием.

В первые часы после убийства диктатора наиболее видные цезарианцы испытывали страх и растерянность. Марк Антоний, опасаясь, что заговор направлен и против него, забаррикадировался в своем доме. Так же поступил начальник конницы Эмилий Лепид. Но эта растерянность длилась недолго. Уже на следующий день стало ясно, что заговорщики не имеют достаточно широкой и прочной опоры. Население Рима в своей массе им не сочувствовало, а ветераны Цезаря были настроены явно враждебно. Поэтому Марк Антоний, получивший в свое распоряжение 700 млн. сестерциев из государственной казны, а также личные средства (100 млн. сестерциев) Цезаря и все его бумаги (от его вдовы), воспрянул духом и назначил на 17 марта заседание сената.

Это заседание было весьма бурным. Сначала сторонники заговорщиков (Брут и Кассий на заседание не рискнули явиться) предложили объявить Цезаря тираном, а его убийцам выразить одобрение и даже присвоить почетное наименование «благодетели». Тогда Антоний заявил, что если Цезарь будет признан тираном, то все его распоряжения автоматически станут недействительными. А ведь известно — и это подтверждается теми бумагами покойного, которые сейчас находятся в его, Антония, распоряжении, — что Цезарь, собираясь в длительный поход против парфян, провел ряд назначений и распоряжений, которые имеют прямое отношение ко многим из находящихся на данном заседании.

Слова Марка Антония произвели резкий перелом в настроении. Те сенаторы, которые только что пылко поддерживали заговорщиков или даже намекали на собственное участие в заговоре (например, бывший зять Цицерона Долабелла), теперь, боясь потерять выгодные и почетные назначения, готовы были чуть ли не восхвалять убитого «тирана». Поэтому с большой легкостью прошло компромиссное предложение Цицерона: по отношению к заговорщикам применить так называемую амнистию (т. е. «забвение») и одновременно утвердить все распоряжения Цезаря, причем не

только те, которые были сделаны им при жизни, но и те, которые были намечены в его бумагах.

Цицерон признавался позднее, что он внес такое предложение потому, что уже «боялся побежденных» и предвидел, что «все сделанное, написанное, сказанное, обещанное, задуманное Цезарем будет иметь большую силу, чем при его жизни»¹, что всем уготована судьба стать «рабами его записной книжки». Обращаясь к Аттику, он восклицает: «О, мой Атик! Опасаюсь, что мартовские иды не дали нам ничего, кроме радости отмщения за ненависть и скорбь... О, прекрасное дело, но не законченное!»² А в другом письме Аттику — в мае 44 г. — он как бы подводит горестный итог: «Утешаться мартовскими идами теперь глупо; ведь мы проявили отвагу мужей, разум же, верь мне, детей. Дерево срублено, но не вырвано с корнем; поэтому ты можешь видеть, какие оно дает отпрыски»³.

Цицерон на сей раз был абсолютно прав, и тенденция дальнейшего развития событий определилась достаточно четко в первые же недели после мартовских ид. Уже похороны Цезаря многое прояснили. Антоний обставил их весьма театрально. Он сам произнес хвалебное слово покойному, для вящего эффекта он поднял копьем на глазах собравшейся толпы растерзанную и окровавленную одежду Цезаря. Но и этого оказалось недостаточно: в подходящий момент народу была показана восковая статуя Цезаря с 23 зияющими ранами. А так как незадолго до этого стало известно завещание Цезаря о передаче населению Рима его садов над Тибром и выплате каждому плебею (очевидно, в пределах 150 тыс. человек, получавших хлеб от государства) по 300 сестерциев, то настроение толпы складывалось явно не в пользу «тираноубийц».

Возбужденная толпа ринулась к зданию, где проходило заседание сената и где погиб Цезарь, и подожгла его. Искали заговорщиков, чтобы немедленно расправиться с ними, и один из народных трибунов был на месте растерзан толпой, которая приняла его по ошибке за его дальнего родственника, противника

¹ *Cic., Att., 14, 6, 2; 14, 10, 1; ср. 14, 14, 2.*

² *Cic., Att., 14, 12, 1.*

³ *Cic., Att., 15, 4, 2.*

Цезаря. Брут и Кассий вынуждены были скрыться и тайно покинуть город.

Вершителем судеб оказался не кто иной, как Марк Антоний. Однако он еще не чувствовал свое положение настолько прочным, чтобы открыто порвать с сенатом. Поэтому он проводит ряд мер и решений в интересах сенатской «партии», в интересах «республиканцев». Так, например, было утверждено распределение провинций на 44 и 43 гг. в соответствии с пожеланиями Цезаря; в числе других наместников оказались также Брут и Кассий; первый получал в управление Македонию, второй — Сирию. Распределялись на эти же годы должности консулов и трибунов опять-таки в зависимости от «наметок» Цезаря, извлеченных из его «записной книжки».

Но пожалуй, наиболее эффектным (хотя фактически ничего не значащим) актом был предложенный Антонием закон о запрещении на вечные времена диктатуры. Он же внес предложение вызвать из Испании младшего сына Помпея — Секста, выдать ему в возмещение конфискованного имущества отца крупную денежную сумму и назначить его командующим флотом.

И наконец, в это же время Антоний подавляет так называемое движение Лже-Мария. Дело в том, что после смерти Цезаря в Риме появился некто Герофил (или Аматый), который выдавал себя за внука Мария, а поскольку женой Мария была тетка Цезаря, следовательно, и за родственника покойного диктатора. Герофил соорудил алтарь на том месте, где был сожжен труп Цезаря, и призывал отомстить за его смерть. Вокруг Лже-Мария начали группироваться ветераны, плебеи, отпущенники, приносившие жертвы убитому и обожествлявшие его. Про появившуюся в те дни комету был пущен слух, что это душа Цезаря, вознесшаяся на небо. Движение грозило разрастись, и потому Антоний, арестовав Лже-Мария, поспешил казнить его без всякого суда. В подавлении движения принял активное участие и второй консул 44 г. — Долабелла, который жестоко расправился со всеми приверженцами Герофила: свободных людей повелел сбросить с Тарпейской скалы, а рабов распять на крестах.

Видимо, в конце апреля Антонию удалось провести через народное собрание (минуя на сей раз сенат!) за-

кон, который предоставлял ему право оглашать оставшиеся в бумагах Цезаря указания как обязательные и как имеющие юридическую силу, без всяких предварительных санкций сената. Этот закон, по мнению Цицерона, давал новому претенденту на тиранию такую полноту власти, какой не имел даже сам Цезарь¹, тем более что все бумаги Цезаря находились, как известно, в личном и совершенно бесконтрольном распоряжении Антония.

И действительно, Марк Антоний публикует в ближайшее же время огромное количество распоряжений и так называемых законов Юлия, в соответствии с которыми даровались гражданские права как отдельным лицам, так и целым общинам, назначались на высшие должности и вводились в состав сената креатуры нового властителя, кое-кто даже возвращался из ссылки. Всем этим людям, как рассказывает Плутарх, римляне давали насмешливое прозвище «друзей Харона», ибо все милости и назначения неизменно объяснялись выполнением воли покойного².

Все более укреплявшееся положение Марка Антония было обусловлено, с одной стороны, рядом благоприятных обстоятельств, с другой — его личными успехами. Так, например, один из его братьев, Луций Антоний, был в 44 г. народным трибуном, а другой, Гай, претором и фактически замещал отсутствующего городского претора, т. е. Марка Брута. Последний, как уже говорилось, вместе с Кассием находился вне Рима; оба они по инициативе Антония были направлены сенатом в Сицилию и Африку для закупок хлеба. Цицерон проводил время в своих виллах на юге Италии.

В отношении возможных соперников — цезарианцев Антоний действовал более осторожно. Эмилия Лепида он сумел обезопасить и привязать к себе двумя испытанными средствами: удовлетворением честолюбия и установлением родственных связей. Он добился избрания Лепида верховным понтификом (вакансия, освободившаяся после смерти Цезаря) и, кроме того, обручил свою дочь с его сыном.

¹ *Cic., Att.*, 14, 1; *Phil.*, 1, 17.

² *Plut., Ant.*, 15.

Другого возможного конкурента, Долабеллу, Антоний убогаторил пожалованием провинции. Речь шла о Сирии с правом перевода в эту провинцию тех легионов, которые стояли в Македонии и были набраны еще Цезарем для войны с Парфией. Но так как сенат недавним решением утвердил Сирию за Кассием, то новый закон, передававший провинцию Долабелле, был проведен опять-таки непосредственно через комиции, минуя сенат.

Затем в сенат обратился сам Антоний. Он просил выделить и ему провинцию, а именно Македонию, несмотря на то что она также была закреплена за Брутом. Сенаторы не осмелились отказать, тем более что Македония оставалась теперь без войск и назначение туда Антония как будто не представляло особой опасности. Бруту же и Кассию взамен отнятых у них провинций решением сената были определены соответственно Крит и Киренаика.

Вскоре тайный смысл этого шага Антония стал ясен. В июне был пущен слух, что на Македонию собираются напасть (или уже напали!) геты. В связи с этим Антоний потребовал и настоял, чтобы намеченные к переброске в Сирию легионы были оставлены в Македонии. Но это было еще не все. Через некоторое время оказалось, что македонские легионы будут переправлены в Брундизий, и тогда, не обращая внимания на запуганный сенат, Марк Антоний добивается в комициях проведения нового закона о распределении провинций. По этому закону он получает в свое управление Цизальпийскую Галлию, к чему он, учитывая опыт Цезаря, видимо, давно уже стремился. Правда, здесь были свои сложности. Децим Брут, которому сенат раньше уже назначил эту провинцию, вовсе не собирался ее добровольно уступать. Ситуация была чревата самыми серьезными последствиями. Вот почему именно с этого момента многие в Риме, и в частности Цицерон, начали всерьез думать о возможности и даже неизбежности новой гражданской войны¹.

Положение самого Цицерона между тем осложнялось с каждым днем. И хотя Антоний соблюдал все правила вежливости и писал ему иногда изысканно любезные письма (например, с просьбой согласиться

¹ Cic., Att., 15, 18, 2; 15, 20, 2.

на возвращение из изгнания Секста Клодия¹), но истинный характер его отношения был для Цицерона ясен. Плутарх так пишет об Антонии: «Он видел, что Цицерон снова пользуется большим влиянием в государственных делах, он знал о его дружбе с Брутом и потому сильно тяготился присутствием этого человека. Вдобавок и прежде их разделяла взаимная неприязнь, вызванная полным несходством их жизненных правил»².

Поэтому Цицерон все это время колеблется между намерением покинуть Италию и обычным для него желанием не расставаться с Римом. Сначала существовал проект поездки в Грецию, где находился его сын, слушавший курс лекций, и где должны были в текущем году праздноваться Олимпийские игры, затем после консультаций с друзьями возникло намерение отправиться в Сирию с Долабеллой в качестве его легата. Однако все это были лишь разговоры и предположения, и он проводит весну и лето 44 г. на юге Италии, переезжая из одного своего имения в другое.

И все же в июле он наконец решается отплыть из Италии. Отправившись морем вдоль берега (видимо, из своей помпейской усадьбы), он прибывает к концу месяца сначала в Вибон, а затем в Регий. Из Регия он переправляется в Сиракузы, где проводит всего лишь одну ночь, а затем вследствие неблагоприятного ветра снова попадает в район Регия. Здесь он остается на несколько дней (в начале августа) на вилле Публия Валерия и узнает некоторые важные новости из Рима: ситуация якобы изменилась, Антоний ищет контактов с сенатом и уже не претендует на Галлию, Брут и Кассий собираются вернуться в Рим, намечается созыв сената, отсутствие его, Цицерона, производит странное впечатление. Через несколько дней он получает письмо от Аттика, который также порицает его отсутствие, и это обстоятельство окончательно решает вопрос.

17 августа Цицерон снова в Велии. Здесь происходит встреча с Брутом. В результате обмена мнениями становится ясно, что положение в Риме все еще остается весьма напряженным, что Антоний отнюдь не

¹ *Cic., Att.*, 14, 13^a.

² *Plut., Cic.*, 43.

склонен сдавать свои позиции и борьба с ним неизбежна. Вместе с тем Брут весьма одобряет решение Цицерона вернуться в Рим, ибо отъезд в Грецию в данной ситуации, да еще под предлогом посещения Олимпийских игр мог быть расценен лишь как предательство «республики».

В настроении Цицерона происходит явный перелом. Вместо недавних раздумий и колебаний, вместо сознательно проводимой политики абсентеизма он вдруг в эти дни становится полон энергии и мужества, как в свои лучшие времена. Ему предстоит борьба, и он не собирается ее избегать. Он возвращается в Рим с открытым забралом, отнюдь не убаюкивая себя возможностью компромисса или примирения, — ситуация, конечно, отличалась от кануна гражданской войны 49 г., да и его собственная роль была теперь совершенно иной, — и потому он прямо идет навстречу тяжелым испытаниям, будучи психологически и морально готов начать, по его же собственному выражению, «словесную войну», причем ничуть не сомневается в том, что подобная война может в любой момент из области слов перейти в область действий.

В этой напряженной обстановке имел определенное — и не малое! — значение один новый фактор, вносящий особый оттенок, особый «привкус» в разгоревшуюся борьбу. Его значение, несомненно, учитывал в какой-то мере и Цицерон. Таким фактором было появление на политической арене Рима наследника Цезаря — его девятнадцатилетнего внучатого племянника Гая Октавия.

В момент убийства Цезаря Октавий находился на Балканском полуострове, в Аполлонии, где он по распоряжению Цезаря проходил курс наук (военных и гражданских). Он готовился принять участие в парфянском походе в качестве начальника конницы.

Узнав о событиях в Риме, Октавий немедленно выехал в Италию. Его мать и отчим советовали ему отказаться и от усыновления и от наследства, избрав жизнь частного человека, как наименее опасную в данных обстоятельствах. Однако юноша не последовал их совету: он решил принять наследство, а также новое имя — Гай Юлий Цезарь Октавиан. Уже одно это обстоятельство привлекло к нему симпатии значительного числа ветеранов Цезаря.

Цицерон впервые упоминает — и то вскользь — об Октавиане в своем письме к Аттику 11 апреля 44 г.¹ Но буквально через несколько дней Бальб сообщает ему, что юноша заявил претензию на наследство Цезаря и это, видимо, приведет к конфликту с Антонием. А еще через два-три дня прибывший в Италию Октавиан и остановившийся на куманской вилле своего отчима Луция Марция Филиппа наносит вместе с ним визит вежливости Цицерону. Юноша держится чрезвычайно почтительно, проявляя искреннее уважение и даже восхищение знаменитым оратором, Цицерон же весьма сдержан. Поскольку сам Филипп называл своего пасынка не Цезарем, но Октавием, то и Цицерон поступает так же².

В Рим наследник Цезаря прибывает в самом конце апреля или в начале мая. Марк Антоний в это время отсутствовал (он был на юге Италии), но Октавий обратился к Луцию Антонию как народному трибуну, который и представил его народу (8 мая). На этой сходке Октавиан держал речь, заявив, что он намерен вступить в права наследства и произвести все обещанные Цезарем выплаты. Затем он заявил о желании оформить свое усыновление, согласно завещанию Цезаря, другому брату Марка Антония — Гаю, который, как уже говорилось, выполнял обязанности городского претора. Небезынтересно отметить, что примерно с этого времени Цицерон начинает уже называть его Октавианом³.

Когда Марк Антоний вернулся в Рим, состоялась его встреча с наследником Цезаря. Фактический диктатор отнесся к юноше довольно пренебрежительно. Аппиан подробно описывает встречу — хотя едва ли она была первой — и тот острый разговор, который произошел при этой встрече⁴. Разговор, конечно, вымышлен, но общая его направленность отражена, по всей вероятности, довольно точно. Октавиан почтительно, но твердо заявил о желании отомстить убийцам своего отца, а также о необходимости выполнить волю покойного и раздать народу завещанные ему средства. Для этого он просил Антония вернуть ему

¹ *Cic., Att.*, 14, 5, 3; cp. 14, 6, 1.

² *Cic., Att.*, 14, 12, 2.

³ *Cic., Att.*, 15, 12, 2.

⁴ *App.*, b. c., 3, 14—20.

ту сумму из личных средств Цезаря, которую Антонию передала Кальпурния, вдова Цезаря.

Антоний был возмущен смелостью, вернее сказать, наглостью «мальчишки». Он дал ему резкую отповедь, указав прежде всего на то, что если Цезарь оставил своему приемному сыну наследство и славное имя, то он отнюдь не передавал ему полномочий на управление государственными делами. Поэтому он, Антоний, вовсе не намерен давать сейчас отчет в этих делах. Что же касается наследства, то денежные средства, полученные им в свое время от Кальпурнии, истрачены на подкуп влиятельных лиц, дабы они не препятствовали принятию решений в интересах Цезаря и его памяти. Поэтому он ничем не может помочь молодому человеку в его денежных затруднениях.

Одновременно (или даже несколько раньше) Антоний пытался сорвать окончательное оформление усыновления Октавиана, что по существующим законам требовало специального решения куриатных комиций. Он, правда, сделал это не своими руками, не открыто, но при посредстве некоторых трибунов, выступивших с интерцессией. Однако эти действия Антония свидетельствовали о том, что он все же был вынужден как-то считаться с «мальчишкой» и опасаться его, а пренебрежительное отношение было в значительной мере показным.

Октавиан со своей стороны на самой ранней стадии этой борьбы проявил те качества политического деятеля, которые еще не раз сослужат ему службу и в дальнейшем: завидную выдержку, точный расчет, последовательное и неуклонное стремление к достижению намеченной цели. И хотя он уже давно понял, что не убийцы Цезаря должны считаться его самыми опасными врагами, он пока ни словом, ни делом не обнаружил своего истинного отношения к Марку Антонию, наоборот, оказал даже некоторое содействие принятию закона, по которому Антоний получал Цизальпийскую Галлию, в чем тот был весьма заинтересован.

Октавиан объявил о продаже не только своего собственного недвижимого имущества, но и имущества своей матери, отчима и еще нескольких родственников, дабы иметь возможность выполнить волю отца и выплатить обещанные народу суммы. Этот поступок Ок-

тавиана (как и ставший широко известным отказ Антония) создал молодому наследнику Цезаря такую огромную популярность, что на проходивших в это время трибунных комициях, где выбирали народного трибуна взамен одного умершего, народ выразил желание избрать Октавиана, хотя это было противозаконно, поскольку он принадлежал к патрициям. Но желание это выражалось весьма настойчиво, и Антонию пришлось добиваться специального постановления сената о том, что дополнительные выборы в данном случае вообще не нужны.

Популярность Октавиана между тем быстро росла. Симпатии к нему населения Рима особенно ярко проявлялись во время различных массовых игр и зрелищ: в честь Аполлона, в честь побед Цезаря. Во время этих последних игр Октавиан использовал появление кометы для обожествления Цезаря: в храме Венеры Прародительницы он поставил ему статую со звездой над головой.

По мере того как положение Октавиана укреплялось и известность его росла, он начинает переходить к новой тактике. Он ведет теперь сложную игру, настаивая население Рима против Антония, вызывая сочувствие к себе, искусно лавируя между сенатом и народом. Перипетии этой борьбы довольно подробно описаны Аппианом. «Цезарь-сын, — свидетельствует он, — обхаживал народ, всех, кто был облагодетельствован его отцом, всех его солдат; окруженный толпой, как бы личной охраной, исполненный ненависти и обиды, он просил всех, чтобы они, не обращая внимания на него, который по доброй воле терпит столько несправедливостей и оскорблений, выступили, однако, в защиту Цезаря — его отца, их императора и благодетеля, — подвергающегося ныне издевательствам со стороны Антония»¹. И затем Аппиан вкладывает в уста Октавиана весьма темпераментные тирады, с которыми тот будто бы обращался к народу со всех «вышних мест» в городе.

Подобная тактика дала свои плоды. Вскоре центурионы, состоявшие в личной охране Антония, ветераны самого Цезаря, обратились к Антонию, настаивая на том, что он должен изменить свое отношение к

¹ *App.*, б. с., 3, 28.

Октавиану и что вражда между ними обоими выгодна только их общим врагам. Игнорировать подобное обращение было просто невозможно. Поэтому происходит примирение Антония с Октавианом, правда весьма непрочное — не раз затем нарушавшееся и не раз возобновляемое. Кроме того, Антоний — опять-таки не без нажима ветеранов — оказывается вынужденным объявить о созыве сената для обсуждения вопроса о новых почестях Цезарю и увековечении его памяти.

Это заседание было намечено на 1 сентября 44 г. Ему придавалось особое значение. Накануне этого дня в Рим вернулся Цицерон; как обычно, его встречала восторженная толпа. Случайно или не случайно, но это заседание сената по существу оказалось неким рубежом в дальнейшем развитии событий, и в частности неким переломным моментом как в личной судьбе, так и в общественной деятельности самого Цицерона.

* * *

44 год, если иметь в виду литературную деятельность Цицерона, был, как и предыдущий, весьма плодотворным. Цицерон завершил в этом году ряд философских трактатов. Для удобства рассмотрения, пожалуй, целесообразно разбить их на три группы: а) известные нам, но не сохранившиеся произведения, б) диалоги, посвященные проблемам этики, и в) собственно философские трактаты.

Из несохранившихся произведений следует упомянуть небольшой трактат (в двух книгах) «О славе». От него остались настолько ничтожные отрывки, что прийти к каким-либо точным выводам о содержании труда едва ли возможно. Правда, на основании писем к Аттику, в которых Цицерон сообщает о посылке этого сочинения, просит его хранить и читать избранные места «тайно» и лишь «хорошим слушателям»¹, некоторые исследователи утверждают, что содержание трактата было остро политическим, направленным против Цезаря и его «славы», которая ослепляет его приверженцев даже теперь, после его смерти².

¹ *Cic., Att.*, 16, 2, 6; 16, 3, 1.

² *K. Büchner. Cicero*, S. 429—430.

Несравненно лучше известны два других трактата, посвященные этическим проблемам: «Катон, или О старости» и «Лелий, или О дружбе», полностью дошедшие до нас. Первый из них посвящен Аттику, и хотя представляет собой по форме диалог, в котором кроме Катона Цензора участвуют Сципион Эмилиан и его друг Лелий (беседа происходит в 150 г.), но фактически почти все изложение сводится к высказываниям Катона о старости. Выбор его в качестве основного оратора не случаен: Цицерон с годами относился к Катону Цензору со все большим пиететом; возможно, он даже находил кое-что общее в их жизненном пути, в их судьбе и карьере¹.

Диалог начинается с цитаты из Энния, шутливо обращенной к Аттику. Затем Цицерон говорит, что он решил написать кое-что о старости, дабы облегчить как Аттику, так и самому себе это общее бремя — надвигающуюся старость. В качестве основного действующего лица и защитника старости он избирает не мифического героя, как Аристон Кеосский, писавший на ту же тему, но реальное лицо — римского государственного деятеля.

Старость не тяжела для мудреца, самое подходящее оружие старости — науки и упражнение в добродетели; это оружие не изменяет человеку вплоть до его последних дней². Далее приводятся примеры выдающихся деятелей, как греческих, так и римских, для которых старость никогда не была бременем: Фабий Максим, Платон, Исократ, Горгий, Энний. И затем Катон говорит: «Всякий раз, когда я размышляю о причинах, почему старость кажется несчастной, то нахожу их четыре: первая — в том, что она отрешает нас от деятельной жизни, вторая — в том, что она ослабляет наше тело, третья — в том, что она лишает нас наслаждений, и четвертая — в том, что она приближает нас к смерти³.

Дальнейший ход рассуждений посвящен последовательному и подробному опровержению всех этих «причин». Снова приводятся многочисленные примеры

¹ W. Süß. Cicero. Eine Einführung in seine philosophischen Schriften. Wiesbaden, 1966, S. 135—136.

² Cic., Cato, 9.

³ Cic., Cato, 15.

выдающихся людей, доживших до глубокой старости, примеры, долженствующие доказать, что и в этом возрасте можно полностью сохранить физические и нравственные силы, блеск ума и вкус к разнообразным наслаждениям, за исключением, быть может, лишь плотских, т. е. самых низменных¹.

Что касается проблемы смерти, то она обсуждается примерно в том же духе, что и в «Утешении» или «Тускуланских диспутах». Основная идея выражена следующей формулой: «Смертью надо полностью пренебрегать, если она уничтожает душу, либо ее даже следует желать, если она отводит душу туда, где она станет бессмертной и вечной; третьего же вообще не дано»². В заключение Катон говорит, что он лично верит в бессмертие души — пусть это даже и заблуждение, но он не желает, чтобы оно рассеялось³.

Диалог «Катон, или О старости» в литературном отношении — одно из наиболее замечательных произведений Цицерона. Однако философское значение его невелико, да и политическая его направленность выражена слабо.

Несравненно больший интерес представляет для нас другой трактат — «Лелий, или О дружбе». Это произведение было завершено Цицероном также в 44 г., но, по всей вероятности, после смерти Цезаря (ориентировочно — осенью 44 г.). Трактат снова посвящен Аттику и снова написан в форме диалога: беседа происходит в 129 г., вскоре после смерти Сципиона Эмилиана; участники диалога: Гай Лелий и два его зятя — Квинт Муций Сцевола и Гай Фанний Страбон (все трое — участники диалога «О государстве»). Что касается источников трактата, то помимо никем не оспариваемого и засвидетельствованного самими древними использования сочинения Теофраста о дружбе⁴ следует, очевидно, учесть влияние идей Панетия на некоторые разделы диалога, что неоднократно подчеркивалось новейшими исследователями⁵.

¹ *Cic., Cato.* 13; 21—23; 31; 54; 59.

² *Cic., Cato.* 66.

³ *Cic., Cato.* 85.

⁴ *Gell., N. A.,* 1. 3. 11.

⁵ См., напр., *M. Pohlenz. Cicero de officiis.* Leipzig und Berlin, 1935, S. 39, 100.

Диалог строится следующим образом. После вступления, которое занимает первые четыре главы, Лелий переходит к рассуждению на основную тему. Он сразу же отказывается от философски изоциренных определений и говорит, что может лишь посоветовать предпочитать дружбу (*amicitia*) всем остальным делам человеческим, ибо ничто так не соответствует природе и не является столь подходящим как в хороших, так и в дурных обстоятельствах. Однако «дружба может существовать только среди хороших людей»¹. Кого же следует считать «хорошим», достойным человеком? Некоторые полагают, что лишь мудрец может быть нравственно достойным, причем дают такие определения понятию «мудрец», что ни один смертный не в состоянии им удовлетворить. Лелий же говорит, что следует рассматривать то, что имеет место в практической жизни, а не в идеале, и предлагает считать нравственно достойными таких людей, которые следуют, насколько могут, природе — «лучшей наставнице правильного образа жизни»².

Затем Лелий возвращается к вопросу о дружбе. Указывая на то, что между людьми существует некая естественная связь сообщества, в силу которой гражданине ближе друг другу, чем чужеземцам, родственники ближе, чем посторонние, он подчеркивает, что дружба, как одна из форм такой естественной связи, должна быть поставлена выше связей родственных. Здесь же дается следующее определение: «Дружба есть не что иное, как сопровождаемое взаимной любовью и благосклонностью единодушие во всех человеческих и божественных делах, по сравнению с которым не знаю, что лучшее, кроме, пожалуй, мудрости, даровано человеку бессмертными богами»³.

Далее следует определение самого принципа, который лежит в основе всякой дружеской связи. Есть люди, говорит Лелий, которые считают высшим благом богатство, другие — хорошее здоровье, некоторые — власть, некоторые — почести, а многие — даже удовольствия. Но все это чрезвычайно шаткие основания. Поэтому правы те, кто полагает, что высшее

¹ *Cic.*, *Lael.* 17—18.

² *Cic.*, *Lael.* 19.

³ *Cic.*, *Lael.* 19—20.

благо заключается в нравственном совершенстве, добродетели. В свою очередь только добродетель может служить надежной основой дружеских связей, без нее дружба не в состоянии ни возникнуть, ни существовать.

Понятие нравственного совершенства, добродетели тоже следует определять не пышными фразами, как делают некоторые ученые мужи, но исходя из условий практической жизни и наших обыденных представлений. Тогда-то мы и будем иметь возможность считать добродетельными и «хорошими» людьми тех, с кем мы реально имеем дело, а не только тех, кто вымыслен как некий идеальный образ¹.

Лелий довольно подробно описывает силу естественной дружеской связи, без которой не может существовать ни семья, ни город, ни даже обработка земли. Если это недостаточно ясно, то силу дружбы и согласия по контрасту можно нагляднее всего понять из значения раздоров и вражды, против которых ничто не может устоять. Отсюда видно, какое огромное благо заключено в дружбе. Затем Лелий снова подчеркивает естественные основы дружбы, и после этого рассуждение как бы прерывается: Лелий уверяет, что он высказал свои основные мысли по поводу дружбы, и отсылает своих слушателей с вопросами к тем, кто изучает эти проблемы более специально. Однако, уступая просьбам Фанния и Сцеволы, он переходит по существу к центральной части всего рассуждения — к вопросу о происхождении дружбы и развернутому определению самого понятия дружбы и ее законов².

Приступая к выяснению происхождения дружбы, а также причин, порождающих ее, Лелий говорит, что прежде всего следует решить, зарождается ли дружба вследствие слабостей и недостатков, вследствие необходимости взаимной поддержки, или причина ее происхождения более древняя, проистекающая как бы из самой природы. Производя слово *amicitia* (дружба) от *amor* (любовь), он по существу тем самым подчеркивает, что дружба возникает в силу естественной склонности души к любви, т. е. опять-таки скорее от природы, чем от нужды. И затем мысль о независи-

¹ *Cic.*, *Lael.*, 20—21.

² *Cic.*, *Lael.*, 24—25.

мости дружбы от утилитарных соображений подробно развивается и аргументируется; в качестве аргумента, подтверждающего эту мысль, Лелий приводит пример дружбы между им самим и Сципионом. Итак, из дружбы может быть извлечена польза — и великая! — но все же не она причина ее возникновения. Общий вывод здесь таков: «Если только польза скрепляла бы дружественные связи, то она же, изменившись, разрывала бы их; природа же не может изменяться, поэтому истинная дружба бывает вечной»¹.

Переходя к развернутому и всестороннему определению дружбы, Лелий сначала перечисляет разнообразные явления человеческой жизни, которые обычно разрушают дружеские связи: характеры людей, брак, выгодное положение, недоступное одновременно обоим, страсть к деньгам и спор — даже между наилучшими людьми — из-за почестей и славы. В качестве одной из основных причин, ведущих к разрыву дружбы, Лелий называет и расхождение в политических взглядах, т. е. когда «о государственных делах думают и судят по-разному»².

Поэтому встает вопрос: «до каких пределов должна простирается любовь в дружбе?» Большой раздел рассуждений Лелия, кстати сказать целиком построенный на конкретно-исторических примерах, посвящен обоснованию той мысли, что интересы дружбы не могут, не смеют противоречить интересам государства. Приводятся примеры как из полуполюгендарных времен римской истории (Кориолан, Спурий Мелий и т. п.), так и из времени, сравнительно недавнего для участников диалога (брatья Гракхи). Основной закон дружбы формулируется так: «чтобы мы не требовали позорных дел и сами не делали их, если нас попросят». Позорное же дело определяется следующим образом: «Позорно и совершенно неприемлемо извинение в том случае — как и при других проступках, — если кто-нибудь признается, что он ради друга действовал против интересов государства»³.

Дальнейший ход рассуждений Лелия о дружбе свидетельствует о том, что в его уста Цицерон вкладывает

¹ *Cic.*, *Lael.*, 21—30; 32.

² *Cic.*, *Lael.*, 33—34.

³ *Cic.*, *Lael.*, 35—36; 40.

такие характеристики и оценки, которые содержат достаточно прозрачные намеки на современное уже самому Цицерону положение римского государства. Строй жизни все больше и больше уклоняется от обычаев предков. Тиберий Гракх пытался захватить царскую власть и фактически уже царствовал несколько месяцев. Чего же следует ожидать от Гая Гракха? Народ представляется как бы отделившимся от сената, многие дела крайней важности решаются по усмотрению толпы.

Затем Лелий снова приводит примеры измены своему отечеству (Фемистокл и Кориолан), и все рассуждение об основном законе дружбы завершается следующим выводом: «Единодушные людей негодных не только не может извиняться дружбой, но должно караться всякими наказаниями, дабы никто не думал, что дозволено следовать за другом, начинающим войну против родины; а поскольку дело уже идет к тому, я не знаю, может быть, некогда это и произойдет; я же не менее забочусь о состоянии государства после моей смерти, чем о том, каково оно сегодня»¹.

Итак, предел дружбе ставится интересами и нуждами государства. Предпочтение государственных интересов требованиям дружбы — таков основной закон дружеских отношений. Этот тезис имеет для Цицерона решающее значение, причем не только теоретическое, ибо он тесно связан с его конкретными действиями и поступками, а иногда даже обуславливает их.

Что это именно так, подтверждается «документально» — перепиской Цицерона и Матия. Гай Матий, римский всадник, был в близких дружеских отношениях с Цезарем, хотя никогда не принимал участия в политической жизни. По складу своего характера и по всему образу жизни он напоминает друга Цицерона — Аттика. С Цицероном же он был знаком с молодости, в дальнейшем — особенно в годы гражданской войны — оказал немалое содействие установлению хороших взаимоотношений между Цицероном и Цезарем.

Точная дата обмена письмами (хотя оба письма сохранились) нам неизвестна, скорее всего октябрь или ноябрь 44 г.² Не исключено, что диалог «Лелий» был

¹ Cic., *Lael.*, 40—43.

² *M. Gelzer. Cicero*, S. 354 (прим. 68).

как бы своеобразным ответом на письмо Матия. Мы не собираемся сейчас сколь-нибудь подробно знакомиться с содержанием писем, коснемся лишь интересующего нас вопроса о дружбе и ее «обязанностях».

Переписка открывается письмом Цицерона. В нем главное внимание уделено отношению Матия к Цезарю. Цицерон считает его политически ошибочным, неправильным, поскольку Цезарь был тираном, «царем» (гех), а Матий неумеренно скорбит по поводу его гибели. «Свободу родины следует предпочитать жизни друга» — так формулируется основное и принципиальное положение письма, полностью перекликающееся с аналогичными выводами о «законах» дружбы в «Леллии»¹.

Что касается ответного письма Матия, то в нем Матий стремится объяснить и оправдать свое поведение после смерти Цезаря. Он довольно иронически относится к положению «Отечество следует предпочитать дружбе» и говорит, что, во-первых, не доказана польза смерти Цезаря для государства, а затем он сам не достиг еще той степени мудрости, дабы понимать и принимать подобные утверждения². Уже в этом заключается коренное расхождение с Цицероном и совершенно иное понимание существа и «законов» дружбы.

И действительно, Матий в последней части своего письма, переходя от защиты к наступлению, развивает — наряду с апологией Цезаря — концепцию «чистой дружбы». Для Матия «дружба» и «политика» — явления разных плоскостей, и эти плоскости отнюдь не должны перекрещиваться. Тем самым испытание дружбы критерием интересов государства начисто отвергается, и, следовательно, вся концепция «обязанностей» дружбы, ее основных «законов» в том виде, в каком она выступает у Цицерона, сводится на нет.

Таковы два противоположных, по существу взаимоисключающих понимания сущности и задач дружбы. Конечно, это не только два полярных воззрения, но и две совершенно различные идеологические сферы: в случае Матия — эллинистический мир со столь характерным для него индивидуализмом (и даже аполитизмом!), в случае Цицерона — среда римской

¹ *Cic.*, *fam.*, 11, 27, 8; ср. *Lael.*, 40; 43.

² *Cic.*, *fam.*, 11, 28, 2.

аристократии, тесно связанной с традициями и нравственными ценностями сенатской республики.

Перейдем, наконец, к последним философским трактатам Цицерона. Два небольших произведения — «О предвидении» и «О судьбе» — близко примыкают друг к другу, как и к предыдущему трактату — «О природе богов». Эти три сочинения образуют как бы философско-теологический комплекс. Что касается времени написания этих трактатов, то оба они, вероятно, завершены после смерти Цезаря (весна — лето 44 г.).

Диалог «О предвидении» состоит из двух книг; его участники: сам Цицерон и брат Цицерона Квинт. Место действия — тускульская вилла, время совпадает со временем написания диалога (т. е. тот же 44 г.). Источники — Посидоний (для первой книги) и, видимо, Клитомах (для второй книги), поскольку от самого Карнеада, под несомненным влиянием которого находился Цицерон, никакого письменного наследства не сохранилось.

Диалог построен таким образом, что в первой книге Квинт Цицерон излагает с позиций стоического учения основные доводы, доказывающие возможность предвидения; во второй книге его старший брат опровергает эти доводы уже с точки зрения сторонника новой Академии. Обсуждение проблемы в целом разворачивается на протяжении одного дня. Бросается в глаза то обстоятельство, что если вторая книга диалога производит впечатление вполне обработанной и построенной по определенному плану, то книга первая представляет собой скорее собранный, но почти не обработанный материал¹. Второй книге предшествует введение, имеющее для нас ту бесспорную ценность, что в нем Цицерон сам перечисляет все свои философские работы.

Основная тема диалога — вопрос о предвидении не раз затрагивался уже в более раннем произведении Цицерона — в трактате «О природе богов». Если стоики, исходя из возможности предвидения, доказывали существование богов, то Квинт Цицерон теперь поступает наоборот: он говорит, что если существуют боги, то должно существовать и предвидение, предска-

¹ W. Süß. Cicero, S. 122.

знание будущего, ибо в этом проявляется забота богов о людях¹. Он различает две формы предвидения: натуральную, т. е. предчувствия, пророческое озарение, сны, и искусственную, т. е. учение авгуров, гаруспиков и т. п. Он напоминает брату о разных случаях, когда они оба были свидетелями тех или иных предзнаменований, и утверждает, что тот, кто не верит в предвидение, тот вообще сомневается во всемогуществе и всеведении богов².

Затем возможность предвидения зиждется на том, что существует строгая причинная обусловленность всех явлений и событий, и если бы нашелся такой смертный, который мог бы окинуть одним взглядом всю цепь причин, то он мог бы знать и будущее. Но на это способны лишь боги, а человек должен довольствоваться отдельными намеками и предзнаменованиями³. И наконец, предвидение основывается на самой природе, вернее, на той таинственной силе, которая пронизывает все мироздание и служит как бы всеобщей связью⁴. Такова в основном аргументация Квинта Цицерона, кстати сказать, обильно снабженная примерами из истории и цитатами из римских поэтов (главным образом Энния).

Во второй книге Марк Цицерон начинает опровержение этой аргументации с перечисления тех областей человеческого знания и деятельности — чувственного мира, искусства, философии, управления государством, — где предсказание и предвидение неприменимы, а заключает свою речь тем, что не знает ни одной области или сферы, где их следовало бы применять⁵.

Да и всегда ли стоит стремиться к тому, чтобы знать будущее? Если это будущее ничего хорошего не сулит, то предвидение вредно, ибо оно ведь не может отратить того, что предопределено. Какова была бы жизнь Красса, Помпея, Цезаря, если бы они в момент расцвета своего могущества уже знали, какой конец ожидает каждого из них? И что это могло бы изменить?⁶

¹ *Cic.*, *div.*, 1, 9.

² *Cic.*, *div.*, 1, 82 sqq.

³ *Cic.*, *div.*, 1, 127.

⁴ *Cic.*, *div.*, 1, 118; 129 sqq.

⁵ *Cic.*, *div.*, 2, 12.

⁶ *Cic.*, *div.*, 2, 22—24.

С другой стороны, если речь идет о случайных событиях, то, конечно, нет места ни предчувствиям, ни предсказаниям. Ибо если события на самом деле случайны, то они не могут быть известны заранее, если же они в той или иной форме становятся известны, то, следовательно, они уже не случайны. Таким образом, предвидение, если говорить по существу, невозможно в обоих случаях: и когда события случайны, и когда они predeterminedены¹. В заключение диалога Цицерон резко осуждает суеверие как людскую слабость и положительно отзывается о Карнеаде, который фактически выступил против претензий стоиков считать только себя истинными философами².

Диалог «О судьбе», завершающий теологическую «триаду» Цицерона, был написан также летом 44 г. Действие диалога происходит в путеольском имении Цицерона; в беседе принимает участие Гирций (который на самом деле гостил этим летом у Цицерона и даже брал у него уроки красноречия). Диалог, к сожалению, сохранился не полностью: в начале имеется большая лакуна, не дошла до нас и заключительная часть сочинения. Вопрос об источниках неясен: высказывались соображения в пользу Клитомаха и Антиоха Аскалонского.

Центральная проблема диалога — свобода воли. Насколько все то, что делает человек, predeterminedено судьбой, роком, насколько человек, следовательно, ответствен за свои действия и поступки? Насколько он свободен в них? Цицерон выступает здесь с критикой одного из основателей стоицизма, Хрисиппа, а затем и Посидония, которые говорили о судьбе и predeterminedении, выводя действие этих сил из той всеобщей связи или «симпатии» (термин самих стоиков!), которая пронизывает якобы все мироздание. Цицерон, следуя за Карнеадом, отстаивает свободу воли³.

Существует бесспорное различие между причинами, возникающими случайно, и причинами, которые основаны на действительных силах природы. Если все в мире обусловлено необходимостью и «симпатией», тогда от нас абсолютно ничего не зависит и никакой свободы

¹ *Cic.*, *div.*, 2, 15; 25.

² *Cic.*, *div.*, 2, 150.

³ *Cic.*, *fat.*, 13; 17.

воли не существует. Но в таком случае нет ни хвалы, ни порицания, ни почестей, ни наказаний. Поскольку это означало бы торжество порока, что допустить немислимо, то с большой долей вероятия можно утверждать, что отнюдь не все предопределено роком¹. Таким образом, свобода воли доказывается Цицероном с помощью категории вероятия (пробабелизм новой Академии!) и довольно элементарного набора морально-этических категорий.

Последнее крупное философское произведение Цицерона — трактат «Об обязанностях» — заслуживает более подробного разбора. Он представляет для нас особый интерес прежде всего своей ярко выраженной социально-политической направленностью.

Точная датировка окончания работы над этим сочинением едва ли возможна. Первые две книги трактата, как об этом свидетельствует сам Цицерон в одном из писем Аттику², были закончены в начале ноября 44 г. В этом же письме говорится о том, что Цицерон выписал себе сочинения Посидония (или извлечения из них!), необходимые ему для работы над третьей книгой своего трактата. А еще через некоторое время он снова сообщает Аттику, что получил столь нужные ему и вполне его удовлетворяющие «выписки»³. Следовательно, можно предположить, что работа над трактатом была завершена в самые последние дни 44 г.

Некоторая особенность этого произведения Цицерона заключается в том, что оно написано в форме наставления сыну, которому оно и посвящено и который в то время находился еще в Афинах, продолжая посещать лекции философов и раторов, т. е. заканчивал свое «высшее образование». Кстати сказать, жанр, избранный на сей раз Цицероном, в римской литературе не нов: с письменными наставлениями к сыну обращался в свое время один из излюбленных героев Цицерона, главное действующее лицо его диалога о старости — Катон Цензор. Однако избранный жанр все же предопределил некоторую специфику трактата. Содержание его весьма разнородно: это и моральные

¹ *Cic., fat.*, 40.

² *Cic., Att.*, 16, 11, 4.

³ *Cic., Att.*, 16, 14, 3.

предписания, и политические «отступления», и исторические примеры, и юридические казусы. В какой-то мере это набор правил и норм поведения, ориентированный на честного, «порядочного» человека, на «идеального гражданина» (*vir bonus*). Основой и «фоном» всех этих правил служат некоторые общие моральные критерии, трактуемые преимущественно — но все же не полностью! — в духе стоической философии.

Структура трактата в целом такова. В первой книге анализируется понятие нравственно-прекрасного (*honestum*), во второй — обсуждается вопрос о полезном (*utile*) и в третьей — о конфликте нравственно-прекрасного с полезным, в результате которого всегда должно торжествовать нравственно-прекрасное.

По поводу источников трактата следует сказать, что вопрос этот не так прост, как может показаться с первого взгляда. Дело в том, что упомянутое выше письмо Аттику, да и неоднократные ссылки самого Цицерона совершенно ясно указывают два основных источника: для книг первой и второй — Панетий, для книги третьей — Посидоний. Но можно ли ограничиться только этими, так сказать, лежащими на поверхности, источниками?

Некоторые сомнения могут быть высказаны априорно. Неужели Цицерон в данном случае «изменил» новой Академии и целиком «перешел на сторону» стоиков? Это на самом деле маловероятно, и не только по причине «измены» Академии, но и из-за измены принятому во всех остальных трактатах самому методу философского рассуждения. Этот метод можно определить как эклектический в том смысле, что Цицерон в целом ряде случаев вполне сознательно стремится объединить взгляды представителей различных школ и таким путем, как он сам это понимал, избежать догматизма¹, говоря «за» и «против» каждого сюжета. Уже в одном этом нельзя не видеть влияния поздней Академии как на общие воззрения, так и на метод Цицерона.

Но помимо этих предположений можно опереться и на более конкретные высказывания самого автора. На первых же страницах своего произведения Цицерон заявляет, что будет следовать преимущественно

¹ *Cic.*, *off.*, 2, 7—8.

(а не целиком!) стойкам, но не как переводчик, а по своему обыкновению, т. е. выбирая из источников только то, что, с его точки зрения, представляет наибольший интерес¹. И при дальнейших ссылках он не забывает подчеркнуть, что примыкает к Панетию «во многом» или следует «преимущественно», но внося некоторые коррективы², и таким образом сам намекает на то, что Панетий если и был основным, то все же не единственным источником. Есть основание считать, что в первых двух книгах трактата наряду с учением Панетия использован еще круг идей, характерных для новой Академии, и в частности для такого ее представителя, как Антиох Аскалонский.

В основе учения Цицерона об обязанностях «идеального гражданина» (*vir bonus*) лежит представление о высшем благе как о нравственно-прекрасном (греческий термин — *kalon* в переводе Цицерона — *honestum*). В самом начале своего трактата Цицерон подчеркивает, что любая область жизни и деятельности подразумевает свои обязанности, в исполнении которых и состоит нравственный смысл всей жизни. Затем идет полемика с теми, кто считает, что высшее благо не имеет ничего общего с добродетелью, и потому измеряет все своими удобствами, а не моральным критерием. На такой основе невозможно создать учение об обязанностях; это способны сделать лишь те, которые находят, что только нравственно-прекрасное должно быть предметом наших стремлений, или те, которые находят, что оно должно быть целью наших стремлений хотя бы по преимуществу³. На этом примере, кстати сказать, нетрудно проследить перекрещивание влияния Стои и Академии. Те, кто назван в начале (т. е. только *honestas!*), — стойки, те, кто упомянут в конце (т. е. по преимуществу!), — академики, причем буквально несколькими строками ниже Цицерон прямо заявляет, что хоть он и будет в основном следовать стойкам, но имеет в виду также академиков и перипатетиков⁴. Таково рассуждение Цицерона, дающее обоснование ведущему тезису трактата: все

¹ *Cic., off.*, 1, 6.

² *Cic., off.*, 2, 60; 3, 7.

³ *Cic., off.*, 1, 5; 6.

⁴ *Ibidem.*

обязанности должны иметь своим источником стремление к нравственно-прекрасному, к высшему благу.

Ригористическое положение старой Стои гласило: только нравственно-прекрасное есть благо. «Внешних благ» старая Стоя вообще не признавала. Таким образом, только нравственно-прекрасное и соответствующие ему действия — единственное благо, только порок и соответствующие ему действия — единственное зло; все же остальное, что лежит между ними, — безразлично. Благо и порок суть такие качества, которые не имеют степеней и градаций, поэтому их нельзя иметь отчасти, но можно иметь либо вполне, либо вовсе не иметь, т. е. можно быть только добродетельным или только порочным.

Римские представления о «нравственном благе» в отличие от этих ригористических категорий старой Стои развивались в тесной связи с развитием представлений об идеальном гражданине (*vir bonus*), о его фамильных и гражданских качествах, добродетелях, обязанностях. Еще Катон, говоря о предках, рисовал идиллический образ земледельца¹, а Саллюстий считал, что в эпоху расцвета Римской республики граждане соревновались друг с другом не богатством и надежностью, но славными деяниями на пользу отечеству². С древнейших времен и до времени Цицерона общественно-политическая деятельность как необходимая черта облика идеального гражданина оставалась обязательным условием теоретических построений подобного рода. Но так как в Риме признанием, аprobацией этой деятельности со стороны самого общества был «почет» (*honor*), то понятие нравственно-прекрасного, перешедшее из греческих философских систем, превращается на римской почве в *honestum*, что и было, как мы уже убедились, само собой разумеющимся для Цицерона переводом греческого термина.

Другой термин, понятие стоической этики, — «должное» (*katekon*) — Цицерон переводит на латынь словом «обязанность» (*officium*). В письмах к Аттику он говорит: «Не сомневаюсь, что «должное» — это «обязанность», если только ты не предложишь что-нибудь другое, но название «Об обязанностях» — пол-

¹ *Cato, agr.*, 2.

² *Sall., Cat.*, 7, 1—7.

нее». Или: «Для меня нет сомнения, что то, что греки называют «должным», нам следует называть «обязанностью». Подобный перевод Цицерон давал уже и в своих более ранних трактатах¹.

Учение о «должном» свидетельствовало о смягчении ригоризма старой Стои, видимо в связи с приспособлением к задачам прикладной морали. Между идеалом блаженного (мудрец) и порочного человека ставится теперь фигура человека «стремящегося», а между благими действиями и пороком — надлежащий поступок, «должное». Есть основания полагать, что эта тенденция получила наиболее полное развитие у представителей средней (римской) Стои, и в частности в сочинении Панетия «О должном».

Термин *officium*, которым решил воспользоваться Цицерон, имел в Риме практический и вполне конкретный характер. Сам Цицерон тоже отнюдь не понимал его в смысле какого-то общечеловеческого долга. Его больше занимал вопрос, насколько приложим этот термин к государственным обязанностям. «Разве мы не говорим, — обращался он к Аттику в цитированном уже письме, — «обязанность консулов», «обязанность сената», «обязанность императора»? Значит, прекрасно подходит или дай лучше!»² Сочинение же Цицерона «Об обязанностях» имеет в виду в первую очередь обязанности достойного гражданина, полноправного члена римской общины.

Такова интерпретация двух основных понятий интересующего нас трактата: нравственно-прекрасное (*honestum*) и должное, обязанность (*officium*). Каково же соотношение между этими двумя понятиями?

По мнению Цицерона, существуют четыре источника, или четыре «части», того, что считается нравственно-прекрасным. Эти четыре «части» в дальнейшем изложении выступают как четыре основные добродетели стоической этики. Очевидно, Панетий не внес ничего существенно нового в старостойческое учение о добродетелях, и почти в неизменном виде оно перешло в трактат «Об обязанностях». В интерпретации Цицерона эти добродетели выглядят следующим образом: на первом месте стоит познание истины, затем следует

¹ *Cic., Att.*, 16, 11, 4; 14, 31; *cp. fin.*, 3, 20.

² *Cic., Att.*, 16, 14, 3.

как бы «двусторонняя» добродетель — справедливость и благодеяние, затем — величие духа и, наконец, благопристойность. Из каждой основной добродетели вытекают определенные (и сугубо практические!) обязанности. Это и есть обязанности, предписываемые стремлением к высшему благу.

В данном случае нет возможности да и необходимости заниматься подробным анализом всех этих добродетелей. Достаточно остановиться лишь на той, которая представляет для нас наибольший интерес и которую сам Цицерон считает как бы «наиболее широким понятием»¹. Речь идет о «двуединой» добродетели — справедливости и благодеяние — и вытекающих из нее обязанностях гражданина. Интересно отметить, что Цицерон неоднократно подчеркивает социальный характер этой добродетели. Собственно говоря, все пространное рассуждение, ей посвященное, обрамляется высказываниями о ее социальном значении — подобные высказывания и предваряют и заключают рассуждение в целом². Следовательно, обязанности, вытекающие из этой единой добродетели, тоже должны считаться обязанностями социальными.

Чрезвычайно интересно то определение существа справедливости, которое дается Цицероном. «Первое требование справедливости состоит в том, чтобы никто никому не вредил, если только не будет спровоцирован на это несправедливостью, а затем, чтобы все пользовались общей собственностью как общей, а частной — как своей»³. В этом определении наиболее важна, конечно, вторая его часть, где сформулировано отношение Цицерона к проблеме собственности.

Частной собственности от природы не бывает, говорит Цицерон, она возникает либо путем оккупации незаселенных земель, либо вследствие победы на войне, либо благодаря законам, договорам, жеребьевке. Государство и собственность изначально связаны друг с другом, и охрана собственности, как учил еще Панетий, есть причина образования государства. И частная и государственная собственность закрепляются тем или иным историческим актом, приобретающим затем

¹ *Cic., off.*, 1, 20.

² *Cic., off.*, 1, 20; 60.

³ *Cic., off.*, 1, 20.

силу закона. Кто завладевает чужой собственностью, утверждает Цицерон, тот нарушает и оскверняет права человеческого общества¹.

Итак, Цицерон выступает в качестве защитника не только частной, но и государственной собственности. Подобные воззрения — рудимент старой полисной идеологии. «Мы рождены, — говорит он, ссылаясь на Платона, — не только для самих себя, но какую-то часть нас по праву требует отечество, другую часть — друзья. Все, что родит земля, — все это предназначено для пользы людей, люди же в свою очередь тоже рождены для людей, дабы они могли приносить пользу друг другу, поэтому, следуя природе, необходимо трудиться для общего блага, употребляя все силы и способности на то, чтобы теснее связать людей в единое общество»².

Далее Цицерон переходит к рассуждению о двух видах несправедливости. С его точки зрения, существует несправедливость не только тех, кто ее причиняет, но и тех, которые не оказывают помощи потерпевшим несправедливость. Но для борьбы с несправедливостью надо понимать причины зла. Обычно причинами проявления зла и несправедливости бывают страх, жадность к деньгам, честолюбие, жажда славы. Однако забота о своем имуществе, снова подчеркивает Цицерон, если только она не вредит другому, вовсе не порок. Обдуманная несправедливость должна караться более сурово, чем внезапный аффект. Мотивы, мешающие борьбе с несправедливостью, бывают, как правило, узкоэгоистического характера, это — лень, нерадение, боязнь неприятностей, нежелание участвовать в общественной деятельности³. Таким образом, в основе учения Цицерона о справедливости и несправедливости лежит представление о неприкосновенности собственности, и потому первейшая обязанность заключается в ее охране.

Определенный интерес в рассуждениях Цицерона, относящихся к обязанностям, вытекающим из понятия справедливости, представляет раздел трактата, посвященный «военной морали». Основные положения

¹ *Cic.*, *off.*, 1, 21.

² *Ibidem.*

³ *Cic.*, *off.*, 1, 23—29.

Цицерона таковы: война может быть только вынужденным актом и допустима лишь в тех случаях, если переговоры не дают результатов. Причина подобных войн только одна: оборона своего государства, цель же их — прочный мир. В обращении с побежденными следует проявлять человечность, сдавшиеся на милость победителя, безусловно, имеют право на пощаду.

В некотором противоречии с этими высказываниями Цицерон допускает и даже оправдывает (хоть и с оговорками относительно причин) войны, которые ведутся ради укрепления власти и ради славы. Это — следствие убежденности во «всемирно-исторической миссии» Рима¹. Таким образом, вырисовывается новая обязанность, новая черта облика идеального гражданина — обязанность воина, защитника могущества римского государства. А если учесть, что наряду с этим превозносится мирная жизнь и занятие сельским хозяйством, причем говорится, что это самое приятное и самое достойное занятие для свободного человека, то возникает давно уже знакомый — со времен Катона Цензора — староримский идеал земледельца и воина.

Рассуждение о справедливости заканчивается упоминанием о рабах, по отношению к которым, по мнению Цицерона, также должна проявляться справедливость. Однако эта справедливость трактуется довольно своеобразно: к рабам следует относиться как к «наемникам», т. е. требовать от них работы и предоставлять то, что им полагается². Таким образом, к облику идеального гражданина, к облику земледельца и воина добавляется еще одна необходимая черта — обязанность «справедливого» хозяина, владельца рабов.

Другой «частью», или стороной, основной социальной добродетели следует считать благодеяние, которое можно еще определить как благотворительность или щедрость³. Переходя к рассуждению о благодеянии, Цицерон прежде всего отмечает, что нет ничего более соответствующего человеческой природе, однако применение этой добродетели на практике требует определенной осторожности. Цицерон делает три предубеждения: 1) благодеяние (или щедрость) не должно

¹ *Cic., off.*, 1, 34—38.

² *Cic., off.*, 1, 41.

³ *Cic., off.*, 1, 20.

вредить тому, кому его оказывают, и не идти за счет других; 2) не должно превышать средств самого благодетеля и 3) должно распределяться в соответствии с достоинством того, кто его получает¹.

Все это еще раз напоминает нам, что жизнь наша проходит в обществе. И дальше следует чрезвычайно любопытная оговорка: «Так как мы живем отнюдь не в кругу совершенных людей и мудрецов, но среди тех, относительно которых ясно, что в них мы находим лишь отражение добродетели, — тем более следует понять, что нельзя пренебрегать никем, в ком обнаруживается хоть какой-то признак этой добродетели»².

После этого Цицерон приступает к развитию затронутой выше мысли: жизнь наша проходит в обществе. Подчеркивается, что общество связывает людей союзом, разумом и языком, чем они и отличаются от зверей. Человек обязан помогать человеку, но средства отдельных лиц невелики, и поэтому необходима градация благотворительной деятельности. Она должна быть установлена в соответствии с существующими степенями общности людей. Таких степеней несколько. Не говоря уже о понятии человечества в целом, можно указать на такие все более тесные связи: общность племени, происхождения, языка, затем — гражданской общины. Еще более тесной связью следует считать семью. Это — первоначальная ячейка общества, и из нее вырастает государство. Тезис о развитии государства из семьи был со времен Аристотеля *locus classicus*, и Цицерон также представляет себе государство как некий естественно развившийся организм³.

После этого Цицерон подходит к центральной части своего рассуждения о благодеянии. Он устанавливает теперь градацию обязанностей в зависимости от различных форм или «степеней» человеческой общности. «Из всех общественных связей, — говорит он, — нет более важной и более дорогой, чем та, которая существует у каждого из нас с государством. Дороги родители, дороги дети, родственники и близкие друзья, но все привязанности всех людей охватывает собой

¹ *Cic., off.*, 1, 42—43.

² *Cic., off.*, 1, 46.

³ *Cic., off.*, 1, 50—53; ср. 3, 22.

одно только отечество, за которое какой добрый гражданин усомнится подвергнуться даже смерти, если она пойдет отечеству на пользу?» И здесь же приводится некая шкала этих обязанностей, расположенных по их значимости: на первом месте стоят обязанности по отношению к отечеству и родителям, затем — к детям, семье и, наконец, к родственникам и друзьям¹. Так к характерным чертам идеального гражданина прибавляется еще одна, и, пожалуй, наиболее специфически римская: обязанности перед государством. Кстати сказать, утверждение Цицерона о том, что мы живем не среди мудрецов и совершенных людей, а потому должны ценить имеющих более скромные достоинства, гораздо ближе к академической системе, ко взглядам Антиоха, чем к ригористическим установкам стойков, даже в их смягченном варианте (римская Стоя).

Таковы основные наблюдения, которые могут быть сделаны в отношении облика «идеального гражданина» (*vir bonus*) на основании рассуждений Цицерона о двуединой «социальной добродетели» — справедливости и благодетелии. Что касается анализа других кардинальных добродетелей, то выводимые из них Цицероном обязанности относятся скорее к его представлениям об облике государственного деятеля, руководителя государства. Равным образом анализ второй книги трактата ничего не может, на наш взгляд, прибавить принципиально нового к общему облику, к характерным чертам и обязанностям «идеального гражданина». Если первая книга трактата посвящена определению нравственных норм и вытекающих из них обязанностей, то во второй книге речь идет о практическом применении этих норм, т. е. о применении их в сфере «полезного». При этом Цицерон считает, что противопоставление «нравственно-прекрасного» и «полезного» (*honestum — utile*) есть величайшее заблуждение. Отсюда вывод: «что нравственно-прекрасно, то тем самым уже и полезно», вывод, подсказанный новой Академией; в дальнейшем это подчеркивается самим Цицероном². Таким же путем вся деятельность в сфере полезного «увязывается» с основными добро-

¹ *Cic.*, *off.*, 1, 57—58.

² *Cic.*, *off.*, 2, 10; 3, 20.

детелями, определенными в первой книге, например: «Кто захочет снискать истинную славу справедливого человека, тот должен выполнять обязанности, налагаемые справедливостью». И тут же разъяснено: «Каковы они — было сказано в предыдущей книге»¹.

В заключение — очень коротко о политической тенденции трактата. Об этом уже было упомянуто выше. Мы имеем все основания констатировать резко анти-цезарианскую направленность трактата, причем речь идет не только о личности самого Цезаря, но и о всем его окружении, о всем цезарианском лагере. Так, например, уже в начале трактата говорится о том, что слова Энния «Нет священной общности, нет и верности при царской власти» прекрасно подтверждены примером Цезаря, который ради власти и славы безрассудно «преступил все божеские и человеческие права»². Его благотворительность и щедрость — как и Суллы — не может быть названа ни истинной, ни справедливой, ибо, награждая деньгами и имуществом одних, они оба отнимали все это у других, причем как раз у законных владельцев³.

Во второй книге положение римского государства при Цезаре рисуется самыми мрачными красками, он сам постоянно именуется тираном, поправшим и законы и свободу, гибель его вполне заслуженна, в некотором отношении он даже хуже Суллы, ибо вел войну по недопустимой причине, а после своей отвратительной победы не только лишал имущества отдельных граждан, но и целые общины. Вот почему если и сохранились еще стены Великого Города, то государство (*res publica*) было утрачено полностью⁴.

А раз государство погибло, перестало существовать, то уже нет места ни праву, ни красноречию, нет возможности принимать участие в общественной жизни. Именно по этим причинам и пришлось автору трактата — дабы не предаться тоске и отчаянию — заняться философскими трудами⁵.

Крайне резко осуждает Цицерон и программу популяров — с его точки зрения, конечно, не «истинных»! —

¹ *Cic.*, *off.*, 2, 43.

² *Cic.*, *off.*, 1, 26.

³ *Cic.*, *off.*, 1, 43.

⁴ *Cic.*, *off.*, 2, 26—29.

⁵ *Cic.*, *off.*, 2, 2—4; 65—67.

вождем которых совсем недавно выступал Цезарь. Программа и тактика популяров подорвали основы государства, так, например, землевладельцы несправедливо сгонялись со своих земель, особенно же нетерпимы были все попытки разрешить долговую проблему путем кассации долгов (*tabulae novae*)¹.

В третьей книге снова повторяются утверждения о гибели государства, уничтожении сената и правосудия; здесь, кстати, Цицерон объясняет своим вынужденным досугом тот факт, что он написал именно в это время большое количество философских трудов². Снова оправдывается и даже признается не противоречащим нравственно-прекрасному убийство тирана³ и, наконец, говорится: «Вот перед тобой человек, страстно пожелавший стать царем римского народа и властелином над всеми племенами и достигший этого! Если кто-нибудь говорит, что это страстное желание прекрасно в нравственном отношении, то он безумен, ибо не только одобряет уничтожение законов и свободы, но считает достойным хвалы их отвратительное изничтожение. Если же кто-нибудь заявляет, что в государстве, которое должно быть свободным, стать царем дурно в нравственном отношении, но полезно тому, кто это осуществит, то каким же порицанием рассеять такое глубокое заблуждение?»⁴ И, заключая это свое суждение, которое должно доказать единство нравственно-прекрасного и полезного, Цицерон именует незаконный захват царской власти, т. е. тиранию, «убийством отечества»⁵.

Из всего сказанного ясно, насколько отрицательно относился Цицерон к Цезарю и установленному им политическому режиму. Вот почему, желая, хотя бы в принципе, в «теории», нечто противопоставить той исторической действительности, которую он не хотел и не мог принять, Цицерон и создает в своем трактате идеализированный образ римского гражданина (*vir bonus*), образ, выступающий в качестве главной, «ведущей» идеи всего произведения.

¹ *Cic.*, off., 2, 78; 84.

² *Cic.*, off., 3, 2—4.

³ *Cic.*, off., 3, 19; ср. 3, 90.

⁴ *Cic.*, off., 3, 83.

⁵ *Ibidem*.

* * *

На заседании сената 1 сентября 44 г. по предложению Антония было принято решение, идущее уже в русле не просто почитания, но скорее обожествления Цезаря: ко всем празднествам и молебствиям прибавлялось по одному дню специально в честь Цезаря. Цицерон, который именно к этому заседанию прибыл в Рим, тем не менее почел за благо уклониться и в сенате не присутствовать (видимо, считая оппозицию внесенному предложению небезопасной). Он с утра известил Антония о своем намерении, сославшись на усталость после поездки и недомогание. Однако Антоний воспринял этот поступок как личное оскорбление и публично заявил, что заставит привести Цицерона силой или прикажет разрушить его дом. Но конечно, он не привел своей угрозы в исполнение, хотя подобное заявление уже само по себе было равносильно объявлению открытых враждебных действий.

В ответ на этот выпад Цицерон на следующий день явился в сенат и в отсутствие Антония выступил против него с речью. Это была первая из его знаменитых речей, произнесенных в ходе борьбы с Антонием, которые он сам назвал Филиппиками, по образцу речей Демосфена против Филиппа Македонского¹.

Первая речь против Антония была еще весьма сдержанной. Цицерон занял пока довольно осторожную и выжидательную позицию. Начало речи он посвятил объяснению своего поведения: изложил причины, побуждавшие его уехать из Италии, а также причины, в результате которых он изменил это решение². Затем, заявив о том, что во имя мира и спокойствия он предлагает сохранять в силе распоряжения Цезаря, подразумевая под ними те законы, которые Цезарь еще успел провести при жизни, он доказывал, что проекты новых законов, предлагаемые Антонием, противоречат этим прежним Цезаревым распоряжениям. Речь шла в данном случае о намерении Антония внести определенные изменения в судебную практику

¹ *Plut.*, *Cic.*, 48; *App.*, b. c., 4, 20.

² *Cic.*, *Phil.*, 1, 6—11.

(в частности, разрешить осужденным за государственные преступления обращаться к народному собранию как высшей инстанции)¹.

После этого своего выступления Цицерон снова уехал из Рима (в свою усадьбу в Путеолах). Антоний же назначает на 19 сентября новое заседание сената, на котором и выступает с большой, тщательно подготовленной речью, направленной прямо и резко против Цицерона. Он обвиняет его в том, что Цицерон в свое время вынудил сенат к вынесению противозаконных смертных приговоров, что он был подстрекателем убийства Клодия, что он поссорил Помпея с Цезарем и, наконец, самое главное обвинение — что он был идейным вдохновителем убийства Цезаря². Обвинения были далеко не шуточными: ставилась под сомнение вся политическая репутация Цицерона. Было ясно, что начинается борьба не на жизнь, а на смерть.

Цицерон отвечал на это выступление Антония новой речью (вторая Филиппика), которая построена так, будто она произносилась непосредственно вслед за Антонием; на самом же деле это был написанный в путеольской вилле — не ранее конца октября — политический памфлет. Письмо Аттику, в котором обсуждаются отдельные и довольно острые места этой речи, свидетельствует о том, насколько тщательно работал Цицерон над отделкой этого памфлета³.

Вторая Филиппика — типичная для римских политических нравов инвектива. Цицерон здесь уже не стесняется в выражениях и широко пользуется, как это было принято в те времена, обвинениями сугубо личного характера. Он обвиняет Марка Антония в пьянстве и разврате, называет его негодяем, наглецом, глупцом и даже трусом. Нередки обращения и эпитеты такого рода: «Проспись, и выдохни винные пары», «Ты был шлюхой, доступной всем», «О, нестерпимое бесстыдство, ничтожность и гнусность этого человека»⁴. Перед нами уже знакомый, можно сказать стандартный, набор обвинений, использован-

¹ *Cic.*, *Phil.*, 1, 40—21.

² *Cic.*, *Phil.*, 2, 16—28.

³ *Cic.*, *Att.*, 16, 11, 1—2.

⁴ *Cic.*, *Phil.*, 2, 15; 30; 44, *passim*.

ных в свое время как против Катилины, так и против Клодия.

По содержанию эта инвектива построена в основном на опровержении тех обвинений, которые были выдвинуты Антонием в его сенатской речи 19 сентября, и на встречных обвинениях самого Цицерона. Он грозит Антонию судьбой Катилины и Клодия, он уверяет, что Антоний, подобно Цезарю, который, кстати, намного превосходил его во всех отношениях, погибнет смертью, подобающей тиранам¹.

Отвечая на обвинение в подстрекательстве убийства Клодия, Цицерон вспоминает, как Антоний сам преследовал Клодия с мечом в руках и только по случайности не убил его². Отвечая же на аналогичное обвинение по отношению к Цезарю, Цицерон снова сам нападает на Антония и доказывает, что тот еще в 45 г. знал о готовящемся покушении на жизнь диктатора, а перед отъездом Цезаря в Испанию даже подослал к нему наемного убийцу³. В заключение своего памфлета Цицерон заявляет, что он готов пожертвовать жизнью ради блага государства. «Я защитил государство, — говорит он, — будучи молод, не покину его и стариком. С презрением отнесся я к мечам Катилины, не испугаюсь и твоих!»⁴

В первых двух Филиппиках еще нет призыва к вооруженной борьбе, нет в них и упоминаний об Октавиане, но в ближайшее же время оба этих фактора, т. е. неизбежность гражданской войны и роль Октавиана как основной фигуры, которая может быть противопоставлена Антонию в этой войне, становятся «ведущими» идеями всех действий и всех выступлений Цицерона в этот переломный период.

Ситуация в Риме осенью 44 г. была примерно следующей. Антоний, опираясь на крупный отряд (6000 человек) своей личной охраны, ожидал, кроме того, прибытия македонских легионов, причем уже открыто заявлял, что он собирается использовать все эти войска в качестве своей основной опоры и защиты по истечении срока консулата. Октавиан, со своей

¹ *Cic.*, *Phil.*, 2, 114—117.

² *Cic.*, *Phil.*, 2, 21; ср. *Mil.*, 40.

³ *Cic.*, *Phil.*, 2, 34; 74.

⁴ *Cic.*, *Phil.*, 2, 118—119.

стороны понимая неизбежность вооруженной борьбы, направился в Кампанию, где были расселены ветераны Цезаря (главным образом 7-й и 8-й легионы), с целью их вербовки в свои отряды. Так как каждому, кто желал вступить в эти войска, сразу же выплачивалась круглая сумма в 2000 сестерциев, то Октавиану в весьма короткий срок удалось набрать 10 000 добровольцев-«сверхсрочников», с которыми он и направился в Рим еще до возвращения туда Антония.

Именно в это время Октавиан обратился с письмом к Цицерону, извещая его о своих планах, о желании возглавить военные действия против Антония и прося о тайной встрече в Капуе либо вблизи нее. Октавиан просил также совета: занимать ли ему своими войсками Капую, перерезав таким образом путь Антонию, или двигаться на Рим? Цицерон на просьбу о свидании ответил отказом, считая, что такая встреча не может остаться в тайне, но зато дал совет идти к Риму¹.

Вняв этому совету, Октавиан продолжал обращаться к Цицерону с письмами, уговаривая его теперь прибыть в Рим и рассчитывая на его поддержку в сенате. Цицерон же продолжал колебаться: он считал, что Антоний силен, а сенат запуган, он не доверял молодости Октавиана, не был уверен в его конечных целях и намерениях, но «замысел мальчишки» ему все больше и больше нравился². В конечном счете все эти колебания Цицерона окончились тем, что он возвращается в Рим и в блоке с Октавианом начинает свою последнюю борьбу — борьбу за республику.

Обычно считается, что Цицерон, как всегда в политике весьма недальновидный, оказался лишь жалким орудием в руках Октавиана, который использовал его в своих целях и затем, не дрогнув, отбросил. Но нечто подобное всегда говорят про побежденных. Такая оценка возникла еще в самой древности. Например, Плутарх писал о Цицероне следующее: «Он, старик, дал провести себя мальчишке — просил за него народ, расположил в его пользу сенаторов. Друзья бранили и осуждали его еще тогда же, а вско-

¹ *Cic., Att.*, 16, 8, 1—2.

² *Cic., Att.*, 16, 9.

ре он и сам почувствовал, что погубил себя и предал свободу римского народа»¹.

Однако подобная уничижительная оценка на сей раз абсолютно несправедлива. Цицерон в этой своей последней борьбе выступил, наоборот, как опытный и зрелый политик. Что означал блок с Октавианом? Это была попытка — чрезвычайно перспективная в той обстановке — добиться раскола в лагере цезарианцев, более того, создать блок самих цезарианцев против нового тирана. На кого можно было делать ставку в этой ситуации? Кто мог возглавить эту отнюдь уже не «словесную», но вооруженную борьбу? Брут и Кассий находились вне Италии, консулы Гирций и Панса, избранные на 43 г., а также некоторые сенаторы могли, несомненно, войти в состав политической оппозиции, однако нужен был еще и вождь, причем вождь не только политический, но и военный. На роль вождя политического претендовал, конечно, сам Цицерон, что касается военного вождя, то в данной ситуации Октавиан был вообще единственной реальной (и приемлемой) фигурой.

Цицерон после смерти Цезаря поддерживал довольно близкие отношения с Гирцием и Пансой, которые хоть и были цезарианцами, но теперь, задетые и оскорбленные деспотическими замашками Антония, вполне могли составить ядро сенатской оппозиции. Цицерон обещал им свою безусловную поддержку в сенате с 1 января, т. е. с момента вступления их в свои обязанности. Он знал также, что многие сенаторы, бывшие доверенные люди и сторонники Цезаря, не говоря уже о его врагах, резко осуждают как политику, так и поведение Антония. Короче говоря, существовала вполне реальная возможность создать в сенате достаточно мощную оппозицию новому тирану и возглавить ее.

Но Цицерон теперь понимал — в этом и состоит приобретенный им политический опыт, его зрелость как политика, — что одной сенатской оппозиции недостаточно. Он отказывается от прежних иллюзий, он не рассчитывает больше на приоритет «тоги»; во второй своей речи он прямо говорит, что тога ныне

¹ *Plut., Cic.*, 46.

«склонилась» перед мечом Антония¹. И поэтому в данной ситуации он уже не считает возможным компромисс, примирение, наоборот, предвидит неизбежность гражданской войны и идет ей навстречу. Но если так, то силе должна быть противопоставлена сила, а войску — войско.

Цицерона упрекали в древности еще и в том, что эту последнюю борьбу он вел не столько за республику, сколько против Антония. Тот же Плутарх упоминает о подобных упреках современников: «По сути вещей Цицерона сблизила с молодым Цезарем прежде всего ненависть к Антонию, а затем собственная натура, столь жадная до почестей. Он твердо рассчитывал присоединить к своему опыту государственного мужа силу Цезаря, ибо юноша заискивал перед ним настолько откровенно, что даже называл отцом. Брут в полном негодовании писал Аттику, что Цицерон угождает Цезарю единственно из страха перед Антонием, а стало быть, ищет не свободы для отечества, а доброго господина для себя»².

Но ведь это тоже была тактика, и, кстати, тактика правильная! Задача восстановления республики была конечной или дальнейшей целью, ближайшей же — борьба с тираном и смертельным врагом. Всякая иная попытка решить конечную задачу оказалась бы утопичной и потому заранее обреченной на провал. Надо было во что бы то ни стало разгромить врага, представлявшего наибольшую угрозу, а для этого прежде всего его следовало изолировать, противопоставить ему все, что только можно: сенат, войско, политических врагов, наконец, даже сторонников. Цицерон это давно понял: вот почему еще в июне 44 г. он писал Аттику о том, что к Октавиану хоть и следует относиться крайне осторожно, но все же его «следует вскармливать и, самое главное, отрывать от Антония»³. Осенью того же года в другом письме Аттику он проявляет полное понимание того обстоятельства, что в случае победы Октавиана положение «республиканцев», и в частности Брута, окажется весьма неблагоприятным, но если говорить об Антонии, то он

¹ *Cic., Phil.*, 2, 20.

² *Plut., Cic.*, 45.

³ *Cic., Att.*, 15, 12, 2.

в случае успеха будет просто «невыносим»¹. Итак, из двух зол нужно выбирать меньшее. Все это подсказывает один вывод: начиная борьбу с Антонием, Цицерон имел на сей раз продуманный и, пожалуй, наиболее реальный из всех возможных план этой борьбы.

В третьей и четвертой Филиппиках Цицерон уже выступает как вдохновитель гражданской войны. Собственно говоря, именно с этого времени (т. е. с января по апрель 43 г., вплоть до чествования Цицерона на Капитолии) начинается кульминационный момент его «борьбы за республику». «Никогда сила и могущество Цицерона, — писал Плутарх, — не были так велики, как в то время. Распоряжаясь делами по собственному усмотрению, он изгнал из Рима Антония, выслал против него войско во главе с двумя консулами, Гирцием и Пансой, и убедил сенат облечь Цезаря, который, дескать, защищает отечество от врагов, всеми знаками преторского достоинства, не исключая и ликторской свиты»².

Гражданская война, строго говоря, началась уже в декабре 44 г., когда стал известен эдикт Децима Брута, в котором сообщалось, что он не намерен свою провинцию, т. е. Цизальпийскую Галлию, передавать Антонию, но сохраняет за собой управление ею, подчиняясь всем распоряжениям сената. Тогда Антоний двинул набранные им войска на север Италии, в Армин, дабы овладеть Галлией. Правда, из четырех легионов, которые прибыли к нему из Македонии, два перешли на сторону Октавиана, но все же у него были еще четыре легиона, не считая вспомогательных войск и личной охраны³. Узнав о движении Антония, Децим Брут занял богатый и хорошо снабженный продовольствием город Мутину и приготовился к долговременной осаде.

20 декабря 44 г. на заседании сената, где обсуждался вопрос об охране для новоизбранных консулов, а также был оглашен эдикт Брута, Цицерон выступил с третьей Филиппикой. В этой речи он заявил, что Антоний фактически уже начал нечестивую, незаконную войну, что он угрожает отеческим алтарям

¹ *Cic., Att.*, 16, 14, 1.

² *Plut., Cic.*, 45. Цезарем здесь Плутарх именует Октавиана.

³ *App.*, b. c., 3, 46.

и очагам, что он уже пролил кровь римских граждан и потому следует поспешить с организацией ответных действий. Борьба, которую вели до сих пор против Антония по собственной инициативе молодой Цезарь и Децим Брут, должна как можно скорее получить санкцию сената. Набор ветеранов Октавианом спас сенат, да и государство в целом от Антония; легионы, перешедшие на сторону Октавиана, должны быть вознаграждены¹.

В тот же день Цицерон выступил на многолюдной народной сходке (четвертая Филиппика), причем в своей речи сравнивал Антония со Спартаксом и Катилиной². И хотя ему накануне в сенате не удалось добиться того, чтобы Антоний был объявлен врагом народа, свое выступление на сходке он начал именно с того, что сенат если не на словах, то на деле признал его таковым³.

С 1 января 43 г. начинается длительный этап внутренней борьбы в сенате, который сначала предшествует, а затем разворачивается параллельно с ходом военных действий. Несомненно, руководящая роль в этой борьбе принадлежала Цицерону. В одном из писем, написанном в начале года, он говорит: «Я, как только представился случай, защитил дело государства по своему прежнему способу и объявил себя главой перед сенатом и римским народом»⁴, а в другом письме этого же времени заявляет: «Ко мне вернулось мое былое присутствие духа»⁵.

Тем не менее ситуация была для него вовсе не легкой. Хотя значительная часть сенаторов и поддерживала Цицерона, но поддерживала нерешительно, стремясь по возможности избегать крайних мер. Тяготы и опасности новой войны страшили почти всех. Кроме того, в сенате существовала группа явных сторонников Антония, не считавших его — и не без оснований — инициатором военных действий.

Вот почему после длительных споров и дебатов (заседание сената длилось фактически три дня) прошло предложение направить к Антонию делегацию для

¹ *Cic.*, *Phil.*, 3, 1—7; 12.

² *Cic.*, *Phil.*, 4, 15.

³ *Cic.*, *Phil.*, 4, 1; 5.

⁴ *Cic.*, *fam.*, 12, 24, 2.

⁵ *Cic.*, *fam.*, 10, 28, 1.

переговоров. Цицерон снова пытался добиться объявления Антония врагом народа (пятая Филиппика), перечисляя все его преступления. И снова успеха не имел. Но зато признавались заслуги Децима Брута перед государством и одобрялось его сопротивление Антонию, а что касается Октавиана, то он был принят в сенат и получил право в качестве пропретора командовать войсками. Кроме того, ему было разрешено на десять лет раньше полагающегося срока добиваться высших магистратур¹.

За то время, пока посольство отсутствовало, Цицерон произнес еще две речи (шестая и седьмая Филиппики), в которых хоть и не отрицал необходимости ожидать возвращения посольства, но больших надежд на его успех не возлагал и потому не переставал агитировать за войну и за более активную подготовку к военным действиям. Мир с Антонием, не уставал подчеркивать Цицерон, невозможен, он — непримиримый враг². Вскоре стал известен ответ Антония: он согласен оставить Цизальпийскую Галлию только в том случае, если ему будет предоставлена на пять лет Галлия Трансальпийская. Кроме того, он настаивал на том, чтобы все проведенные им законы сохраняли полную силу.

Восьмая Филиппика вводит нас в атмосферу дебатов римского сената, развернувшихся вокруг ответа Антония. Цицерон снова настойчиво предлагал объявить Антония врагом народа, а действия его квалифицировать как войну³. Однако было принято предложение Луция Цезаря (дяди Антония), поддержанное консулом Пансой, согласно которому действия Антония определялись как «мятеж». Девятая Филиппика Цицерона была посвящена вопросу о почестях Сульпицию Руфу, одному из членов посольства к Антонию, умершему, так сказать, «на посту», выполняя поручение сената. Цицерон предлагал организовать общественные похороны и воздвигнуть статую умершего⁴.

Вскоре после этих событий в Рим поступают одна за другой две важные новости: во-первых, становится известно, что Марк Юний Брут утвердился в Македо-

¹ *Cic.*, *Phil.*, 5, 16; 18.

² *Cic.*, *Phil.*, 6, 3—9; 7, 7—8; 9—15.

³ *Cic.*, *Phil.*, 8, 1—6.

⁴ *Cic.*, *Phil.*, 9, 15—17.

нии и Иллирике; во-вторых, что Долабелла подверг мучительной казни проконсула Азии Гая Требония (один из заговорщиков). Оба этих известия послужили темой дальнейших выступлений Цицерона в сенате: в десятой Филиппике он восхваляет Брута и предлагает поручить ему и его войскам охрану Македонии, Иллирика и Греции, а в одиннадцатой — клеймит Долабеллу и, поскольку сенат уже признал его врагом государства, предлагает поручить действия против него Кассию как проконсулу Сирии¹. Однако это последнее предложение не было принято.

Между тем военные действия в районе Мутины развивались довольно вяло. Здесь находились сенатские войска под командованием Гирция, здесь же был со своими отрядами и Октавиан. Но они оба избегали каких-либо решительных действий, занимая выжидательную позицию. Антоний же продолжал осаждать Мутину, причем положение Децима Брута становилось все более затруднительным. В этих условиях сенат решил направить новое посольство к Антонию, причем в состав посольства предложено было включить и Цицерона. Не отказываясь прямо от поручения, Цицерон тем не менее в двенадцатой Филиппике привел ряд таких соображений, что вопрос о посольстве вообще отпал².

Антонию было отправлено письмо от имени обоих консулов. Затем Цицерон получил от Гирция копию ответа Антония. Излагая этот ответ в тринадцатой Филиппике, Цицерон использует его как лучшее доказательство и обоснование того, что не в пример предыдущим гражданским войнам никакой мир с Антонием невозможен. Антоний в своем письме утверждает, что власть в Риме и сенате захвачена помпеянами, Гирций и Октавиан вступили в преступную связь с убийцами Цезаря, Долабелла несправедливо объявлен врагом отечества; Децим Брут называется в письме отравителем, а сам Цицерон — ланистой (т. е. «тренером» гладиаторов)³. Пути к примирению были после этого, конечно, отрезаны.

Весной 43 г. начинается оживление военных дей-

¹ *Cic., Phil.*, 10, 25 sqq.; 11, 16; 22; 29 sqq.

² *Cic., Phil.*, 12, 17; 24; 30.

³ *Cic., Phil.*, 13, 1—7; 22; 25; 30; 36.

ствий. 20 марта Панса во главе четырех вновь набранных легионов направляется на соединение с Гирцием и Октавианом, которые к этому времени заняли Бононию и подошли к самой Мутине. Антоний, боясь окружения, вышел навстречу Пансе, дабы не допустить его к Гирцию и Октавиану. Около местечка, называвшегося Галльский форум, 14 апреля произошло сражение, в котором войско Пансы было разбито, а сам он смертельно ранен. Но когда победители возвращались в свой лагерь, на них внезапно напал Гирций и нанес им серьезное поражение. Только наступившая ночь спасла войско Антония от окончательного разгрома.

21 апреля произошло второе сражение, уже под стенами самой Мутины, так что Децим Брут мог содействовать победе вылазкой своих войск. Антоний потерпел полное поражение и вынужден был снять осаду города. С оставшимся в его распоряжении войском он направился в Альпы. В сражении под Мутиной пал на поле боя Гирций, а через день или два умер от ран Панса. Сенатская армия осталась без своих полководцев.

В Риме об исходе сражений узнали не сразу. Сначала распространился слух о победе Антония, и его сторонники уже готовились захватить Форум и Капитолий. Однако 20 апреля стал точно известен исход сражения у Галльского форума, и восторженная толпа ринулась к дому Цицерона, привела его на Капитолий и заставила говорить с ростр «при величайших кликах и рукоплесканиях»¹. На следующий день состоялось заседание сената, где Цицерон выступил со своей последней, четырнадцатой Филиппикой. Он опять и опять предлагал объявить Антония врагом отечества, предлагал вотировать в честь обоих консулов и Октавиана (все трое уже были провозглашены в войсках императорами) пятидесятидневное молебствие, наградить солдат и воздвигнуть памятник в честь погибших в бою. Не забыл, конечно, Цицерон подчеркнуть и собственные заслуги в борьбе за республику².

¹ *Cic.*, ad Brut., 1, 3, 2.

² *Cic.*, Phil., 14, 6; 11; 24; 29; 36; *Cass. Dio*, 46, 38—40.

Вскоре в Риме стало известно и о победе при Мутине. Цицерон и его сторонники ликовали. На ближайших заседаниях сената теперь полностью была реализована программа Цицерона: Антоний наконец был объявлен врагом отечества, Дециму Бруту вручено командование сенатскими войсками и он получил триумф, Октавиану присуждена так называемая овация («малый триумф»). Были решены и восточные дела: Кассий назначался наместником Сирии, с тем чтобы вести войну против Долабеллы. Из Массилии был вызван Секст Помпей, которому вручалось верховное командование флотом¹.

Казалось, победа и торжество были полными. Цицерон пользовался в эти дни, по выражению Аппиана, «единовластием демагога»². И не случайно снова всплывает излюбленный им со времен борьбы с Катилиной лозунг «согласие сословий». Он говорит об этом согласии в своих Филиппиках, начиная с третьей³; он не раз подчеркивает необычайный энтузиазм и единение всей Италии в своих письмах⁴, вплоть до того письма Юнию Бруту, о котором уже говорилось и в котором он описывает восторг римлян и почести, выпавшие на его долю при известии о победе под Галльским форумом⁵. Как же было не почувствовать себя вновь вождем не только сената, но и всех «благонамеренных», всей Италии (*tota Italia*), не почувствовать себя вторично спасителем отечества!

Но, увы, на сей раз, как и в тот «великий год», победа оказалась иллюзорной. Однако иллюзии тоже бывают различными: иногда они завершаются разочарованием, иногда — гибелью. Если в первый раз для Цицерона победа обернулась личной неудачей, то теперь речь шла о судьбе всей республики. Если в первый раз за крушение иллюзии он заплатил изгнанием, то теперь платой была сама жизнь.

В скором времени события приняли совершенно неожиданный оборот. Как рассказывает Аппиан, молодой Цезарь, оскорбленный тем, что верховное командо-

¹ *App.*, b. c., 3, 74; 77—79; *Cass. Dio*, 46, 39.

² *App.*, b. c., 4, 19.

³ *Cic.*, *Phil.*, 3, 32; ср. 7, 24.

⁴ *Cic.*, *fam.*, 10, 12, 4; 11, 8, 2; 12, 4, 1.

⁵ См. выше, стр. 345.

вание было передано не ему, а Бруту, настаивал хотя бы на триумфе, но получил от сената высокомерный отказ: ему было заявлено, что до триумфа он еще не дорос¹. Октавиану, конечно, такого ответа было вполне достаточно, чтобы понять, какая, собственно, роль готовится ему при условии союза и «дружбы» с сенатом, а также насколько полное устранение Антония — вернее, угрозы Антония! — ослабляет и его собственные позиции. Поэтому, если верить тому же Аппиану, он почти сразу после Мутины начинает искать возможностей соглашения: милостиво обращается с пленными солдатами и офицерами Антония, кое-кого отсылает к нему обратно и даже беспрепятственно пропускает три легиона, идущих к Антонию на соединение, причем с их командиром, неким Вентидием, вступает в переговоры. Когда же тот спрашивает, каковы, собственно, намерения Октавиана в отношении Антония, последний отвечает, что он уже делал на этот счет немало намеков для тех, кто способен их понимать, а для непонимающих и большего числа недостаточно!²

Тем временем Антонию, который перешел через Альпы, удалось соединиться (в Нарбоннской Галлии) с войсками Эмилия Лепида. Теперь в его распоряжении помимо тех отрядов, что он увел из-под Мутины (в том числе великолепной конницы), оказались еще пришедшие ему на подмогу три легиона Вентидия и семь легионов Лепида (не говоря уже о вспомогательных частях). Это была достаточно внушительная военная сила. Сенат реагировал на новую угрозу тем, что из Африки срочно были вызваны два легиона, а Октавиана, как пишет Аппиан, «из боязни, чтобы он не соединился с Антонием, снова избрали, крайне неловким образом, командующим вместе с Децимом Брутом»³.

Но Октавиан вовсе не намеревался выступать против Антония. Он был занят другим: опираясь на свое войско, он решил добиваться консулата. Сначала Октавиан даже предполагал объединиться для этой цели с Цицероном и обратился к нему с соответствующим

¹ *App.*, b. c., 3, 80.

² *Ibidem.*

³ *App.*, b. c., 3, 85.

письмом, но тот, правда не без колебаний, отказался¹. Тогда в середине июля 43 г. в сенат прибыла делегация от войск Октавиана, которая и потребовала избрания его консулом. Так как сенат не дал согласия, то один из центурионов, входивших в состав делегации, похлопал себя по мечу и сказал: «Вот кто даст!»²

И действительно, вслед за этим юный наследник Цезаря по примеру своего знаменитого отца перешел через Рубикон и во главе восьми легионов, конницы и вспомогательных войск двинулся на Рим. В городе началась паника: вывозили жен и детей, ценное имущество. Сенат был вынужден признать свое полное бессилие, тем более что прибывшие из Африки два легиона тоже перешли на сторону Октавиана. Город был взят без всякого сопротивления. Цицерон, как сообщает малорасположенный к нему Аппиан, сначала, во время всеобщей паники, куда-то скрылся, а затем, когда Октавиан вступил в город, стал добиваться у него приема. Будучи принят, он всячески заискивал перед победителем, но Октавиан отнесся к нему сдержанно и даже иронически подчеркнул, что из всех друзей Цицерон пришел к нему самым последним³.

О последних месяцах жизни Цицерона почти ничего не известно. Источники фактически отсутствуют. О каких-либо его выступлениях в эти дни не могло быть и речи. Переписка также обрывается. Последнее письмо, адресованное Марку Юнию Бруту, датируется концом июля. В этом письме еще говорится о том, что Цицерон надеется «удержать» Октавиана, несмотря «на сопротивление со стороны многих». Надежда, конечно, была неосуществимой, ибо Октавиан уже ориентировался на Антония и Лепида, но Цицерон этого пока не знал (или не был в этом полностью уверен).

Затем происходит крах всех надежд. После избрания Октавиана консулом, после опубликования первых же его распоряжений и законов ситуация становится достаточно ясной. Для Цицерона это было падением с высоты в бездонную пропасть, падением стремительным и внезапным. Растерянность его была,

¹ *App.*, b. c., 3, 83; *Cass. Dio*, 46, 42.

² *Cass. Dio*, 46, 43.

³ *App.*, b. c., 3, 92.

видимо, настолько велика, что, по некоторым сведениям, правда не бесспорным, он собирался отречься от авторства Филиппик¹. Даже если это и не так, то не приходится сомневаться, что его душевное состояние было ужасным. Он покинул Рим и находился где-то в своих поместьях.

Октавиан избирается консулом 19 августа 43 г. (совместно с Квинтом Педием). Сразу же было объявлено, что убийцы Цезаря лишаются «воды и огня», т. е. ставятся вне закона. Затем отменялись решение сената, объявлявшее Долабеллу врагом народа, а вслед за этим и аналогичные решения, относящиеся к Лепиду и Антонию. Этим последним актом создавалась необходимая основа для примирения вождей цезарианцев, чего так желали их войска.

И это примирение состоялось. В ноябре 43 г. около Бононии, на маленьком речном острове, произошла встреча трех полководцев. Каждый из них прибыл к условленному месту встречи во главе пяти легионов. Первым по наведенному мосту перешел на островок Лепид и, убедившись в отсутствии какой-либо опасности, подал знак плащом своим сотоварищам.

Совещание Антония, Октавиана и Лепида, происходившее на глазах всего войска, продолжалось три (по другим сведениям — два) дня. Здесь было положено начало тому соглашению, которое в дальнейшем получило название второго триумvirата. Целью этого соглашения была прежде всего борьба с заговорщиками, или «республиканцами», т. е. с Брутом и Кассием, и распределение между членами триумvirата важнейших провинций. Так как намечаемые военные действия требовали серьезной подготовки и значительных расходов, то прежде всего было решено выделить для награды солдатам земельные участки на территории Италии. Эти участки предполагалось конфисковать у их владельцев, для чего были намечены земли 18 италийских городов. Кроме того, готовились проскрипционные списки, т. е. списки лиц, объявляемых вне закона и присуждаемых к смертной казни с конфискацией всего их имущества. В эти списки включались не только имена политических и личных

¹ *Sen., Suas.*, 6, 15.

врагов триумвиров, но и просто богатых людей, что давало возможность мобилизовать крупные средства¹.

Второй триумvirат в отличие от первого не был всего лишь неофициальным соглашением. Триумвиры в сопровождении своих отборных частей вступили в Рим. 27 ноября было вынесено особое решение народного собрания, в соответствии с которым им даровалась на пять лет верховная власть: они получали право назначать сенаторов и магистратов, издавать законы, устанавливать налоги, чеканить монету; им же принадлежала на этот срок высшая судебная власть (без права апелляции).

С момента вступления триумвиров в Рим и юридического оформления их полномочий началась безудержная вакханалия проскрипционных убийств и конфискаций. За голову каждого осужденного назначалась крупная награда, рабам же кроме денег была обещана еще и свобода. Всячески поощрялись доносы родственников друг на друга. Предоставление проскрибированным убежища, укрывательство их карались смертной казнью.

Разгул проскрипций вскрыл страшную картину морального разложения римского общества. То, что происходило при Сулле, выглядело сейчас чуть ли не детской игрой. Казалось, были расторгнуты все родственные связи, все узы дружбы. Дети доносили на родителей, рабы — на господ, жены — на мужей. Римский историк Веллей Патеркул установил даже как бы особую шкалу предательства: на первом месте стояли сыновья, стремившиеся получить наследство, затем шли рабы, затем отпущенники, наибольшую же верность и преданность проявили все-таки жены².

Страшный пример того, как следует относиться к родственникам, друзьям, бывшим союзникам, показали прежде всего сами триумвиры. «Первым из приговаривавших к смерти, — пишет Аппиан, — был Лепид, а первым из приговоренных — брат Лепида Павел. Вторым из приговаривавших к смерти был Антоний, а вторым из приговоренных — дядя Антония Луций; в свое время Луций и Павел высказались за

¹ *Plut., Ant., 19; App., b. c., 4, 2—3; Cass. Dio, 46, 55.*

² *Vell. Pat., 2, 67.*

объявление Антония и Лепида врагами отечества»¹. Октавиан хотя и не объявил никого из своих родственников включенным в проскрипционные списки, но зато уступил настояниям Антония — правда, по словам Плутарха, не сразу, но лишь на третий день переговоров² — и согласился на включение в эти списки своего недавнего союзника и друга — Цицерона. Таков был этот «божественный юноша», как неоднократно именовал его сам Цицерон.

О том, что он объявлен вне закона (в числе первых же 17 человек!), Цицерон узнал в своей Тускульской усадьбе. Он был здесь в эти дни вместе со своим братом Квинтом и его сыном. Они решили бежать в Македонию, в лагерь Юния Брута (где уже находился сын Цицерона). Беглецов доставили на носилках в имение близ Астуры. Отсюда Квинт и его сын отправились в Рим, дабы завестись деньгами, необходимыми для путешествия, и здесь же в Риме Квинт был убит вместе с сыном, выданный одним из своих вольноотпущенников.

Тем временем Цицерон сел на корабль у Астуры, но вскоре пристал к Цирцее, не зная, видимо, что предпринять. Несколькими часами он даже шел пешком по дороге к Риму, затем вернулся и переночевал в Цирцее. Самые фантастические планы рисовались его воображению. Он собирался тайно проникнуть в дом Октавиана и убить себя у его домашнего очага, дабы восстановить духом мщения против этого предателя. Наутро он все же снова сел на корабль, но, страдая от качки, высадился в Кайете, и оттуда его отнесли на носилках в его формийскую виллу.

Здесь он прилегал отдохнуть, но вскоре стало известно, что в окрестностях Формианума появились люди Антония во главе с центурионом Гереннием и военным трибуном Попилием, которого Цицерон когда-то удачно защищал против обвинения в отцеубийстве. Надо было снова бежать, и рабы понесли носилки глухими дорожками через роццу к морю. Когда карательный отряд ворвался в усадьбу Цицерона, его там уже не было. Но один из вольноотпущенников Квинта указал преследователям путь. Попилий занял выход

¹ *App.*, b. c., 4, 12.

² *Plut.*, *Cic.*, 46.

из леса, а Геренний бросился искать беглеца по дорожкам. Трагический конец Плутарх описывает так: «Когда Цицерон увидел бегущих за ним людей, он приказал рабам остановиться и опустить носилки на землю. Подперев по своему обыкновению подбородок левой рукой, он пристальным взглядом смотрел на палачей; его запущенный вид, отросшие волосы и изможденное от забот лицо внушали сожаление; большинство присутствовавших отвернулось, когда убийца подбежал к носилкам»¹. Цицерон как будто сам вытянул голову с носилок, сказав: «Сюда, ветеран, и если ты хоть это хорошо умеешь — руби!» Однако голова упала только с третьего удара, и Геренний отрубил еще правую руку, которой Цицерон писал свои речи против Антония².

Цицерон был убит 7 декабря 43 г. (ему шел тогда 64-й год). Убийцы доставили его голову и отрубленную руку Антонию в тот момент, когда он проводил народное собрание на Форуме. Антоний был в восторге и выплатил обещанную награду в десятикратном размере. По рассказам, он поставил голову на свой обеденный стол, дабы досыта насладиться этим зрелищем. А его жена Фульвия — кстати, вдова другого смертельного врага Цицерона, Клодия, — колола язык оратора булавками. Затем и голова и рука Цицерона как некие трофеи были водружены для всеобщего обозрения около роств. Плутарх говорит, что римляне отнеслись к этому с ужасом, а Аппиан меланхолически замечает, что «посмотреть на это стекалось народу больше, чем некогда послушать его»³.

Таков был конец Марка Туллия Цицерона, знаменитого оратора, писателя и государственного деятеля, торжественно увенчанного в свое время в римском народном собрании почетным титулом отца отечества.

¹ *Plut.*, Cic., 48.

² *App.*, b. c., 4, 19—20.

³ *Plut.*, Cic., 49; *App.*, b. c., 4, 20.

Цицерон в веках

10

Цицерон, несомненно, принадлежал к той особой породе людей, на долю которых еще при жизни выпадает сладкое бремя славы. Но прижизненная слава эфемерна, Цицерон же удостоился несравненно большего: его имя навсегда вошло в историю, и в частности в историю мировой культуры.

Цицерон широко известен как оратор — его имя даже стало нарицательным, — менее известен как политический деятель и почти неизвестен как философ и ученый. Такое распределение «аспектов» его посмертной славы не случайно. Именно как представитель ораторского искусства и римской литературы, как блестящий стилист он вошел в историю мировой культуры; как политический деятель он имеет отношение к такой эпохе и к таким событиям, которые ныне интересуют главным образом историков (да и то не всех!) и, наконец, как философ и ученый он не признается обычно крупным и самостоятельным мыслителем, сказавшим в этой области новое слово.

Подводя некоторые итоги, попытаемся суммировать все сказанное выше о Цицероне, имея в виду эти основные аспекты его личности, его славы. Но прежде всего несколько слов о Цицероне просто как о человеке. Кстати сказать, это такой «аспект», который часто оставляют без всякого внимания, считая его, видимо, недостаточно «серьезным» и «научным», а кроме того, и слишком трудно уловимым. Действительно, говорить о человеке, жившем более 2000 лет тому назад, как о человеке — довольно рискованно.

Тем не менее облик Цицерона рисуется, быть может, более ярко и живо, чем порт-

реты многих выдающихся деятелей, живших совсем недавно или бывших даже нашими современниками. Правда, когда мы имеем в виду мнение о Цицероне как о человеке, мнение, сложившееся в веках, начиная от самой древности и кончая нашим временем, то оно едва ли может быть названо лестным. Цицерон-человек, пожалуй, даже в еще большей мере, чем политический деятель, подвергается, как правило, решительному осуждению.

Человек талантливый, широко образованный, обладающий острым умом и замечательным даром слова, он вместе с тем болезненно честолюбив, мелочно тщеславен, безудержно хвастлив, неустойчив, нерешителен, легко воспаляется, но так же легко и при малейшей неудаче падает духом, поддается влияниям, лицемерен, лжив и, наконец, даже труслив. Таков набор тех качеств, которыми обычно характеризуется Цицерон как человек. Что ж, спорить с этим, видимо, трудно. Жизнь Цицерона, которую мы знаем достаточно хорошо и на редкость подробно, дает нам возможность привести не один пример, подтверждающий то слабохарактерность, то тщеславие, то отсутствие мужества, то беспринципность, доходящие иногда до какого-то духовного маразма.

Плутарх рассказывает о том, что Цицерон, прибывший в лагерь Помпея и после долгих колебаний определивший этим шагом, на чьей стороне он намерен находиться во время гражданской войны, вдруг под влиянием нескольких доводов Катона «резко изменил образ мыслей»¹ и стал весьма скептически относиться ко всем начинаниям Помпея, а после Фарсала вообще отошел от помпеянцев. Тот же Плутарх говорит о таких сугубо личных, даже интимных моментах, как влияние на Цицерона его жены Теренции, которая приревновала мужа к одной из сестер Клодия и потому заставила его выступать с неблагоприятными для Клодия свидетельскими показаниями (что и положило начало их смертельной вражде), причем, рассказывая об этом, Плутарх подчеркивает, что «эта женщина не отличалась кротостью и крепко держала мужа в руках»².

¹ *Plut., Cic., 38.*

² *Plut., Cic., 29.*

Примеры беспринципных поступков трудно даже перечислить. Напомним только, что еще тогда, когда Цицерон был молодым, преуспевающим адвокатом, начинающим политическим деятелем, причем ему не угрожали никакие опасности и ничто не вынуждало его поступаться своей совестью, он готов был ради предвыборных махинаций защищать в суде Катилину, хотя и не сомневался в его виновности¹. Примеры самовосхваления настолько многочисленны и о них уже столько раз говорилось, что едва ли стоит к этому возвращаться.

Мы знаем, наконец, как был напуган и растерян Цицерон, когда ему пришлось выступать в защиту Милона на Форуме, окруженном войсками, знаем, каково было его моральное состояние во время изгнания или после битвы при Фарсале, когда он чуть ли не год ждал Цезаря в Брундизии, знаем кое-что и о последнем его намерении, к счастью не ставшем поступком: о намерении публично отречься от авторства Филиппик.

Все это так, и все это, конечно, не украшает в наших глазах знаменитого оратора. Мы и не склонны заниматься каким-либо «украшательством»; хотелось бы лишь отметить, что Цицерон, как это ни парадоксально звучит, в значительной мере — жертва собственной славы и именно ей он обязан «порчей» своей репутации. Мы слишком подробно и слишком интимно знаем его жизнь. О нем много написано, он чересчур много говорил сам о себе, но, пожалуй, более всего губят его репутацию письма. Из этих писем мы и узнаем о всех его колебаниях, сомнениях, страхах, неблагоприятных намерениях и поступках — иными словами, о всем том, что, конечно, характеризовало не только Цицерона, но и подавляющее большинство его современников (а также потомков!), но что не принято выставлять на свет и что обычно не прощают историческому деятелю. Однако мы не представляем, как выглядел бы Цезарь или, скажем, такой прославленный герой, как его убийца Брут, если бы они вели дневники или если бы до нас дошли их интимные письма. Во всяком случае мы могли бы наглядно убедиться, сколь велики были колебания и сомнения «человека дей-

¹ См. выше, стр. 142.

ствия» — Цезаря, прежде чем он решился перейти через Рубикон¹, и уж, конечно, куда менее благородным и романтически приподнятым представлялся бы нам облик Брута, если бы мы располагали более подробными сведениями о его ростовщических операциях.

Перейдем, однако, к другим, более близким для историка аспектам посмертной славы Цицерона. Что следует сказать, подводя итоги, о Цицероне как об ораторе (и о теоретике ораторского искусства)? В ходе предыдущего изложения, когда мы касались речей Цицерона и более или менее подробно рассматривали их, то они интересовали нас главным образом как исторический источник, дающий возможность почерпнуть сведения либо об эпохе и событиях, либо о деятельности самого Цицерона. Но не может быть никакого сомнения в том, что речи Цицерона главным образом и в первую очередь — блестящий образец именно ораторского искусства, а поскольку они дошли до нас в письменном виде — выдающийся памятник не только римской, но и мировой литературы.

Сохранилось полностью (или почти полностью) 58 речей Цицерона; от 17 речей дошли небольшие фрагменты, примерно 30 речей известно лишь по упоминаниям о них (иногда самого Цицерона, иногда других авторов). Обычно все сохранившиеся речи Цицерона в трудах по истории литературы подразделяются на несколько групп в зависимости от их характера и тематики; наиболее общим (и в то же время наиболее бесспорным) можно считать деление на речи судебные и речи политические. Построение последних, как правило, довольно свободное, не подчиняющееся определенным «архитектоническим» правилам, что же касается судебных речей, то они всегда строятся по определенному канону.

Теория римского ораторского искусства предусматривала следующее построение и следующие составные части речи: 1) вступление (*exordio*); 2) изложение дела, предмета обсуждения (*narratio*); 3) рассмотрение центрального пункта защиты или обвинения (*tractatio*) и 4) заключение (*peroratio*). Важнейшая часть защитительной (или обвинительной) речи, т. е. трактация, подразделялась в свою очередь на: а) указание пред-

¹ См. выше, стр. 261—262.

мета и плана трактации (*propositio* и *partitio*); б) доказательство правоты взглядов оратора (*probatio*) и в) опровержение взглядов и доводов противника (*refutatio*). Считалось, что оратор располагает доводами двух типов: доводами, рассчитанными на разум судей, т. е. аргументами, и рассчитанными на их чувства, т. е. амплификациями. Речи Цицерона дают прекрасный образец разнообразного (комбинированного) использования всех этих правил и приемов.

Как выдающийся стилист, Цицерон не мог не обращать внимание на язык, на словесное оформление своих мыслей. Насколько нам известно, все опубликованные самим Цицероном речи подвергались тщательной литературной обработке и редактированию (к речам написанным, но не произносившимся принадлежат, пожалуй, только пять речей против Верреса и вторая Филиппика). В отдельных случаях обработка речей была столь основательной, что они и по форме и по содержанию, да и по производимому ими впечатлению весьма существенно отличались от первоначального варианта. Известны слова Милона, сказанные им в изгнании, когда он прочел речь Цицерона в его защиту, но уже в том виде, в каком она была опубликована: «Если бы он произнес именно такую речь, мне не пришлось бы отведавать рыбы, которая ловится здесь в Массилии»¹.

Литературный язык Цицерона, стиль его красноречия («богатый и изукрашенный») может быть определен как «родосский стиль» (школа ритора Милона на Родосе), т. е. стиль, представлявший нечто среднее между двумя основными направлениями в риторике: азианизмом и аттицизмом. Во всяком случае на примере трактатов Цицерона, посвященных теории красноречия («Брут», «Оратор»), мы уже имели возможность убедиться в отрицательном отношении Цицерона к «сухому и безжизненному» типу красноречия новоаттиков. Вместе с тем в поздний период своей ораторской деятельности (особенно в годы диктатуры Цезаря) Цицерон обнаруживает склонность к более строгому и умеренному типу красноречия.

Как оратор Цицерон широко и разносторонне пользуется композиционными и чисто стилистическими

¹ *Cass. Dio*, 40, 54.

приемами. Это — отступления, экскурсы (как, например, рассуждение об оптиматах и популярах в речи за Сестия или исторические экскурсы в речи о гаруспиках и т. п.), характеристики и портреты, рисуемые чаще всего средствами инвективы (например, портреты Катилины, Клодия и др.), это — исторические примеры, цитаты из латинских и греческих авторов, острооты и игра слов, это, наконец, инструментовка речи — огромное значение Цицерон придавал ритму, чередованию кратких и долгих слогов, благозвучности клаузул (концовок). Кстати, в заключительной части своего трактата «Оратор» Цицерон довольно резко полемизирует с аттикистами именно по вопросам ритмической периодизации речи ¹.

Что касается остроумия Цицерона, его любви к меткому, часто даже обидному и язвительному слову, то это пристрастие создало ему не одного смертельного врага. Еще в самом начале судебной и общественно-политической карьеры, когда ему пришлось в деле Верреса иметь противником давно прославленного оратора — Гортензия, Цицерон тем не менее не удержался от весьма ядовитого выпада по его адресу. Как рассказывает Плутарх, Гортензий открыто защищать Верреса не решался, но дал согласие участвовать в оценке убытков и в награду за это получил сфинкса из слоновой кости. Цицерон бросил Гортензию какой-то неприятный для него намек, и, когда тот ответил, что не умеет отгадывать загадки, воскликнул: «Как же, ведь у тебя дома сфинкс!» ²

Биография Цицерона у Плутарха пестрит многочисленными примерами «злоречия» знаменитого оратора. Иной раз Плутарх даже сетует на то, что Цицерон, упивавшийся силой собственного слова, «нарушал все приличия». Так, когда он защищал некоего Муатия, а тот, благополучно избежав наказания, привлек в свою очередь к суду одного из друзей Цицерона, то Цицерон вне себя от гнева воскликнул: «Ты, видно, воображаешь, Муатий, будто выиграл процесс собственными силами? Ну-ка вспомни, как я в суде навел тень на ясный день!» Он хвалил Марка Красса, и речь имела большой успех, а через несколько дней,

¹ См. выше, стр. 278.

² *Plut., Cic., 7.*

снова выступая перед народом, уже порицал его, и, когда возмущенный Красс сказал: «Не ты ли восхвалял меня с этого самого места чуть ли не вчера?», Цицерон возразил ему: «Я просто-напросто упражнялся в искусстве говорить о низких предметах». Некий юноша, которого обвиняли в том, что он поднес отцу яд в лепешке, осыпал Цицерона бранью. «Я охотнее приму от тебя брань, чем лепешку», — заметил тот. Во время какого-то спора Метелл Непот, намекая на незнатное происхождение Цицерона, несколько раз крикнул ему: «Скажи, кто твой отец?» «Тебе на такой вопрос ответить куда труднее — по милости твоей матери», — немедленно отпарировал Цицерон. Мать Непота была известна в Риме как женщина легкого поведения¹.

Цицерон не мог удержаться от язвительных замечаний и острот не только в суде или на Форуме, но и в такой обстановке, где это было для него отнюдь не безопасно. Оказавшись в лагере Помпея, он не скрывал своего скептического отношения ко всем его планам и приготовлениям и опять-таки, по словам Плутарха, «расхаживал по лагерю всегда угрюмый, без тени улыбки на устах, но вызывая ненужный, даже неуместный смех своими остротами»². И Плутарх снова приводит многочисленные образцы этих острот.

В общем можно сказать, что Цицерон как оратор обладал всеми теми качествами, которые в соответствии с требованиями античной теории были необходимы мастеру слова. Это, во-первых, природное дарование, затем практика и, наконец, искусство красноречия (*ars*) как таковое, т. е. та сумма знаний «общеобразовательного» характера и специфических приемов, овладение которыми приходит в результате специальной подготовки. Об овладении техникой красноречия сам Цицерон говорил так: «Нет ни одной положительной черты или особенности в любом роде ораторского искусства, выявить которую если не в совершенстве, то хотя бы приблизительно, мы не пытались бы в наших речах»³.

Если говорить о Цицероне как о политическом деятеле, то следует, очевидно, тоже как-то суммировать

¹ *Plut., Cic.*, 25-26.

² *Plut., Cic.*, 38.

³ *Cic., Orat.*, 103.

отдельные наблюдения и высказывания, изложенные выше. Сделать это удобнее всего в виде ответа на те наиболее распространенные и уже называвшиеся «обвинения», которые с самой древности и вплоть до наших дней выдвигаются против Цицерона.

Чуть ли не общепринятым можно считать обвинение в политической неустойчивости, даже в беспринципности и лицемерии. Обычно говорят, что Цицерон в начале своей общественно-политической карьеры был близок к популярам (или даже, что начинал свою карьеру как популяри!), затем «перебежал» к оптиматам, долгое время колебался между Помпеем и Цезарем, сочувствуя первому, но не желая врать и со вторым, не проявил достаточной последовательности в борьбе с «тиранией», поскольку ориентировался на Октавиана и «заигрывал» с ним, и только своим трагическим и полным достоинством концом искупил все свои прошлые прегрешения¹.

Отнюдь не стремясь создать идеализированный, очищенный от всех недостатков образ Цицерона, что, конечно, находилось бы в резком противоречии с действительностью, мы все же считаем, что сформулированные выше и широко распространенные обвинения, покоятся в значительной мере на недоразумении. Таким недоразумением следует прежде всего считать утверждение о близости Цицерона к популярам. Мы уже не раз пытались показать истинный характер его «симпатий» к популярам и трактовку этого понятия в речах Цицерона². Надо думать, что на представление о близости Цицерона к популярам в определенный период его деятельности оказала влияние другая весьма распространенная в свое время концепция, согласно которой оптиматы и популяры трактовались как две римские политические партии. Об этом тоже достаточно говорилось выше³.

Конечно, в истории взаимоотношений Цицерона с Помпеем и Цезарем, а в дальнейшем с Октавианом можно найти много примеров непоследовательности, лицемерия, беспринципности, но ведь эти же самые «качества» были проявлены, пожалуй, каждым из упомянутых политических деятелей в тот или иной

¹ См., напр., *Н. А. Машкин*. Принципат Августа, стр. 190—191.

² См. выше, стр. 147—150.

³ См. стр. 133—139.

момент по отношению к самому Цицерону. Это было «в порядке вещей», этого требовали правила сложной, жестокой и далеко не безопасной политической «игры». Да, конечно, Цицерон не так уж редко лицемерил, шел на сделки с собственной совестью, отмалчивался или, наоборот, говорил исходя отнюдь не из принципиальных, но «тактических» соображений, соображений личной выгоды и карьеры, но кто из римских политических деятелей поступал, да и мог поступать иначе? Правда и политика были для них всегда «две вещи несовместные».

Более того, Цицерона скорее можно упрекнуть — во всяком случае в определенный период его деятельности — в каком-то даже политическом «благородстве», впрочем, по мнению некоторых историков, близком к «утопизму». Мы имеем в виду то обстоятельство, что Цицерон боролся всегда «за идею», боролся, следовательно, не только против «личностей», но и против «концепций». Хотя в этих случаях, конечно, вовсе не легко бывает разобраться — в особенности если иметь в виду его речи, — что относится к существу дела, а что — только к словесному оформлению.

Обвинения в «утопизме», в нереалистическом отношении к действительности, а чаще всего в политической недальновидности тоже достаточно типичны и общеизвестны. Они имеют, на наш взгляд, более прочные основания, если только не стремиться к чрезмерной абсолютизации. В какие-то периоды своей жизни и деятельности Цицерон проявлял все же достаточно трезвое понимание людей, событий, ситуации, но судьба, которая слишком благоволила к нему в начале жизненного пути, и собственный темперамент не раз «подводили» его и сыграли с ним в конечном счете злую шутку.

Бросим самый беглый, ретроспективный взгляд на этот жизненный путь, на «зигзаги» политической карьеры Цицерона. Вот начальный этап, первые успехи: дело Верреса, легкое получение городской претуры, первая политическая речь за закон Манилия, эффектный лозунг *concordia ordinum* — «согласие сословий», борьба за консулат. Однако, как нам уже приходилось отмечать¹, позиция Цицерона и его оценка

¹ См. выше, стр. 130—133.

«текущего момента» были тогда довольно реалистичными: он хотел и искал блока с Помпеем, он мечтал о содружестве «меча» и «тоги», понимал необходимость их взаимной поддержки.

Затем следующий этап: наивысший взлет, т. е. достижение консульства, шумная победа над Катилиной, головокружение от успехов. Именно в этот момент он и теряет контроль над собой (начало безудержного самовосхваления) и способность трезвой ориентации в политической обстановке. Возникает наиболее «утопическая», а потому и наиболее роковая иллюзия о приоритете «тоги» над «мечом», о том, что таким путем может быть осуществлено «согласие сословий» (*concordia ordinum*) и «единение всех благонамеренных» (*consensus bonorum omnium*).

Затем страшный удар: поражение в борьбе с Клодием, изгнание. Нежелание и невозможность понять закономерность этого поражения, растерянность, моральный упадок. Незаживающая травма. Отход от государственной деятельности в годы гражданской войны и диктатуры Цезаря (философские труды, воспоминания о «спасении отечества»).

И наконец, последний этап: новый взлет, борьба против тирании, за *res publica*, фактическое руководство государственной политикой (с декабря 44 по апрель 43 г.). С одной стороны, как уже отмечалось в литературе, речь шла на сей раз о вполне реальной опасности, ибо Марк Антоний представлял собой куда более серьезную угрозу жизни Цицерона, чем в свое время Катилина, и потому позиция Цицерона в этой борьбе была, безусловно, более принципиальной и последовательной. С другой стороны, — и об этом также сказано выше¹ — пожалуй, никогда в своей жизни Цицерон, даже если учесть всю историю его отношений с Клодием, не вел в такой степени личной борьбы и не испытывал такой личной ненависти, как в этом последнем случае с Антонием. Но здесь, конечно, действовали не только персональные мотивы. Ситуация действительно сложилась так, что «личная» борьба против Марка Антония была ближайшей и вместе с тем неизбежной задачей, которую следовало срочно разрешить, прежде чем переходить к реализации

¹ См. стр. 340—341.

задачи более высокой, но и более отдаленной — восставление *res publica*.

Как бы то ни было, но в ходе этой борьбы Цицерон в значительной мере отрешился от своих прежних — времен борьбы с Катилиной (и Клодием) — беспочвенных иллюзий. Мы уже отмечали, что в кампании, организованной им против Антония, чувствуется расчет и опыт зрелого политика¹. Поддержка цезарианской оппозиции против Марка Антония, возглавляемой Октавианом, объединение ее с оппозицией сенатской, полное понимание того, что необходима опора на вооруженную силу и готовность в любой момент перейти от войны словесной к борьбе с оружием в руках, т. е. к гражданской войне, — все это говорит о том, что Цицерон подверг коренному пересмотру свое понимание целей, задач и методов политической борьбы. И если некогда он совершенно искренне заявлял, что он никоим образом не сторонник хирургического вмешательства², то теперь только на отсечение пораженных частей общественного организма, только на физическое уничтожение тирана он возлагал все свои упования.

Изменилось теперь и отношение Цицерона к его собственным политическим лозунгам. По существу пересмотрен вопрос о приоритете «тоги» над «мечом». Если этот приоритет ликующе утверждался после победы над Катилиной, если примерно через семь лет после событий Цицерон все же ревностно его защищал и отстаивал³, то в трактате «Об обязанностях» пресловутый стих из его собственной поэмы звучит скорее как воспоминание о славном прошлом, а вовсе не как лозунг и призыв⁴. И наконец, в Филиппиках Цицерон вынужден признать уже обратное соотношение — теперь «тога» отступает и склоняется перед «оружием»⁵.

Что касается другого лозунга, верность которому Цицерон пронес до конца своей политической деятельности, лозунга «согласие сословий», то здесь дело обстоит следующим образом. Мы могли убедиться в том,

¹ См. выше, стр. 338—341.

² См. стр. 227.

³ *Cic.*, *Pis.*, 30.

⁴ *Cic.*, *off.*, 1, 77.

⁵ См. выше, стр. 339—340.

что этот лозунг впервые наметился еще в 66 г., в речи за Клуенция¹. В дальнейшем он становится лейтмотивом почти всех политических выступлений Цицерона. Он звучит с особой силой и торжеством в Катилинариях², он возрождается в речах по возвращении из изгнания³, он звучит в годы «анархии»⁴, и, наконец, мы слышим его в Филиппиках, где снова возникает страстный призыв ко всем сословиям и всем «честным людям» объединиться в борьбе против новой тирании⁵. Итак, Цицерон действительно сохранял верность своему излюбленному лозунгу вплоть до последних дней. Чем же это объясняется? Каков был реальный смысл и значение лозунга, дающие, очевидно, возможность применять его в самой различной политической обстановке?

Мы уже касались — причем довольно подробно — этого вопроса⁶. Потому и в данном случае не будем пытаться выяснить, насколько был убежден сам Цицерон в правоте своего излюбленного лозунга (хотя некоторые откровенные высказывания в письмах могли бы дать на это ответ!). Мы считаем нужным лишь еще раз подчеркнуть, что объективный смысл, политическая сила и широкая «применимость» лозунга состояли в том, что в условиях современной Цицерону римской действительности, в условиях напряженной борьбы политических группировок и даже в условиях гражданской войны он мог звучать — и действительно звучал! — как лозунг «надпартийный», поднимающий над частными, групповыми интересами во имя интересов «отечества» в целом. Недаром в толпе, заполнившей улицы Рима после убийства Цезаря, раздавались призывы к свободе и звучало имя Цицерона. Не случайно также лозунг сохранил свою притягательную силу и в годы новой гражданской войны, в годы борьбы против нового тирана. Лозунг «согласие сословий» (как и самое имя Цицерона!) приобрел — заслуженно или незаслуженно, это уже другой вопрос! — особую силу и обаяние: для всех тех, кто устал и был запу-

¹ *Cic.*, *Cluent.*, 152.

² *Cic.*, *Cato*, 1, 32; 4, 14—16.

³ *Cic.*, *post. red.*, 2; 27; *Dom.*, 94.

⁴ *Cic.*, *Mil.*, 87.

⁵ *Cic.*, *Phil.*, 1, 37; 3, 13; 5, 36; 9, 8; 13, 34.

⁶ *См.*, стр. 256.

ган бесконечными заговорами, переворотами и междоусобными войнами, он олицетворял «республику» прежних времен, он был призывом к «свободе», миру, благополучию. Недаром в одной из своих последних речей Цицерон мог, не возбуждая, видимо, каких-либо особых возражений или недоверия, с гордостью заявить: «Такова моя судьба, что я не могу ни победить без республики, ни быть побежденным без нее»¹.

И наконец, последний вопрос, относящийся к характеристике Цицерона-политика. Был ли он, как это принято считать в современной историографии, представителем или даже «выразителем» интересов того социального слоя, того римского сословия (*ordo*), которое называется всадничеством?

Подобное утверждение, высказанное к тому же в столь общей форме, быть может, и правильно, но вместе с тем слишком схематично. Оно не учитывает некоторых деталей, а только они и могут превратить общую схему в живую и конкретную характеристику.

Цицерон, на наш взгляд, представляет — и, пожалуй, наиболее ярко — ту своеобразную социальную прослойку, которая впервые сформировалась именно в античном обществе и которую мы определяем термином «интеллигенция». Об этой античной интеллигенции и ее роли в Риме довольно подробно говорилось выше². Мы знаем, что состав ее был весьма разнообразен. Когда же речь идет о Цицероне, то следует, конечно, иметь в виду привилегированные слои римского общества, вернее, некий избранный круг, элиту всаднического сословия.

Но в состав этой интеллектуальной элиты входили люди весьма различных жизненных вкусов и направлений. Одни из них, как, например, друг Цицерона Атик или друг Цезаря Матий, совершенно сознательно держались вдали от политической жизни и борьбы, довольствуясь своим вполне обеспеченным и привилегированным положением в обществе, интересуясь философией, искусством, а заодно и приумножением своих доходов, своего состояния. Цицерон не принадлежал к этой группе. Наоборот, он представлял те слои интеллектуальной элиты всадничества, которые

¹ *Cic., Phil.* 13, 30.

² См. стр. 65—67.

рвались к политической власти, к государственной деятельности. Он, пожалуй, на самом деле первый в истории интеллигент, вставший — пусть даже на короткий срок! — у кормила управления государством. Быть может, именно поэтому он невольный прообраз некоторых будущих интеллигентов-правителей, с их характерными особенностями, с их специфическими достоинствами и недостатками.

Цицерон ведь не просто интеллигент-политик, нет, он адвокат — и это тоже чрезвычайно типично! — ставший политиком. Он умен, ловок, он как будто «все понимает», учитывает различные «за» и «против», он опытный интриган, прожженный игрок, но вместе с тем в душе такого адвоката, где-то в самой глубине ее, еще таится, как ни странно, интеллигентски-наивная уверенность в том, что разум, убеждение, сила слова могут и должны быть противопоставлены силе оружия и что «меч» должен склониться перед «тогой». Мы знаем, что Цицерон, почти всю свою жизнь питавший подобные иллюзии, был вынужден в конечном счете порвать с ними — но когда и какой ценой? Ценой полного морального краха, ценой физического уничтожения. А на примере жизненного пути и политической карьеры Цицерона вскормившая и выдвинувшая его общественная прослойка наглядно продемонстрировала свою политическую незрелость, отсутствие опоры в широких кругах населения и полную беспомощность в вопросах государственного руководства.

В заключение мы должны рассмотреть еще один аспект посмертной славы Цицерона — его значение как философа. Выше говорилось о том, что это наименее известный, наименее «почитаемый» аспект его деятельности¹. Уточняя теперь это утверждение, мы должны сделать по крайней мере две оговорки. Во-первых, следует подчеркнуть, что в давно сложившемся и общепринятом мнении о Цицероне-философе как о малосамостоятельном мыслителе, как об эклектике виноват в значительной мере сам Цицерон. Во-вторых, подобное отношение существовало далеко не всегда: в эпоху утверждения и распространения христианства, христианской литературы философские труды Цицерона котировались как раз чрезвычайно высоко.

¹ См. стр. 353.

Известно высказывание Цицерона по поводу своих собственных философских трудов в одном из писем Аттику: «Что касается латинского языка, не беспокойся. Ты спросишь: как пишешь ты подобные вещи? Но ведь это — копии, они не доставляют мне особого труда. Я лишь подыскиваю слова, а ими я располагаю в изобилии»¹. Именно это заявление и подсказало многим исследователям вывод о полной зависимости Цицерона от греческих образцов. Так ли это на самом деле?

Отнюдь не претендуя на то, чтобы доказать самостоятельный и крупный вклад Цицерона в развитие философской мысли, мы тем не менее считаем неправильным отрицать или сводить на нет его роль в истории философии и не можем рассматривать его лишь как жалкого компилятора, пересказчика чужих мыслей.

Если Цицерон и был эклектиком и «релятивистом», то, как правильно утверждалось, он придерживался этих взглядов вовсе не от своей беспомощности, но в силу глубокого внутреннего убеждения. Он считал вполне возможным и правомерным соединять отдельные, с его точки зрения наиболее правильные, черты различных философских систем². Мы могли в этом убедиться на примере его отношения к различным философским школам в таких трактатах, как «О границах добра и зла», «Об обязанностях».

Кроме того, в ряде своих философских диалогов Цицерон полемизирует как против целых направлений³, так и против отдельных философов и их положений. Например, в диалоге «О государстве» наряду с самой высокой оценкой Платона можно встретить прямые и открытые выпады против него. Цицерон здесь (устаами Сципиона) заявляет: ему легче следовать избранной теме, показав римское государство на различных стадиях его развития, чем рассуждать о каком-то вымышленном государстве, как это делает Сократ у Платона⁴. В дальнейшем полемика против

¹ *Cic., Att., 12, 52, 3.*

² См. *М. Е. Грабарь-Нассек. Цицерон. — «История римской литературы», т. I, М., 1959, стр. 204.*

³ *K. Büchner. Cicero, S. 452 u. a.*

⁴ *Cic., гер., 2, 3.*

Платона перерастает в полемику вообще против греческих образцов и канонов¹. В других трактатах Цицерона (например, «О природе богов», «О предвидении», «О судьбе») мы уже наблюдали его критическое отношение к целым философским школам — к эпикуреизму, стоицизму и, наоборот, его симпатии к новой Академии². Что касается этих симпатий, то впервые о них он заявил довольно рано, в 63 г., и не в философском трактате, а в одной из уже известных нам речей, где он всячески высмеивал учение стоиков³.

Поэтому в настоящее время модное когда-то стремление найти, вскрыть главный (а еще лучше — единственный!) источник каждого философского трактата Цицерона не без оснований считается неприемлемым и даже наивным⁴. Мы в свою очередь, указывая иногда источники Цицерона, имели в виду опять-таки не рабское следование тому или иному образцу (даже в случае прямых ссылок автора), но скорее ту идейную сферу, которая оплодотворяла теоретические штудии Цицерона.

Можно, по всей вероятности, говорить о двух принципиально (и хронологически) различных этапах этих штудий. Во-первых, годы молодости, годы учения и совершенствования (включая посещение Афин и Родоса), затем периоды «досуга», т. е. время вынужденного удаления, отключения от государственной деятельности. Таких периодов тоже два, и оба они входят в новый, «зрелый» этап освоения и творческой переработки философских доктрин и направлений. Первый из этих периодов — 50-е годы: интерес к теории государства и права; второй — 40-е годы: интерес к теории красноречия и чисто философским проблемам (46—44 гг.).

Классификация философских произведений Цицерона, как и любая другая классификация, условна. Наиболее явным, «напрашивающимся» будет, пожалуй, следующее деление: а) сочинения, развивающие учение о государстве; б) сочинения, трактующие чисто философские проблемы (теория познания, этика, тео-

¹ *Cic.*, *ger.*, 2, 2; 5—6; 24; 29.

² См. выше, стр. 299—300, 320—323.

³ *Cic.*, *Mur.*, 62—63.

⁴ *K. Büchner. Cicero*, S. 456—457.

логические вопросы) и, наконец, в) сочинения, посвященные обсуждению вопросов прикладной, практической морали. К первой группе следует отнести диалоги «О государстве», «О законах», к последней — «Катон, или О старости», «Лелий, или О дружбе», ко второй же — все остальные философские произведения Цицерона¹.

Для того чтобы более или менее справедливо и объективно определить место Цицерона в истории философии, следует выяснить, какую задачу он ставил перед собой и как ему удалось ее выполнить. Дело в том, что эта задача была достаточно четко сформулирована самим Цицероном. В начале трактата «О границах добра и зла» он писал: «Я считаю... своей обязанностью, поскольку это в моих силах, работать в том направлении, чтобы благодаря моим стараниям, усердию, трудам все мои сограждане расширили свое образование»². Те же мысли высказаны во вступлении ко второй книге диалога «О предвидении»: «Я много и долго думал о том, каким образом я могу быть всего более полезным, дабы не прерывать своей помощи государству, и решил, что не найду более хорошего способа, чем открыть перед моими согражданами путь к высшим искусствам»³.

Как же Цицерон выполнил эту им самим сформулированную задачу? С нашей точки зрения, когда говорят о том, что Цицерон изложил живым и доступным языком основные положения философских школ и направлений, создал латинскую научно-философскую терминологию, наконец, привил римлянам вкус и интерес к философии, то все это хоть и заслуживает внимания, но вместе с тем оставляет в стороне главную научную заслугу Цицерона. Обычно недооценивается та «задуманность», та последовательность и стройность, наконец, та широта охвата проблем в замечательной попытке Цицерона дать римлянам цельное представление о философии или, лучше сказать, картину греческой философии «в целом» на основе извлечений и отбора всего, по его мнению, наиболее приемлемого, «наилучшего».

¹ См. М. Е. Грабарь-Нассек. Цицерон. — «История римской литературы», т. 1, стр. 201—202.

² *Cic., fin.*, 1, 10.

³ *Cic., div.*, 2, 1.

И если в последнее время в научной литературе наметилась вполне справедливая реакция против слишком уничижительной оценки римской философии и даже шире — против якобы резко отрицательного отношения «практичных» и «приземленных» римлян к отвлеченному «философствованию» и, наоборот, подчеркивается их выдающаяся роль в распространении и передаче огромного идейного наследства последующим поколениям¹, то место и значение Цицерона в этой огромной работе, в этом выдающемся историческом деянии вне всяких сомнений. Кроме того, не следует забывать — и мы еще остановимся на этом специально и более подробно, — что философские труды Цицерона были живым и щедрым источником, питавшим целую идейную эпоху — эпоху становления христианской литературы.

Таков Цицерон как историческая личность, историческое явление. Нужна ли еще какая-то общая, единая характеристика, какая-то обобщающая оценка? Не будет ли она неизбежным упрощением, стереотипной схемой, вульгарным ярлыком? Историческая личность всегда интегрированная личность, ибо помимо изначально присущих ей качеств и свойств она обогащается каждой новой эпохой, через которую она проходит и в которой она таким образом продолжает жить. Каждая эпоха вносит в представление об исторической личности нечто свое, характерное именно для данной эпохи, но так как это нередко происходит неосознанно, спонтанно, то новые по существу черты и свойства приобретают не только равноправное значение, но и историческую достоверность. Считается так, что каждая новая эпоха открывает в исторической личности, историческом явлении те грани и аспекты, тот смысл и значение, то особенное (а иногда и главное!), что было просмотрено эпохами предыдущими. И это так и есть на самом деле, и, вероятно, именно в этом заключается, в частности, развитие исторической мысли.

Потому-то каждая эпоха знает своего Цицерона. Цицерон поздней античности и Цицерон времен Французской революции если и не два различных исторических лица, то во всяком случае и не полностью сов-

¹ W. Süß. Cicero, S. 162 u. a.

падающие образы. Интегрированная личность Цицерона неизбежно включает в себя все «наслоения» всех эпох. Вот почему нет ни нужды, ни возможности подводить какой-то единый и однозначный итог.

Историческое значение исторической личности Цицерона подтверждено более чем двухтысячелетним сроком. Этот факт говорит сам за себя. Не будет ли поэтому тактичнее и целесообразнее, если мы вместо некой итоговой формулы попытаемся хотя бы в самых общих чертах выяснить, как на протяжении двух тысячелетий изменялся и обогащался исторический облик Цицерона, когда и какие грани его личности, аспекты его деятельности находили наибольший отзыв, отражение, признание.

* * *

Каждая эпоха вносила свой вклад в представление о Цицероне обычно таким путем: выделялась и подчеркивалась какая-то одна (иногда одна-две!) характерная черта его личности, его деятельности, черта, которая по тем или иным причинам оказывалась наиболее созвучной умонастроению эпохи; эта черта и получала затем преимущественное развитие.

Если современникам — что, кстати, вполне естественно — не так легко было выделить подобную черту, то уже для ближайших потомков Цицерон выступает в первую очередь и главным образом в качестве стилиста. Начало такому представлению положил, быть может, сам Октавиан Август. Существует известный рассказ о том, как Август, к тому времени уже долголетний единодержавный правитель Римской империи, застал одного из своих внуков за чтением Цицерона. Застигнутый врасплох юноша, знавший, несомненно, некоторые подробности трагической гибели знаменитого оратора, пытался спрятать свиток в складках своей одежды. Август, однако, взял его в руки, некоторое время читал и затем, возвращая свиток, сказал: «Образованный был человек и мастер слова, дитя мое, а кроме того, горячо любил отечество»¹.

Традиция сохранила для нас сведения о вражде — не называя ее причин — между Саллюстием и Цице-

¹ *Plut., Cic., 49.*

роном. И хотя сохранившаяся инвектива («Декламация») Саллюстия против Цицерона, как и Цицероново выступление против Саллюстия, с достаточным основанием считаются упражнениями позднейших риторов, тем не менее этот факт говорит, во-первых, о том, что вражда между оратором и историком была широко известна, а во-вторых, что оба имени привлекали такое внимание даже во II в. н. э., что их взаимоотношения могли служить одной из «ходовых» тем для упражнений в школах ораторского искусства. Что касается упоминаний о Цицероне в Саллюстиевой монографии, посвященной заговору Катилины, то они имеют хоть и сдержанный, но вполне лояльный характер¹.

Явно отрицательно относился к Цицерону один из самых первых историков периода империи — Асиний Поллион. Но это и не удивительно: он был даже не столько цезарианцем, сколько антонианцем. Именно в его историческом произведении, фрагмент из которого дошел до нас благодаря Сенеке Старшему, и содержатся те весьма компрометирующие Цицерона данные относительно его намерения отказаться от авторства Филиппик². Но другой и более знаменитый историк, Тит Ливий, наоборот, был почитателем Цицерона и даже находился под определенным влиянием его воззрений на историю и задачи историка, высказанных в ряде диалогов («О законах», «Об ораторе», «Оратор»). Бесспорно влияние Цицерона и на стилистические особенности речей тех исторических деятелей, которым Ливий «предоставлял слово» в своем обширном историческом труде (более 400 речей в дошедших до нас книгах!).

Цицерон рано оказался и образцом и темой для ораторских упражнений в риторических школах; они в эпоху империи становятся единственным местом, где ораторское искусство еще находит себе применение. Наиболее распространенным видом подобных упражнений в красноречии были так называемые декламации, т. е. речи на вымышленные темы. Существовало два типа подобных «декламаций»: свазории, или увещательные речи, и контрверсии, или речи, посвященные разбору какого-либо противоречия (например, между

¹ *Sall., Cat.*, 22; 23; 29; 31; 41; 46; 49; 55.

² См. выше, стр. 349.

долгом и чувством и т. п.). Техника «декламаций» была разработана весьма тщательно и детально.

Среди наиболее крупных и популярных риторов встречались как восторженные поклонники Цицерона, так и его критики. К последним принадлежал, например, ритор Цестий Пий, которого даже привлекали к суду за оскорбление имени Цицерона. Но Сенека Старший, наоборот, в «Свазориях» дает весьма идеализированную характеристику своего знаменитого предшественника и приводит цитаты из не дошедших до нас поэтических произведений, где Цицерон всячески восхваляется. Он же разбирает казус с Попилием, который принимал, как известно, участие в расправе над Цицероном, хотя тот спас его когда-то от обвинения в отцеубийстве.

Апологетически выступил в защиту Цицерона и его памяти один из историков эпохи ранней империи — современник Тиберия Веллей Патеркул. Это выступление тем более интересно, что Веллей был уже убежденным сторонником нового режима, отказавшимся от республиканских иллюзий, но чтившим славное прошлое Рима. Он резко обвиняет Октавиана и Антония, а Цицерона именуется «великим консулом и хранителем республики». Цицерон, уверяет Веллей, будет жить в памяти всех веков и «скорее исчезнет со света весь человеческий род, чем имя этого человека»¹.

К Цицерону как стилисту и оратору весьма положительно относился Сенека Младший; его самого в дальнейшем часто сравнивали и сопоставляли с Цицероном, хотя в эпоху Флавиев такой крупный знаток и теоретик красноречия, как Квинтилиан, безусловно, отдавал пальму первенства Цицерону, называя его единственным учителем, которому можно следовать, ничего не опасаясь и не сомневаясь в успехе². Пожалуй, конец I и начало II в. до н. э. были временем наибольшего признания Цицерона в Римской империи: его авторитет как стилиста бесспорен, к его имени часто обращаются (не забудем, что «декламации» Саллюстия — Цицерона должны быть отнесены примерно к тому же времени). Затем это имя постепенно начинает тускнеть — о Цицероне вспоминают главным

¹ *Vell. Pat.*, 2, 66.

² *Quintil.*, *inst. or.*, 10, 1, 112.

образом историки, интересующиеся гражданскими войнами. Отношение к нему сдержанное, иногда скептическое (Дион Кассий, Плутарх), а у некоторых — явно неприязненное (Аппиан). Но имени Цицерона предстояло снова возродиться, причем еще до падения самой империи.

Однако это происходит тогда, когда «языческий Рим» превращается в «христианское государство» и когда христианство как религия и мировоззрение становится «главной умственной силой»¹. Как уже упоминалось, в этот новый исторический период особое звучание приобретают философские произведения Цицерона.

Наиболее последовательные и прямолинейные идеологи христианства пытались доказать не только суетность, но и полную греховность всей античной, т. е. языческой культуры. Господу следует служить в простоте, всякое мудрствование — от лукавого. Важна вера в Христа, в то, о чем говорится в Евангелии, и «если мы веруем, — как это формулировал Тертуллиан, — то ни в чем, кроме веры, не нуждаемся»². Ему же приписывается и другое, более знаменитое изречение: «Верую, ибо абсурдно!»

Поэтому «приспособление» Цицерона к христианству происходило постепенно и в процессе довольно ожесточенной борьбы. Один из первых апологетов христианства, Минуций Феликс, в своем диалоге «Октавий», посвященном полемике между христианином и язычником, излагая аргументы языческой стороны, достаточно наглядно проявляет свою зависимость от Цицерона (трактат «О природе богов»). Другой крупный христианский писатель, Лактанций, написал сочинение «О творении божьем»; в предисловии он сам подчеркивает, что его труд служит дополнением и развитием четвертой книги Цицеронова диалога «О государстве». Еще одно произведение Лактанция, «О гневе божьем», направленное против эпикурейского учения, настолько близко ко второй книге «О природе богов», что еще в самой древности оба сочинения считались пересказом, извлечением (эпитомой) из соответствующей

¹ Th. Zielinski. Cicero im Wandel der Jahrhunderte, S. 109.

² Tert., praeser. haer., 7.

щих диалогов Цицерона. Кстати говоря, Лактанций именует Цицерона «главой римской философии» и берет себе за образец вовсе не речи, но именно философские трактаты.

Амвросий, епископ Медиоланский (IV в. н. э.), в одной из своих многочисленных книг («Об обязанностях слуг божьих») настолько близко следует трактату Цицерона «Об обязанностях», что недаром существует мнение, будто Амвросий пытался «приспособить» знаменитый трактат Цицерона к требованиям христианской морали. Причем поступал он в этом случае довольно просто и с обезоруживающим прямотушеством: заменял приводимые Цицероном примеры из римской истории примерами из истории священной да иногда «уточнял» некоторые формулировки Цицерона, если они слишком явно противоречили евангельским положениям.

Гораздо сложнее было отношение к Цицерону того христианского писателя и «отца церкви», которого самого иногда называли «христианским Цицероном», а именно Иеронима (IV—V вв.). Мы знаем о его мучительных душевных сомнениях и внутренней борьбе, он сам повествует нам о том, как, отказавшись от всех мирских благ и привязанностей, он долго не мог отказаться от своей библиотеки и чтения Цицерона. Но это было смертным грехом. В ниспосланном ему свыше видении, когда он очутился перед трибуналом Верховного Судии и когда на вопрос, обращенный к нему, Иероним отвечал, что он христианин, то ему было сказано в ответ: «Неправда, ты не христианин, ты — цicerонианец; где твое сокровище, там и твое сердце!» Но и после этого Иероним все же был не в силах полностью отречься от Цицерона: цитатами из этого автора пестрят все его сочинения¹.

И наконец, Августин (354—430 гг.). Нам уже приходилось упоминать о том впечатлении, которое на него произвел не сохранившийся, к сожалению, до наших дней диалог Цицерона «Гортензий»². Следует, может быть, к сказанному лишь добавить, что Августин после чтения Цицерона ощутил, говоря его же

¹ *Th. Zielinski. Cicero im Wandel der Jahrhunderte*, S. 112—115.

² См. выше. стр. 295.

словами, не только «невыразимую жажду вечной мудрости», но и уверовал в учение Христа и решил «оставить все земное», дабы возвыситься до бога¹. Так язычник Цицерон превратил другого язычника, Августина, в верующего христианина, более того — в один из «столпов христианства».

Действительно, христианская культура, почти не интересовавшаяся Цицероном как оратором, а тем более как политическим деятелем, проявила особое и сугубое внимание к Цицерону-философу. В этом смысле вполне можно утверждать, что его философское наследие послужило как бы посредствующим звеном между двумя поистине великими культурами: античной, или «языческой», и «постантичной» (феодальной), или христианской.

Выше уже шла речь о том преклонении перед античностью, которое сложилось в эпоху Возрождения. Говорилось и о том, что интерес к античной культуре пробудился прежде всего — это было вполне закономерно! — в самой Италии. Сейчас уместно добавить следующее: Возрождение началось как возрождение именно римской античности (поскольку — в Италии!), а оно в свою очередь началось с Цицерона! «С культурно-исторической точки зрения, — писал Ф. Зелинский, — нельзя отрицать того факта, что Возрождение было прежде всего возрождением Цицерона, а после него и уже благодаря ему — прочей классической древности»².

Все сказанное великолепно подтверждается примером Петрарки. Восторженный почитатель античности, он в первую очередь адепт и почитатель Цицерона. Он преклоняется перед ним с детских лет, он пишет ему письма как живому человеку, он называет его своим вождем, он сопереживает трагедию его жизни и даже горько сетует на то, что Цицерон не избрал жизни мудреца и наблюдателя.

Петрарке принадлежит честь «открытия» многих неизвестных до него, вернее, считавшихся утерянными произведений Цицерона. Но пожалуй, наиболее ценной и вместе с тем наиболее эффектной была его находка (в 1345 г.) переписки Цицерона с Аттиком. Бла-

¹ *Augustin., Conf.*, 3, 4.

² *Th. Zielinski. Cicero im Wandel der Jahrhunderte*, S. 168.

годаря этому открытию Цицерон впервые предстал перед изумленным взором своих почитателей не как некая абстрактная фигура, не как историческое явление, но как живой человек, со всеми присущими ему слабостями и недостатками. Парадокс заключался в том, что эпоха Возрождения с ее общепризнанным «индивидуализмом», с ее интересом к личности отшатнулась чуть ли не в негодовании от раскрывшейся перед нею личности Цицерона. Во всяком случае сетования Петрарки были обращены именно к Цицерону-человеку, отнюдь не к философу и оратору. «Мои упреки касаются лишь твоей жизни, но не твоего духа и не твоего красноречия; твоему духу я удивляюсь, перед красноречием — благоговею», — писал он. Для Петрарки, Боккаччо, да и для абсолютного большинства деятелей Возрождения Цицерон — писатель, оратор, мыслитель — остался навсегда непревзойденным образцом, достойным восхищения и подражания.

Вот почему и для всей этой эпохи, когда латинский язык стал фактически международным языком философов и ученых, язык именно Цицерона оказался тем, который был признан «классическим», возведен в непреложный канон, вплоть до того, что считалось совершенно недопустимым пользоваться лексикой, фразеологией и синтаксическими оборотами, не употреблявшимися самим Цицероном.

Так называемое второе Возрождение античности, как известно¹, было связано с Великой Французской революцией. Но и оно было в первую очередь возрождением именно римской древности. Недаром Маркс, имея в виду деятелей Французской буржуазной революции, справедливо и остроумно говорил, что они «осуществляли в римском костюме и с римскими фразами на устах задачу своего времени...»².

Если республиканский Рим представлялся тогда ареной революционной борьбы, если выражение «Так действовали римляне» было ходячей фразой, то не удивительно, что и римские политические деятели, в частности Цицерон, становились снова популярными личностями и излюбленными героями. Цицерон же

¹ См. выше, стр. 15.

² См. *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 8, стр. 120.

в эту эпоху выступает как великий оратор и не менее великий республиканец. Есть основания говорить как бы о «втором возрождении» и самого Цицерона.

Прежде всего не вызывает сомнений его влияние на тех, кого справедливо принято считать предшественниками революции, — на французских просветителей. Так, с бесспорным уважением относился к Цицерону Вольтер, которого вообще едва ли можно заподозрить в излишней почтительности к авторитетам. Он был высокого мнения о философских трактатах Цицерона (в особенности «Тускуланские диспуты», «О природе богов», «Об обязанностях») и, как известно, посвятил ему трагедию «Спасенный Рим», которая была написана в качестве полемического ответа Кребийону, выступившему с пьесой, где он защищал и даже возвеличивал Катилину. Можно говорить о влиянии идей Цицерона, в частности его теорий государства и права, на таких мыслителей, как Монтескье, Мабли и т. п.

Деятели начального этапа Французской революции, конечно, увлекались Цицероном-оратором. Мирабо непрерывно ссылается на знаменитого римлянина и в ряде случаев избирает его выступления в качестве образца для своих речей. Не менее часто обращались к авторитету Цицерона и другие видные ораторы Учредительного собрания.

И наконец, наивысший подъем революции, якобинская диктатура, Робеспьер. Кстати, пристрастие этого честолюбивого адвоката к своему римскому «коллеге» было настолько очевидным, что в шутливых песенках и эпиграммах того времени его нередко именовали «Цицероном», а ораторы жирондистской партии вынуждены были специально доказывать, что между Цицероном и Робеспьером нет и не может быть ничего общего. Кстати, они предпочитали сопоставлять Робеспьера с Катилиной¹.

Французская революция была, как известно, буржуазной революцией. Ее недоброжелатели говорили иногда, что это революция, «сделанная адвокатами». В таком определении помимо уничижительного оттенка, привносимого самим словом «адвокаты», имеется, несомненно, еще некий намек на то, что руково-

¹ Th. Zielinski. Cicero im Wandel der Jahrhunderte, S. 330—331.

дядей силой революции пыталась стать интеллигенция. Пыталась, но не смогла. Что же касается аналогии с Римом, то в буржуазной историографии вплоть до нашего времени общепринятой можно считать трактовку римского всадничества как античной «буржуазии». Сопоставление, конечно, весьма поверхностное, но оно не случайно зародилось в связи с крупнейшими буржуазными революциями. Быть может, не случаен и тот факт, что одна из первых в истории отрицательных, даже презрительных оценок Цицерона как «адвоката» появилась на свет также в канун Французской революции и принадлежит перу Жан-Жака Руссо.

«Второе Возрождение» античности — переломный момент в посмертной славе и исторической судьбе Цицерона. Если до этого времени отношение к нему могло быть самым различным — положительным или отрицательным или вовсе забвением, то все же каждый раз, как только память о нем снова воскресала, он появлялся на сцене в виде «героя», причем — в зависимости от эпохи — то в виде героя-мудреца, то героя-оратора, то героя-республиканца, но всегда как образец для подражания, как пример для многих и многих поколений. Даже те, кто относился к нему отрицательно, не отрицали его до конца. Кто осуждал его как человека и политического деятеля, восхищался им как писателем, кто не признавал его как философа, отдавал дань его блестящему красноречию.

Перелом, который произошел после «второго Возрождения», т. е. в так называемое новое, а затем и новейшее время, заключался в том, что Цицерон из «героя», «образца», «явления» превратился в объект историографии. Ни о каком «подражании» не могло быть уже и речи, в лучшем случае разговор теперь мог идти об изучении, исследовании. Это — качественно иной подход, иная «установка», и она должна была иметь своим следствием совершенно иные «результаты».

В этом смысле чрезвычайно характерно отношение к Цицерону того, кто замыкает собой эпоху «второго Возрождения», кто перекидывает как бы некий мост к новому времени и кого мы считаем родоначальником сравнительно-критического метода в историографии, — отношение Нибура. Известно, что Нибур весьма сдержанно относился к Цезарю и как истинный представи-

тель возродившегося гуманизма был «традиционно» почитателем Цицерона. О его отношении и интересе к великому оратору свидетельствует, например, такой характерный факт. При жизни Нибура была найдена и впервые издана одна из речей Цицерона — речь за Эмилия Скавра. Она была опубликована в таком виде, в каком издатель нашел ее на палимпсесте, но Нибур сразу же обратил внимание на то, что листы палимпсеста перепутаны, и указал, в каком порядке следовало бы ее печатать. Возникла полемика, но когда через несколько лет обнаружили еще одну рукопись этой же самой речи, то оказалось, что Нибур прав.

Это был пример филологической реконструкции, однако Нибур использовал Цицерона и для своих историко-критических наблюдений. Опять-таки в его время Анджело Май опубликовал считавшийся навеки утраченным текст знаменитого трактата Цицерона «О государстве». Изучая этот текст, Нибур извлек из него чрезвычайно существенный вывод для ранней римской истории и хронологии. В одном месте трактата Цицерон говорит, что древнейшее солнечное затмение, записанное в римской летописи («Великая летопись»), было тем самым, которое происходило на 350-м году от основания Рима; все более ранние затмения вычислялись позднее и чисто математическим путем¹. Из этого свидетельства Цицерона Нибур заключал, что в Риме до галльского пожара еще не существовало официальной летописи.

В середине XIX столетия положительное отношение к Цицерону постепенно сменяется сугубо критическим и отрицательным. Начало этому положил немецкий историк Друманн в своей фундаментальной работе «История Рима в переходный период от республики к империи», опубликованной впервые в 30—40-е годы прошлого века. Крайне скептическое, даже презрительное отношение Друманна к Цицерону было связано с его преклонением перед другим, более «созвучным» его времени героем римской истории — Юлием Цезарем и, возможно, с определенной реакцией на взгляды и симпатии Нибура. Эта линия отношения к двум выдающимся — и совершенно, конечно, разным — деятелям римской истории нашла свое наиболее пол-

¹ Cic., *rep.*, 1, 25.

ное и наиболее яркое выражение в «Римской истории» Моммзена.

На оценке или, вернее, апологии Цезаря, которая дается в этом труде, мы уже останавливались¹. Что касается Цицерона, то нам тоже известны оценки и характеристики типа «политический лицемер», сторонник «партии материальных интересов», «трус»². Ко всему этому можно только добавить, что Моммзен буквально не упускает ни одного случая, ни одного более или менее подходящего предлога, чтобы не скомпрометировать Цицерона как политического деятеля и как личность³. Признавая — и то не очень охотно — значение Цицерона-оратора или, вернее, «стилиста», Моммзен по существу не считает его ни политиком, ни государственным человеком, в лучшем случае только ловким адвокатом⁴. Таким образом, едва ли будет ошибкой сказать, что преобладающей тенденцией в европейской историографии прошлого века была тенденция «развенчания» Цицерона. И хотя в 60-х годах французский историк Буассье в своей известной и блестяще написанной книге «Цицерон и его друзья» пытался «восстановить» репутацию Цицерона и как политика, и как человека, стремясь к более объективной оценке его достоинств и недостатков, все же европейская историография скорее находилась под влиянием немецкой школы исследователей, и в первую очередь Моммзена. Очевидно, это не случайное явление, и оно в значительной мере было обусловлено запросами вполне определенных кругов буржуазного общества⁵.

Переходя к современности, следует прежде всего сделать оговорку относительно необозримости литературы, посвященной эпохе кризиса республики и перехода к империи, а следовательно, затрагивающей в той или иной степени личность и деятельность Цицерона. Немало существует и работ, имеющих к Цицерону более прямое, специальное отношение. Говорить поэтому о какой-то единой и «ведущей» тенденции

¹ См. выше, стр. 287—288.

² См. *Т. Моммзен. История Рима*, т. III, стр. 145, 146, 153; см. также выше, стр. 4.

³ См., напр., *Т. Моммзен. История Рима*, т. III, стр. 176—177, 258—259.

⁴ См. там же, стр. 146.

⁵ См. стр. 288.

применительно к историографии XX в. едва ли возможно: таких тенденций несколько, и они довольно часто вступают в борьбу друг с другом.

Остановимся лишь на наиболее характерных для развития буржуазной историографии трудах. В широко известном пятитомном труде итальянского историка Г. Ферреро «Величие и падение Рима», вышедшем в начале века, дается примечательная характеристика Цицерона. Во-первых, по своему историческому значению он сопоставляется с Цезарем. «Он умирал... — пишет Ферреро про Цицерона, — приобретя право рассматриваться вместе с Цезарем как самая крупная фигура этой великой эпохи римской истории». Затем Цицерон называется первым государственным человеком в истории европейской цивилизации, который, по выражению автора, принадлежал к «интеллигентному классу». Ферреро, однако, не развивает этих своих наблюдений и высказывает их в весьма лапидарной форме.

Не раз упоминавшаяся нами монография Эд. Мейера «Монархия Цезаря и принципат Помпея» (вышла в свет после первой мировой войны) посвящена в целом не Цицерону. Тем не менее в ней есть главы, специально к нему относящиеся. На одну из них мы уже ссылались, когда речь шла о благодарственной речи Цицерона в связи с помилованием Марцелла. Другая же посвящена анализу Цицеронова трактата «О государстве» и вопросу о принципате Помпея. Именно здесь Эд. Мейер высказывает мнение о том, что Помпей был по существу «творцом» государственной формы принципата, а Цицерон в своем трактате дал теоретическое обоснование его притязаний и его положения в государстве.

Двухтомная работа, имеющая в отличие от предыдущих своей основной темой личность и деятельность Цицерона, принадлежит перу итальянского историка Е. Чачери и называется «Цицерон и его время» (1926 г.). Автор уделяет много внимания Цицерону как политику и считает, что он имел вполне определенные политические взгляды и убеждения, но основной его порок заключался в том, что Цицерон слишком легко поддавался обстоятельствам, а потому и не был в состоянии управлять ими. Чачери находит, что в диалоге «О государстве» намечен ряд идей, оказавших в даль-

нейшем определенное влияние на государственную практику Октавиана Августа.

Если один из основных пороков буржуазной историографии — стремление к модернизации античной истории — наложил определенный отпечаток на только что названные труды, то можно с полным основанием утверждать, что тенденция модернизации, «осовременивания» истории античного общества, причем иногда путем самых поверхностных, не выдерживающих научной критики аналогий, расцвела пышным цветом в западноевропейской и американской историографии после второй мировой войны. Лейтмотивом почти всех модернизаторских «построений» служило утверждение о том, что эпоха кризиса Римской республики чуть ли не полностью совпадает с современной послевоенной ситуацией.

Нет нужды останавливаться даже на перечислении работ подобного толка. Как правило, они стоят вне науки. Приведем лишь один достаточно характерный пример. Мы имеем в виду вышедшую в Нью-Йорке в 1947 г. книгу Ф. Уилкина о Цицероне под претенциозным названием «Бессмертный законовед». Автор прежде всего заявляет, что все наиболее значительные и яркие эпохи мировой истории были эпохами борьбы за право, справедливость, закон. Во времена Цицерона эта борьба развертывалась в масштабах города-государства, в XVIII—XIX вв. — на арене национальной, в наше время — на мировой.

Цицерон — беззаветный борец за справедливость, враг беззакония, защитник всех обиженных, образец гуманного деятеля. Эта мысль автора подтверждается следующим весьма характерным пассажем: «Если гуманизм еще не исчез с лица земли, то это потому, что были и есть Цицероны, Катоны и Черчилли, которые имели достаточно мужества, чтобы восстать против Помпеев, Цезарей и Гитлеров». В конце книги автор полностью и с редкой прямолинейностью раскрывает свои «принципиальные установки»: он восхваляет Цицерона за то, что тот был противником крайностей демократии, противником «государственного социализма». Кроме того, Цицерон в области права утверждал вечные, незыблемые идеалы, которые ныне, мол, отрицаются марксистами.

Двухтомный труд французского историка Ж. Каркопино «Тайна переписки Цицерона» (1947 г.) имеет, конечно, более серьезное научное значение, но вместе с тем отличается крайней парадоксальностью и своеобразной модернизацией. Это очередная попытка полностью дискредитировать Цицерона как политического деятеля и как личность. Каркопино стремится в своей книге обосновать оригинальный, но все же маловероятный тезис: «тайна переписки» Цицерона была сознательно нарушена Октавианом, которого и следует считать инициатором опубликования писем как материала, крайне компрометирующего Цицерона и даже оправдывающего включение его имени в проскрипционные списки. Издание писем Октавианом Каркопино считает «шедевром политической пропаганды».

В ином ключе написана работа датского ученого Г. Фриша «Борьба Цицерона за республику» (1946 г.), вышедшая в свет на английском языке. Она посвящена, как на то указывает ее подзаголовок, анализу исторической обстановки в Риме на основе изучения Филиппик. Автор стремится дать более или менее объективную характеристику Цицерона как «республиканца, парламентария и публициста». Нельзя не отметить справедливость следующего наблюдения автора: в историографии XIX в. господствовало увлечение Цезарем и слишком строгое, резко критическое отношение к Цицерону, теперь же, когда фашизм пограл последние остатки свобод (Г. Фриш пережил в Дании фашистскую оккупацию), возникает вполне естественное желание пересмотреть прежнюю оценку Цицерона¹.

Можно упомянуть работу американского ученого Ф. Р. Коуэлла «Цицерон и римская республика» (1964 г.). Эта работа написана весьма популярно, без научного аппарата, значительная часть книги посвящена изложению основных сведений по социальному и политическому устройству Римской республики. Особенно оригинальных мыслей и наблюдений автор не высказывает. К книге приложена довольно полная библиография.

¹ Более подробное изложение работ Ж. Каркопино, Г. Фриша, Р. Уэлкина и других см. в статье: *Е. М. Штаерман*. Цицерон и Цезарь в послевоенной буржуазной литературе. — ВДИ, 1950, № 3, стр. 152—160.

Из наиболее серьезных работ, появившихся в последние годы, следует упомянуть три исследования западногерманских ученых. Первые два посвящены изучению частных проблем. Так, в работе К. Бюхнера «Цицерон» с характерным подзаголовком «Постоянство и изменения его духовного мира» (1964 г.) подробно рассматриваются теоретические труды Цицерона, как философские, так и по теории ораторского искусства. Анализу философских же произведений Цицерона, за исключением трактатов по теории государства, посвящена книга В. Зюсса «Цицерон. Введение в его философские труды» (1965 г.). Более обобщающий характер имеет солидный труд М. Гельцера «Цицерон. Биографический опыт» (1969 г.), книга, в которой Цицерон рассматривается во всех возможных «аспектах».

На некоторые из перечисленных работ мы неоднократно ссылались. Это не означает, конечно, что можно согласиться с рядом основных положений, высказанных в этих работах, но, как правило, мы имеем в виду сейчас таких авторов, которые, несмотря на неприемлемость их методологических установок, отличаются добросовестным отношением к подбору материала и широкой эрудицией. Это обстоятельство и дает нам возможность привлечь и использовать их исследования.

Из русских ученых Цицероном занимался в свое время С. Вехов, написавший серьезный и не потерявший до сих пор определенного значения труд «Сочинение Цицерона «О государстве»» (1882 г.). Уникальна по своей тематике книга Ф. Зелинского «Цицерон в ходе столетий» (1908 г.), опубликованная на немецком языке. Мы не раз обращались к этой интересной работе и частично использовали ее в тех разделах нашего обзора, которые посвящены христианской литературе и эпохе Возрождения.

В одной из лучших работ дореволюционного периода — в книге Р. Ю. Виппера «Очерки по истории римской империи» (1908 г.) — дается следующая характеристика Цицерона: «...борьба за политическую свободу окружила примиряющим светом старческую голову Цицерона и преобразила перед смертью этого податливого, нестойкого, уклончивого политика, этого изворотливого и часто неискреннего оратора в трибуна

республиканского гнева». Дальше говорится о том, что Цицерон был чужд «милитаризму всех учеников и преемников Суллы», но ему не хватало «смелости и определенности». Его жизнь прошла в компромиссах, он даже был одно время демократом, но зато «уважение к закону и конституции» не позволяло ему мириться с «узурпаторами и насильниками» и стать искренним сторонником монархического режима.

В советской историографии не существует крупных монографических работ, специально посвященных Цицерону, но это отнюдь не свидетельствует об отсутствии интереса к нему. В той или иной степени свое отношение и свои оценки Цицерона как государственного деятеля, оратора, писателя высказывали такие крупные ученые, как А. И. Тюменев, С. И. Протасова, Н. А. Машкин, И. М. Тронский и др. Наиболее полный очерк жизни и деятельности Цицерона принадлежит М. Е. Грабарь-Пассек. Это прекрасно написанная глава в первом томе «Истории римской литературы» (1959 г.), изданной Академией наук СССР. Само собой разумеется, что в данной работе главное внимание уделено Цицерону как писателю и оратору. Необходимо упомянуть и о другом крупном начинании Академии наук — издании в русском переводе ряда произведений Цицерона. Впервые издано в нашей стране полное собрание писем Цицерона в трех томах (1950—1951 гг.), изданы также двухтомник избранных речей (1962 г.) и знаменитые трактаты «О государстве» и «О законах» (1966 г.). Переводы на русский язык всех этих произведений Цицерона осуществлены В. О. Горенштейном.

В 1957 г. научный мир отмечал двухтысячелетие со дня смерти Цицерона. Проходили различные научные сессии и конференции. Эта дата не была оставлена без внимания и в социалистических странах. В Варшаве состоялась организованная Польской академией наук конференция, посвященная Цицерону. В ней приняли участие ученые из самой Польши, Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии, СССР и Чехословакии. Труды этой конференции были опубликованы. В 1958—1959 гг. в нашей стране вышло два сборника статей, посвященных Цицерону.

В связи с упоминанием об этой знаменательной

дате стоит попытаться дать в заключение ответ на вопрос, поставленный еще в самом введении к данной книге: чем объяснить двухтысячелетнюю неумирающую память о Цицероне, его двухтысячелетнее посмертное существование? После всего того, что было изложено на предыдущих страницах, можно, на наш взгляд, ограничиться лишь тремя краткими итоговыми соображениями.

Неумирающее, непреходящее значение Цицерона и вечно живой интерес к нему объясняются прежде всего тем, что он жил и действовал в великую и драматическую эпоху не только римской, но и мировой истории, в такую эпоху, когда впервые — столь наглядно и в таком грандиозном масштабе — республиканский строй, всеми своими корнями связанный с античной полисной демократией, сменялся тоталитарным режимом поистине мировой империи. И хотя в самом начале главы было сказано, что эта эпоха интересует в наше время сравнительно немногих, но все же каждый, кто по тем или иным причинам заинтересуется ею, уже не сможет избежать ее мощного воздействия и не оценить в полной мере ее огромное историческое значение.

Вклад Цицерона в сокровищницу мировой культуры неисчерпаем. Он неисчерпаем хотя бы потому, что современная (обычно называемая европейской) цивилизация — прямая наследница римской античности. Это известно достаточно широко, это общепризнано, но для нас сейчас важно подчеркнуть другое: в связующей цепи одним из немаловажных звеньев был сам Цицерон — его личность, его деятельность, его наследие. Как ни странно, этот особый характер посмертной славы сумел предугадать один из его современников, который про Цицерона сказал так: «Его триумф и лавры достойнее триумфа и лавров полководца, ибо расширивший пределы римского духа предпочтителен тому, кто расширил пределы римского господства». Современником, сказавшим эти слова, был Юлий Цезарь.

И наконец, из всех дошедших до нас образов античных героев и деятелей образ Цицерона — в силу таких уже упоминавшихся нами причин, как подробные биографические сведения, сохранность писем, — выглядит

наиболее живым, человеческим, несмотря на некоторые, мягко говоря «смутные», черты и особенности. Многого мы можем не одобрять, многого не прощать, но разве дело в этом? И разве Цицерон и его память нуждаются в наших моральных оценках? С другой стороны, как знать, быть может, благодаря именно своим «грехам» и «слабостям» Цицерон для нас — не мраморный бюст на пьедестале, глядящий в мир пустыми, мертвыми глазницами, но живая, полнокровная, реальная личность, до сих пор чем-то по-особенному близкая и каждому отдельному человеку, и человечеству в целом.

Сокращенные обозначения цитируемых авторов

App. — Аппиан
Arist. — Аристотель
Augustin. — Августин
Cato — Катон (Старший)
Cic. — Цицерон
Cass. Dio — Кассий Дион
Diod. — Диодор
Flor. — Флор
Gell. — Авл Геллий
Liv. — Тит Ливий
Macrob. — Макробий
Ovid. — Овидий
Plin. — Плиний (Старший)
Plut. — Плутарх
Polyb. — Полибий
Q. Cic. — Квинт Цицерон
Quintil. — Квинтилиан
Sall. — Саллюстий
Sen. — Сенека (Старший)
Strabo — Страбон
Suet. — Светоний
Tert. — Тертуллиан
Val. Max. — Валерий Максим
Varro — Варрон
Vell. Pat. — Веллей Патеркул

Оглавление

Введение	3
1. Становление Римской державы	10
2. Римское общество во II—I вв.	46
3. Кризис Римской республики	79
4. Начало общественно-политической карьеры Цицерона	118
5. Консульство Цицерона. Заговор Катилины	145
6. Между триумфом и изгнанием	176
7. Изгнание и возвращение. Канун гражданской войны	217
8. Гражданская война. Диктатура Цезаря	258
9. От мартовских ид до второго триумvirата	301
10. Цицерон в веках	353
Сокращенные обозначения цитируемых авторов	389

Утченко С. Л.
У-86 Цицерон и его время. М., «Мысль», 1972.
390 с.

Книга посвящена жизни и деятельности знаменитого римского оратора, писателя и государственного деятеля, одного из самых ярких представителей античной культуры и цивилизации — Марка Туллия Цицерона.

Политическая биография Цицерона дана на широком историческом фоне современной ему эпохи, изобиловавшей острыми драматическими событиями: восстания рабов, заговоры, гражданские войны.

Несомненный интерес представляют портреты крупнейших исторических деятелей того времени: Спартака, Цезаря, Октавиана Августа и др.

1-6-3

9(М)03

136-72

Утченко, Сергей Львович

ЦИЦЕРОН И ЕГО ВРЕМЯ

Редактор *Н. И. Калашикова*

Младший редактор *Л. В. Рогова*

Оформление художника *В. А. Королькова*

Художественный редактор *В. А. Захарченко*

Технический редактор *Г. И. Смирнов*

Корректоры *Л. М. Чигина, В. И. Пантелеева*

Сдано в набор 1 декабря 1971 г. Подписано в печать 10 марта 1972 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂, № 1. Усл. печатных листов 20,58. Учетно-издательских листов 21,06. Тираж 45 000 экз. А04945. Заказ № 41. Цена 1 р. 49 к.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.